

А. Ф. ЛОСЕВ



М
Н
Е

Б
Ы
Л
О

19

Л
Е
Т

ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. ПРОЗА

А. Ф. ЛОСЕВ

**«МНЕ БЫЛО 19 ЛЕТ. . .»
ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. ПРОЗА**

**Составление, предисловие,
комментарий
А. А. ТАХО-ГОДИ**

Москва
«Русские словари»
1997

*При оформлении книги использована фотография
А. Ф. Лосева, сделанная перед его последним докладом в
1986 г.*

Лосев А. Ф.

Л79 «Мне было 19 лет...». Дневники. Письма. Проза. /
Сост., предисл., комм. А. А. Тахо-Годи. — М.: Русские
словари, 1997. — 352 с. — ISBN 5-89216-007-6.

В настоящей книге перед читателем впервые предстает не известный до сих пор молодой А. Ф. Лосев, выдающийся русский мыслитель, проживший большую и трудную жизнь (1893-1988). Это признания одинокой души, раскрывающей себя в письмах к любимой девушке, в дневниковых раздумьях о Боге, вере, вечности, философии, красоте. Вместе с Лосевым эти дневники были арестованы в 1930 г. и чудом вернулись с Лубянки только в 1995 г. Повести зрелого Лосева-писателя, помещенные в книгу (часть из них печатается впервые), полны отзвуков молодых увлечений музыкой и театром, размышлениями о тайнах человеческой судьбы. Автобиографические материалы и беллетристика Лосева сопровождаются статьями, комментариями, фотографиями, именным указателем.

Всекий, кому безразлична русская культура, с интересом ознакомится с этим изданием.

ББК 84.Р7

ISBN 5-89216-007-6

© А. А. Тахо-Годи, 1997

© «Русские словари», оригинал-макет, справочный аппарат, 1997

ВЫСШИЙ СИНТЕЗ

Уже давно стали привычными в научной литературе такие определения как «ранний Лосев» и «поздний Лосев», имеющие в виду труды выдающегося русского философа, эстетика, филолога А. Ф. Лосева (1893-1988), разделенные более чем двадцатилетним периодом вынужденного молчания после возврата в Москву из лагеря на стройке Беломорско-Балтийского канала в 1933 г., когда профессору Алексею Федоровичу Лосеву, бывшему арестанту, был наложен партийными властями запрет на занятия философией.

Ранний Лосев прославился своим «восьмикнижием» (1927-1930 гг.)¹, которое было воспринято русской философией в эмиграции как свидетельство великой жизни духа, еще живой даже в Советской России², а идеи, заложенные в этих книгах, признаны через много лет гениальными³. В Советском же Союзе «ранний Лосев» подвергся беспрецедентной травле, был осужден Л. М. Кагановичем как классовый враг, а после напечатания «Диалектики мифа» попал на Лубянку, а затем и в лагерь⁴.

«Поздний Лосев» начал заново печататься только после смерти Сталина, и в центре его огромного корпуса трудов (библиография включает более 600 наименований, из них десятки монографий) оказалось новое «восьмикнижие» — «История античной эстетики» (1963-

¹ Сюда входили «Античный космос и современная наука», «Философия имени», «Музыка как предмет логики», «Диалектика художественной формы», «Диалектика числа у Платона», «Критика платонизма у Аристотеля», «Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика мифа».

² Франк С. А. Новая русская философская система // «Путь», Париж, 1928, январь, № 9.

³ См. статью о Лосеве в Итальянской философской энциклопедии «Enciclopedia filosofica», Venezia — Roma, 1957, т. III.

⁴ Вместо десяти лет приговора он отбыл, к счастью, на канале три года и был восстановлен в гражданских правах со снятием судимости в 1933 г. Правда, вернулся, почти потеряв зрение.

1994, в 8 томах и десяти книгах) и сопутствующие ей исследования (эстетические, мифологические, языковедческие, литературоведческие). По концепции Лосева философия, эстетика и мифология представляют некое единство, что в конечном итоге дает представление о целостном античном типе культуры.

Тот, кто следит за публикациями «лосевианы», конечно, знает о больших томах, выпускаемых издательством «Мысль», куда включаются не только обретшие новую жизнь книги 20-х годов, но также архивные материалы, впервые увидевшие свет.

Для такого любознательного читателя, как мне кажется, будет бесполезным познакомиться с еще одной стороной творчества ученого и открыть новую страницу его биографии, а именно Лосева-студента, «юного Лосева», который еще ничего не опубликовал⁵, но уже обдумывает и обдумывает идеи, которые лягут в основу его будущих философских трудов.

Писать А. Ф. Лосев начал еще в классической гимназии в родном Новочеркасске учеником старших классов. Даже гимназические сочинения поражают строгой логикой, тщательным знанием предмета, отточенностью стиля, основательностью выводов. Некоторые из работ гимназического цикла писались отнюдь не по заданию учителя словесности Ф. К. Фролова (он же директор гимназии), а по собственной инициативе, причем они касались уже философско-религиозных проблем. А мы знаем, что для Лосева знание и вера неизменно связывались воедино по завету апостола Павла, слова которого «верою разумеваем» (в русском переводе «верою познаем» — Послание к евреям, 11, 3) любил повторять Лосев. Так, к 1909 г., т. е. к 6 классу гимназии⁷, относятся сочинения «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь» (написано за два дня, 16-17 июня)⁸, «Значение наук и искусств и диссертация Руссо «О влиянии наук на нравы»⁹. Однако в нашем

⁵ Первые публикации Лосева относятся к 1916 г. — философская статья «Эрос у Платона» (Юбилейный сб. проф. Г. И. Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. М., 1916) и две философско-музыкальные: «Два мироощущения» (Сб. Студенчество жертвам войны. М., 1916) и «О музыкальном ощущении любви и природы» (журнал «Музыка», 1916, № 251-252).

⁶ Среди сохранившихся сочинений отметим «Значение Ломоносова в истории русской литературы», «О народности Пушкина», «"Сельское кладбище" как романтическое произведение», «Романтические идеи в элегиях и балладах Жуковского», «Г. С. Сковорода в истории русской культуры».

⁷ В гимназии было два приготовительных класса, так что 6-ой равнялся нашему 8 классу.

⁸ Напечатано в журнале «Студенческий меридиан» (1991, № 5).

⁹ Напечатано в журнале «Человек» (1995, № 1).

собрании юный гимназист старших классов не присутствует — за одним исключением.

Мы помещаем в нашей книге статью, которую, судя по рукописи, выпускник гимназии лихорадочно писал в 1911 г. Лосев собирался изучать философию в Германии, но по разным обстоятельствам (о них см. в Письмах к Вере Знаменской) он остановил свой выбор на историко-филологическом факультете Московского Императорского Университета, где он кончит два отделения — философское и классической филологии, ибо он не мыслил занятия античной философией без глубокого изучения древних языков, греческого и латинского. Профессиональное знание философии и того языка, на котором писал тот или иной философ, было для Лосева *conditio sine qua non*, непременным условием серьезной работы. Уже будучи зрелым автором «Критики платонизма у Аристотеля» (1929), Лосев в предисловии к своему переводу XIII книги «Метафизики», труднейшей во всей европейской философской литературе, писал о том, «что переводить можно, только *появши* текст, что перевод, собственно, и есть понимание». Оказывается же на практике, что, «не имея философской школы ума, ... филологи переводят и Платона, и Аристотеля, и что угодно другое и думают, что они тут — авторитеты». Взгляд на философию «как на достояние всех и каждого, доступное кому угодно» приводит к тому, что «очень ученая филология, соединяясь с обывательской философией, превращается в очень обывательскую филологию»¹⁰. Слова, надо сказать, чрезвычайно актуальные, особенно в наше время, когда филологи с классическим образованием (но без философского) берутся за переводы любых античных текстов и, наоборот, философы (без классического образования) спокойно «переводят» любых греков и римлян. Так вот, юный Лосев, решив овладеть двумя науками во всей полноте составляющих их дисциплин, со всей ответственностью готовился выполнить эту трудную задачу.

Характерно, что свое интереснейшее сочинение «Высший синтез как счастье и веденье» юноша пишет накануне отъезда в Москву, уже решив для себя поступление в Университет. Он торопится, пишет быстро, часто не совсем разборчиво, со вставками, сокращениями, трудным спешащим почерком. Поступление в первый университет России его совсем не беспокоит. Приемных экзаменов в то счастливое время не было, а был конкурс аттестатов. Но гимназист имел золотую медаль. Его беспокоило отсутствие времени: как бы успеть с изложением основных мыслей в связной, логической форме и наметить структуру дальнейшей работы. Все оказалось не так просто.

¹⁰ «Критика платонизма у Аристотеля» (см. Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность, с. 529).

Сочинение молодого Лосева «Высший синтез как счастье и ведение» в том виде, как оно сохранилось в архиве его автора, представляет собою только начало большой работы, которая, видимо, так и не была написана. Судя по письму к Вере Знаменской от 15 сентября 1911 г., сочинение было большое и писалось, как отмечал автор, «*ex privata diligentia*», т. е. по собственному усердию. В этом письме говорится о том, что план сочинения готов для первых 5 и последних 3 глав. «Всего же думаю скроить 15 глав. Едва ли кончу к Рождеству».

Если судить по структуре работы, нам известной, то после дефиниций — науки, философии, религии, искусства, после дефиниции синтеза и высшего синтеза и содержания его (причем вводится Лосевым пятый компонент — нравственность), автор распределяет все эти пять составляющих, предполагая их рассмотреть в целом ряде комбинаций, по 10 главам. Объединяя эти главы с предыдущим изложением, Лосев завершает план работы главой 14-ой, объединяющей в высшем синтезе установленные им принципы, и главой 15-ой, где эти принципы высшего синтеза применены к современной эпохе.

В действительности же Лосев успел частично написать главу «Религия и наука», сопроводив ее замечаниями тезисного характера. Такие же заметки с указанием книг, журнальных статей и выписок из них содержались в подготовительных материалах к этой главе. Характерно, что весь развернутый план работы, включая завершающие 14 и 15 главы, был написан в один день, 16 августа 1911 г. Глава «Религия и наука» писалась 24 августа 1911 г. Для реализации всей работы требовалось, несомненно, значительное время. Но Лосев подал документы в Московский Императорский Университет на историко-филологический факультет и с 1 сентября стал студентом философского отделения (а затем и классического). Новая студенческая жизнь не дала возможности завершить начатую и композиционно обдуманную работу.

Известно, что при переходе в последний класс гимназии Лосев получил в награду от директора гимназии Ф. К. Фролова Собрание сочинений Вл. Соловьева и что на него оказало влияние учение философа о всеединстве и целостном знании. Высший синтез как синтез науки, религии, искусства, философии и нравственности, т. е. всего, что образует духовную жизнь человека, нашел свою опору в соловьевской теории всеединства и остался для Лосева главным принципом его философского и жизненного мировоззрения. Однако годы университетской молодости открыли Лосеву и другие имена, сыгравшие большую роль в его последующем творчестве и в его философствовании. Нельзя не вспомнить здесь имя Э. Гуссерля, книги которого оказались поистине озарением для молодого человека (см. Дневник 1914 г.). Здесь же началось глубокое теоретическое изучение

и жизненное понимание идей Платона. Лосев обратился к диалогам великого философа и его диалектике. Он начал писать новую работу, посвященную Платону, которая, возможно, выгеснила завершение первых юношеских опытов «высшего синтеза».

Следует обратить внимание на то, что философские размышления Лосева, которыми полны его дневниковые записи, все тяготеют к этой самой ранней теоретической работе молодого ученого. Они как бы развивают лейтмотивы, намеченные летом 1911 года. Незавершенная юношеская работа оказалась тем зерном, из которого в дальнейшем выросло мощное дерево лосевской философии.

И для зрелого Лосева идея «всеединства» оставалась неизменно актуальной. Мир для него был единойраздельным целостным универсумом, все части которого несут на себе печать этой целостности. Сущность же частей может изучаться во всех их внешних проявлениях и формах: математических, словесных, музыкальных, временных, символических, мифологических и др. Отсюда необъятность научных интересов Лосева, изучавшего проявления сущности целого в его частях. Заметим, что это изучение шло путем особой, лосевской, диалектики, основанной не на антиномическом противопоставлении материи и духа, а именно на их единстве, когда идея одушевляет материю, а эта последняя придает идее плоть, овеществляет ее. Вот почему диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа становится для зрелого Лосева единственной известной ему реальностью.

Как видим, принцип целостности бытия, высшего синтеза всех его составляющих — основной для философа. Ростки же его мы находим в юношеской незавершенной работе, которая, однако, так же привлекает к себе сердца, как и знаменитая «Неоконченная симфония» Шуберта, столь любимая Лосевым.

Судя по литературе, на которую ссылается Лосев, он был прекрасно осведомлен в научных трудах по философии, богословию, астрономии, читал их зачастую в подлиннике, если не было перевода на русский язык.

Юного Лосева интересовала не только университетская наука. Поисками высшего счастья не в абстрактной теории, но в проблемах чисто экзистенциальных наполнены дневниковые записи студента, которому до революции, перевернувшей его судьбу (и не только его, но и всей России), оставалось всего несколько лет. Недавний гимназист еще полон мечтаний. В нем жива память о романтических героях знаменитого Фламариона, он не может расстаться с извечным призывом романтиков *dahin, dahin* — туда, туда, в неизведанные дали. Не одному — одиночество страшит, — а с родственной, любимой душой стремиться к достижению высшей цели.

Однако пока еще родственной навеки души нет, и душа юного Лосева беседует сама с собой в дневниковых записях, не требуя даже осуществления своих мечтаний в реальной жизни. «Да и зачем мне реальность», — пишет он. Ведет он в 1911-1913 годах дневники достаточно нерегулярно, иной раз надолго забывая о них (вторгается реальная жизнь). Делает он записи в толстой тетради в колленкоровом черном переплете, перемежая эти записи заметками по философии, психологии, религиозным вопросам, литературе. Год 1911 был для А. Ф. Лосева насыщен событиями. В этом году он окончил гимназию с золотой медалью. После выпускных экзаменов в июне молодежь вместе с батюшкой, преподавателем Закона Божия о. Василием Чернявским, отправилась в большую экскурсию по Кавказу (г. Владикавказ, Военно-Грузинская дорога, Тифлис, Зап. Грузия и Черноморское побережье). Осенью Лосев стал студентом историко-филологического факультета Московского Императорского Университета. К 1911 г. относится знакомство (в Адлере, в конце кавказской поездки) с будущей петербургской курсисткой Верой Знаменской и начало переписки с нею.

На письма студента А. Ф. Лосева и петербургской курсистки Веры Знаменской обратил внимание известный ученый и архивист М. В. Толмачев. После того как 17/1 — 85 г. в «Правде» было опубликовано интервью с А. Ф. Лосевым (Н. Мишиной и Ю. Ростовцева), я получила письмо от М. В. Толмачева, прочитавшего эту публикацию (он жил, как и Лосев, на Арбате), где он сообщил мне о существовании писем Лосева к В. Знаменской, которые находились в Государственной Публичной Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Ленинград) вместе с архивом А. Ахматовой (видимо, из-за личных связей семьи Знаменской и Ахматовой). В свою очередь я сообщила об этом гл. редактору журнала «Студенческий меридиан» и нашему другу Ю. А. Ростовцеву, который, не мешкая, отправился в Ленинград и снял там не без труда (пришлось подарить в архив оригиналы некоторых рассказов В. П. Астафьева) фотокопии 17 писем и одной записки А. Ф. Лосева.

Ю. А. Ростовцев с некоторыми важными сокращениями опубликовал эти письма уже после кончины А. Ф. Лосева (1988) в журнале «Студенческий меридиан» (1989, май — июнь) вместе с портретом Веры, чудом сохранившимся в архиве Лосева.

Следует сказать, что письма пронумерованы отнюдь не Лосевым и не Знаменской, так как ошибочность нумерации можно установить, исходя из содержания писем. Так под № 7 фигурирует письмо без года и числа, хотя опять-таки кто-то (может быть, в архиве) проставил 1912 г., заведомо не имеющий сюда отношения. В письме речь идет о готовности Лосева поступить в Московский Университет (а это было летом 1911 г.) и высказана радость после получения фотокарточки Веры. Это мнимое письмо № 7 должно стоять под № 2 (если до нас

дошли все письма и в них нет лакун). Ю. Ростовцев не напечатал вообще этого письма, явно сомневаясь в его датировке. Не напечатал он и записки Лосева от 28 июня, так как в архиве она ошибочно пронумерована как стр. 32-33 и стоит там совершенно бессмысленно. Это, несомненно, вызвало подозрения Ю. Ростовцева, и он предпочел не делать ошибок и не печатать сомнительно пронумерованные листки. Не напечатаны также стихи Гете из письма от 11/ХП — 11 г., переписанные Лосевым готическим (как тогда было принято) шрифтом. Мы в нашем издании восполняем недочеты первой публикации.

Фотографию Веры я нашла в старом черном портфеле, где собрана часть оставшихся бумаг, сохранившихся после уничтожения фугасной бомбой в августе 1941 г. дома на Воздвиженке 13, где жил Лосев.

В. А. Знаменская произвела на молодого человека в июне 1911 г. при их краткой встрече в Адлере неизгладимое впечатление. Лосев вместе с группой гимназистов, сдавших выпускные экзамены, прибыл в Адлер после путешествия по Кавказу. На пароходе, идущем в Адлер, Лосев познакомился с Верой, но она вскоре должна была покинуть Адлер. Однако молодые люди успели доверительно поговорить, обменяться адресами и заручились обещанием подарить друг другу на память свои фотографии. Вначале юноша передал Вере записку (без обращения), подписав ее «Ваш А.» со «скромными пожеланиями скромного человека». Вслед за этим с 14 июля 1911 г. началась переписка, которая представлена 17 письмами, последнее из которых датировано 22 июля 1914 г. Судя по письмам, у Веры уже наметилась своя судьба к 1914 г., а тут началась война, близилось окончание Университета в 1915 г., начиналась новая жизнь. Но поиски молодым Лосевым прекрасной души продолжались, как мы это увидим из дневника 1914 г.

Находкой его переписки с В. А. Знаменской сам Лосев, как справедливо заметил Ю. Ростовцев, «нисколько не заинтересовался... и отказался как бы то ни было ее комментировать» («Ст. меридиан», 1989, май, с. 49). Для него, умудренного годами, это было далекое прошлое (ср. Тургенев: «Как хороши, как свежи были розы» ... «И все они умерли, умерли, умерли»), погребенное под тяжестью великих катастроф.

«Дневник» 1914 г., записанный, как и другие дневники Лосева, в толстой черной коленкоровой тетради, был изъят вместе с рукописями Лосева 18 апреля 1930 г. при его аресте. Долгие годы об этих рукописях ничего не было слышно. Однако летом 1995 г., когда я начала знакомиться с арестантским «Делом» Лосева и др. («Дело» № 100256 состоит из 11 томов) в читальне ФСБ на Кузнецком, 22, Г. В. Зверев навел меня на мысль поднять вопрос об изъятых рукописях. К моему удивлению, 2350 страниц нашлись в Центральном Архиве ФСБ РФ, и

25 июля 1995 г. в торжественной обстановке в «Доме Лосева» (Арбат, 33) они были мне вручены в присутствии представителей прессы, телевидения и мэрии, что нашло свой отклик в многочисленных публикациях и телевизионных передачах.

Хотя тетрадь называется «Дневник 1914 г.», фактически в ней есть и записи 1915 г., которые прерываются летом. Лосев был оставлен при кафедре классической филологии для приготовления к профессорскому званию под руководством проф. Н. И. Новосадского. Одновременно преподавал в целом ряде московских гимназий. Древние языки он преподавал в мужской гимназии А. Е. Флерова (1915-1916 гг.). Первый свой урок он дал 20 авг. (2 сент.) 1915 г. Там у него учился сын известного критика Ю. Айхенвальда – Борис и сын крупного предпринимателя Вальтер Филипп, домашним воспитателем которого – по рекомендации своего товарища по Университету Б. Пастернака и после него – стал Лосев. Одновременно он читал литературу в женской гимназии Е. П. Пичинской, в женской гимназии А. Д. и А. С. Алферовых. Новая, вполне реальная, а не мечтательная, жизнь не оставляла времени для дневников. Что же касается до родственной души, то она была найдена в математике и астрономе Валентине Михайловне Соколовой (в ее зажиточной купеческой семье А. Ф. снял в революционные дни комнату), с которой Лосева обвенчал в 1922 г. в Сергиевом Посаде о. Павел Флоренский.

Характерны последние страницы Дневника. Так, свои рассуждения 17 декабря 1918 г. Лосев посвящает острой социальной проблематике. Изучавший дневник следователь Лубянки заметил эти неожиданные строки и подчеркнул красным карандашом все самые важные из них.

Заключительная запись дневника от 2 января 1919 г. нов. ст. рисует в типично лосевском стиле портрет Ф. Листа, великого артиста – пророка, царя, творца и Бога. Это финальное эссе напоминает вымышленный Лосевым в духе немецких романтиков «музыкальный миф» в его книге «Музыка как предмет логики» (1927). Лосев всегда любил 1-ый фортепьянный концерт Es-dur (1856) Листа (1811-1886) и его кампанеллу (1831-1832), представляющую собою фортепьянную транскрипцию рондо 2-го концерта для скрипки с оркестром (h-moll) Н. Паганини.

Мы помещаем в нашей книге заметку А. Ф. Лосева «Типы моей памяти» (1909 г.), чрезвычайно для него характерную. Здесь Лосев, ученик 6 класса (наш 8 класс) классической Новочеркасской гимназии, наблюдает удивительную особенность своей памяти, ее зрительную образность. Интерес к психологическим наблюдениям сказался и в дальнейшем, когда Лосев-студент стал учеником известного психолога и философа Г. И. Челпанова и работал в его просеминариях и семинариях, проводя целый ряд экспериментов, в том числе и связанных с

видами памяти. В архиве Психологического Института, основанного Г. И. Челпановым при Московском Императорском Университете, сохранился перечень экспериментальных работ 1914-1915 гг. А. Ф. Лосев разрабатывал тему «Об эстетической образности». Сохранилась в архиве Г. И. Челпанова работа Лосева «Проект экспериментального исследования эстетической образности» (1913-1916 гг.). В этом семинаре Лосев участвовал в качестве испытуемого по таким темам, как «О типах представлений», «Анализ процесса воспоминания в области формы и цвета» и многим другим. Судя по дневниковым записям, зрительные образы памяти были у Лосева очень устойчивыми, несмотря, как это он сам отмечает, на плохое зрение. «Типы моей памяти» впервые напечатаны в журнале «Начала», 1994, № 1, с. 40-41.

Следующий текст А. Ф. Лосева, его тезисы «О религии», входят в состав отдельной школьной тетради без обложки с записями дневникового типа.

Возможно, что это тезисы доклада 1916 г., когда Лосев, окончив Университет (1915 г.), был оставлен там для подготовки к профессорскому званию и начал преподавать в гимназиях. В 1916 г. праздновался юбилей Карамзина, и в этой тетради есть соответствующие записи. Тезисы «О религии» связаны с заметками Лосева «О реформе Закона Божия в школе» и особенно с докладом 1921 г., прочитанным в Нижегородском Университете (Лосев был избран в 1919 г. профессором этого университета) — «О методах религиозного воспитания» (см. Вестник РХД, Париж, 1993, № 167, с. 63-87 с моими подробными комментариями).

Тому, кто знаком с книгой Лосева «Диалектика мифа» (1930 г.), будет понятен и фрагмент «О молитвенном научении» (назван мною условно), где прослеживаются мотивы о строгой монастырской службе, о «сладком» стоянии на молитве в храме, об Иисусовой молитве. В одном из своих писем к В. М. Лосевой (от 9/III — 1932 г.) из лагеря на Беломорканале в ее лагерь на Алтае он пишет: «Плох тот христианин, который не любит церкви» (см. Лосев А. Ф. Жизнь... СПб., 1993, с. 393). Данный фрагмент относится, видимо, к 1919 или к самому началу 20-х годов. Слова «Бывало в молодости поеду я в какой-нибудь монастырь» не должны нас смущать. В «Дневнике 1914 г.» (2 марта) он пишет, например: «Стал стареть», а было ему тогда двадцать один год.

Страницы, представленные размышлениями на религиозные темы, являются свидетельством глубоких раздумий молодого автора, который перейдет вскоре к изучению проблем богословских и, более того, догматических. Об этом свидетельствует его тесная связь с движением имяславия, с учением о почитании Имени Божьего, возникшем на Афоне перед первой мировой войной и нашедшем свое продолжение в России. Древнее мистическое учение православного Востока, уходя

шее своими корнями в IV в., а затем представленное в трудах св. Григория Паламы (XIV в.), изучалось выдающимися русскими философами и богословами, такими, как о. П. Флоренский, о. С. Булгаков, М. А. Новоселов, епископ Феодор (Поздеевский), В. Ф. Эрн, М. Д. Муретов. Ранний Лосев 20-ых годов был близок со всеми ними. Только Эрн умер в 1917 г., а о. С. Булгаков был выслан из России в 1922 г. Был Лосев близок и с математиками-имяславцами Н. М. Соловьевым и Д. Ф. Егоровым, Президентом математического Общества в Москве. К о. П. Флоренскому направлены были Лосевым имяславские тезисы¹¹. А. Ф. Лосев оказался единомышленником изгнанных с Афона выдающихся деятелей имяславия о. Иринаея и о. Давида. Архимандрит Давид стал духовным отцом четы Лосевых, благословил Лосева перед его арестом, сам вскоре скончался и был похоронен В. М. Лосевой и Д. Ф. Егоровым, арестованными сразу после этого. И арестован был Лосев по делу об имяславской «истинно-православной церкви», к которому привлекли 48 человек, в том числе и М. А. Новоселова.

Вскоре после 1917 г. Лосев написал статью «Имяславие», напечатанную по-немецки и предназначенную для заграницы¹², может быть для сборника «Russland» («Россия»), где уже была напечатана его статья «Russische Philosophie» (Цюрих, 1919 г.) и где была объявлена статья Лосева о русской религии. К первой половине 20-х годов относятся многочисленные доклады Лосева на имяславские темы с опорой на догматические споры об имени IV в. и на собственные догматические изыскания. Доклады эти происходили на квартире у Лосевых или у Д. Ф. Егорова. Сам философ собирал материал для книги об имяславии, его глубинный смысл лежит в основе знаменитой лосевской «Философии имени», а тезисы докладов сохранились в архиве философа.

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что юный Лосев задумывался над проблемами религии, включая ее в свой Высший синтез и видел ее огромную воспитательную роль в школьном обучении и воспитании.

В нашем собрании печатаются также два рассказа и повесть Лосева, в которых особенно ярко выявились заложенные в юности творческие потенции писателя. Как мы знаем, в Высшем синтезе Лосева соединились философия, наука, религия, искусство и нравственность. Именно этот синтез нашел свое выражение в прозе Алексея Федоровича, где каждый рассказ и каждая повесть ставят философские и

¹¹ См. Флоренский П. В., Ростовцев Ю. А. П. А. Флоренский по воспоминаниям А. Ф. Лосева // Контекст – 1990, М., 1990.

¹² См. перевод с немецкого А. Г. Вашестова под ред. Л. А. Гоготипшвили и А. А. Тахо-Годи в «Вопросах философии», 1993, № 9.

научные проблемы, выдвигают идеи, связующие искусство и религию, пронизаны высоким нравственным пафосом.

Появилась эта удивительная проза, найденная мною уже после кончины философа (как впрочем и дневники), совсем не случайно. Мы говорили выше, что А. Ф. Лосев находился в лагере на строительстве Беломорско-Балтийского канала в 1930-1933 годах после выхода своего «восьмикнижия» и в том числе «Диалектики мифа», послужившей поводом к аресту. В письме из Свирьстроя от 30 июня 1932 г. в поселок Медвежья Гора в лагерь Второго водораздельного отделения, где находилась жена А. Ф. Лосева Валентина Михайловна (переведенная сюда по их обоюдной просьбе из Сибирского лагеря на Алтае), мы находим очень интересное свидетельство. А. Ф. Лосев пишет, что чувствует «наплыв каких-то густых и сочных художественных образов, сплетающихся в целые фантастические рассказы и повести», чувствует «неимоверную потребность писать беллетристику». Он признается жене, что нет не только возможности писать, «но и просто записать простую схему рассказа (чтобы не забыть)». Все возникает и забывается. А если бы это было записано, то получились бы не только «законченные литературные образы», но и основа для дальнейшей литературной эволюции и «для прогресса в выработке собственных оригинальных приемов и стиля».

Некоторая возможность писать появилась еще в лагере, когда объединившимся супругам было разрешено обосноваться вместе на квартире поселка Медвежья Гора. Рассказы «Мне было 19 лет» и «Театрал» написаны как раз в лагере, в 1932 г. Здесь своеобразно преломляются впечатления юности, студенчества в Москве, и жизнь провинциального городка, в котором узнается Новочеркасск, родина автора. Уже в этих рассказах намечены некоторые мотивы, развитые в больших повестях Лосева («Встреча», «Женщина-мыслитель», «Трио Чайковского»): знаменитая артистка, певица или пианистка с загадочной душой, фантасмагории в гофмановском духе, жизнь несчастного человека, сторевшая, как театр, уничтоженный пожаром (ср. запись о пожаре в Новочеркасске от 21 августа 1914 г., когда погиб любимый Лосевым маленький театр).

После досрочного возвращения из лагеря в Москву в 1933 г. Алексей Федорович писал очень интенсивно. Ему хотелось выразить свои заветные мысли, свой взгляд на современный мир, на философию, музыку, социальные процессы, происходящие вокруг, всю густоту и сложность жизни. Он писал абсолютно откровенно, и рукописи оставались в ящиках стола.

Но вот началась война. А. Ф. Лосев находился в мае-июне 1941 г. в Полтавском Педагогическом институте, куда он ездил последние несколько лет читать курс античной литературы и даже был председателем Государ-

ственной экзаменационной комиссии. Начало войны – 22 июня 1941 г. – застало его в Полтаве.

С огромными трудностями, с обязательной пересадкой в Харькове и с другими, необязательными (тогда прямого пути Москва – Полтава не было), в переполненных вагонах, осаждаемых народом, среди беженцев, плача и криков уже только в июле месяце он добрался до Москвы. Но тут ожидало семью Лосевых еще одно, не менее тяжелое, чем лагерь, испытание.

В ночь с 11 на 12 августа 1941 г. фугасная бомба прямым попаданием полностью разрушила их дом вблизи Арбатской площади (Воздвиженка, 13). Мучительны были раскопки, похороны близких, спасение книг, добывание нового жилья, переезд на Арбат, в холод неотопляемого старого дома.

И вот здесь на исходе 1941 г. А. Ф. Лосев пишет философскую повесть под названием «Жизнь», пишет на обороте серой бумаги объявлений об очередном приеме в Московский Авиационный институт, где доцентом на кафедре теоретической механики работала его жена. В доме стоял холод, лежали груды неразобранных книг и рукописей, загромождая комнаты и большую часть так называемой кухни (газ и паровое отопление в доме не были еще проведены и приходилось добывать дрова для печей). Но среди всего этого хаоса разбитой жизни Алексей Федорович писал свою исполненную высокого достоинства и жертвенной любви к родине повесть-размышление¹³.

¹³ Повесть «Жизнь» и рассказ «Театрал» напечатаны в книге: А. Ф. Лосев. Жизнь. Повести. Рассказы. Письма. СПб., 1993. Рассказ «Мне было 19 лет» печатается впервые. При публикации архивных материалов мы сохраняем орфографию и пунктуацию подлинника. При расшрифровке сокращений пользуемся общепринятыми условными знаками. Исправляются очевидные опечатки и описки.

«МНЕ БЫЛО 19 ЛЕТ...»

Дневники. Письма. Проза.

ВЫСШИЙ СИНТЕЗ КАК СЧАСТЬЕ И ВЕДЕНИЕ

16 авг. 1911

Наука и религия.

1. Противоречие по содержанию
2. Полное согласие по духу.

Искусство и религия.

Наука и религия

Философия.

Наука, искусство, религия и философия — несмотря на все их разнообразие, несмотря на все их противоречия, имеют много точек соприкосновения, и среди этих точек главнейшая суть следующая —

Служение общечеловеческому идеалу, постижение универсальной истины и красоты, воспитание нравственных сил для достижения этого идеала.
--

Что такое наука?

Систематическое изложение знаний, добытых на опыте (через посредство внешних чувств). Т. е. изложение и объяснение эмпирических явлений.

Что такое философия?

Миропонимание, составляющееся путем синтетического соединения научных сведений.

Что такое религия?

Сознание своей зависимости от Высшей субстанции, союз человека с Богом.

Что такое искусство?

Изображение и постижение человеческого при посредстве образов и лирического чувства.

Высший синтез как счастье и ведение

1. Вступление. О современной распутице, половинчатости и разрозненности.
2. Что такое синтез?

Объединенное, стройное, цельное, лишненное малейшего противоречия, согласное с индивидуальностью лица мировоззрение.

Высший синтез. Мировоззрение, которое охватывает весь мир, всю природу и человека, все явления, совершающиеся в ней и в нем; мировоззрение, которое не удовлетворяется одной какой-либо научной отраслью, но которое подчиняет все одной руководящей идее, которое заставляет все жить гармоничной, лишеной противоречий жизнью. Высший синтез есть синтез науки, религии, искусства и философии. Высший синтез есть синтез всего, что образует собою духовную жизнь человека.

3. О возможности и необходимости этого высшего синтеза. Могут сказать: «Высший синтез, как вы его понимаете, он пригоден только для вас; он есть лично ваше дело, а уж нам оставьте свободу вырабатывать мировоззрение по-своему; у нас тоже есть желание самим и из своего создать себе счастье и ведение, которое принесится по-вашему высшим синтезом».

Такие возражения мне приходилось выслушивать очень часто, и поэтому я не постесняюсь разобрать их здесь, несмотря на явную их нелогичность.

1. Высший синтез не есть предмет, зависящий от индивидуального выбора; он обязателен для всех.

а. Во-первых, он прямо вытекает из тех особенностей нашего духа, благодаря которым мы ищем везде гармонии, везде мы хотим порядка и логики.

б. Высший синтез, как основа нашего мировоззрения, есть также следствие законов, управляющих вселенной. Я не буду здесь защищать телеологический взгляд на природу, но ведь кто же станет говорить против того, что все в природе совершается по строгим и точно-определенным законам, что мир и человек представляют собою и вместе и каждый в отдельности единство, что все познаваемое нами есть воплощение какой-то неведомой строгой справедливости? Каким же образом мое воззрение на мир и человека не будет высшим синтезом, если весь мир и весь человек есть высший синтез.

с. Он есть необходимое условие успешного развития отдельных научных дисциплин. Для изучения какой-нибудь науки нужно знать отношение ее к другим наукам, нужно определить ее место во всем человеческом знании. Отсюда всякая наука имеет соприкосновение с философией. Философия же есть прежде всего синтез, и синтез не механически, но органически соединившихся начал знаний. Таким образом раз мы желаем изучать всю науку до основания, то высший синтез должен быть основой мировоззрения независимо от воли отдельных лиц.

2. Высший синтез не есть мировоззрение, которое не допускает никаких побочных надстроек; он скорее есть не мировоззрение, но основа каждого мировоззрения, если последнее хочет остаться самим собою. Высший синтез есть полотно, натянутое на раму, и уж чем художник покрасит это полотно — это его дело. Вы можете быть материалистом, и в то же время ваше мировоззрение не будет страдать однобокостью, нецельностью, т. е. ваше мировоззрение будет высшим синтезом. Разумеется, вам тогда придется отказаться от всех крайностей материализма, делающих его ненаучным, но все дело-то в том, что некоторые принципы материализма находят себе место и в присутствии начал высшего синтеза*.

3. Если ребенок говорит, что ему не надо солнца, так как светло бывает и тогда, когда солнце покрыто тучами, то это еще не значит, что солнце действительно можно считать бесполезным. Если вы говорите, что не нуждаетесь в высшем синтезе идей о

* Чтобы не отвлекаться далеко в сторону, я не разрабатываю подробно указанного примера возможности надстроек над высшим синтезом. Но, если бы это нужно было сделать, то мои рассуждения покоились бы на следующих основаниях:

1. Материализм, как **известное направление в науке**, есть свод наиболее совершенных методов исследования, наиболее выгодных приемов решения научных проблем. Т. е. свод наиболее полезных законов для увеличения общей суммы **научного знания** человека.

2. Материализм как **известное направление в философии** должен рассматриваться как историческое явление, как явление, имеющее значение для истории философии, и как уже прошедшее, или во всяком случае долженствующее отойти в область историко-философского предания. Принципы материализма необходимы для науки, иначе невозможно было бы, например, установить ни одного научного закона. Дарвин никогда не открыл бы своего «закона», если бы он заранее уверил себя в противоречии естественно развивающихся явлений Всесильному Провидению (говоря «уверил себя в противоречии», а не «верил в Провидение», ибо законы природы не противоречат бытию Верховного Правителя и Всесильного Художника — Создателя стройной (а не хаотической) вселенной, да кроме того есть основания и Дарвина считать верующим человеком). Другими словами, Дарвину нужно было стать на материалистическую точку зрения сверхъестественного «невмешательства». Однако материализм становится совершенно ненаучным, коль скоро начинает действовать на основании своих принципов в области наук метафизических. Здесь лишь очень и очень немного из материализма приходится признать здоровым и пригодным для разрешения проблем, все же остальное и здравый смысл и нравственное чутье заставляет отбросить, как совершенно нелогичное и потому вредное.

Высший синтез, таким образом, только исправляет некоторые ошибки идей и систем, приводящих в него со стороны, как, например, **исправляет** коренную ошибку материализма, не признавая его тенденции стать философским учением, но никоим образом высший синтез не исключает до основания этих идей и систем.

всем существующем, если вы даже вполне добросовестно отрицаете всю его пользу, то это не есть доказательство его бесполезности.

Во-первых, вам может только казаться, что высший синтез вам не нужен. И это может произойти не только потому, что вы мало изучали науку; наоборот, это сплошь и рядом происходит с теми, которые слишком усердно занимаются отдельными науками. Вы просто могли не замечать общего, слишком вникая в частности. А между тем, если вы не захотите ограничиваться одной узкой научной дисциплиной, вы сразу увидите, что потребность обобщенного знания потребует от вас выработки такого миросозерцания, которое бы было высшим синтезом всего знания и всех ваших переживаний.

Во-вторых, преднамеренное игнорирование некоторыми учеными-материалистами тех принципов знания, которые вообще возможны только при вере в сверхчувственное бытие. И главное, что многие материалисты, поступая так, остаются честными людьми, т. е. они вполне добросовестно отрицают метафизику, ошибочно полагая, что это необходимо надо для успешного развития позитивного знания. Поэтому, например, в мировоззрении может не доставать религиозных начал, которые, как увидим ниже, совершенно безвредны для науки.

4. О содержании высшего синтеза.

Выше было сказано, что высший синтез, понимаемый так, как я его понимаю, есть органическое соединение отдельных элементов знания и чувства в одном стройном миросозерцании. Мне кажется, что мы достигнем счастья и ведения только тогда, когда примиряются четыре главные области психической жизни челове-

NB Вывести 5 областей постепенно из рассмотрения духовного мира человека

ка:

→ религия, философия, наука, искусство, [оговорка о нравственности] нравственность.

Чтобы указать те вехи, которые поведут к синтезу этих пяти¹⁾ областей человеческой жизни, нужно точно определить каждое из этих понятий.

Определение религии,
философии,
науки,
искусства,
нравственности.

Но почему же надо привести в синтез эти 5.

А потому, что все эти области нашей жизни необходимы нам.

Необходимость религии,
Необходимость философии,
Необходимость науки,

¹⁾ В оригинале стоит ошибочно «четыре» (А. А. ТГ.).

Необходимость искусства,
нравственности.

Итак, у нас 5 главных областей психической жизни. Рассмотревши их, мы находим, что все они нам необходимы, если мы не хотим ломать себя. Но всем известно их взаимное жгучее противоречие.

Как их примирить?

Рассмотрение со стороны 1. происхождения,
2. внутренней сущности (психологии).
3. внешней сущности,
4. их целей. [искусственно разбить]¹⁾

Нам придется для полноты рассмотреть эти 5 областей в следующих комбинациях:

Психология
религиозного
чувства²⁾

- A. 1. Религия и философия.
- 2. Религия и наука (Рожд.<ественский>¹, В.<естник> Зн<ания> Святский)².
- 3. Религия и нравственность (Рождественский)
- 4. Религия и искусство (Рожд.<ественский>).
- B. 1. Наука и философия (Челпанов)³.
- 2. Наука и искусство.
- 3. Наука и нравственность.
- C. 1. Философия и искусство.
- 2. Философия и нравственность.
- D. Искусство и нравственность.

(10 глав)

14. Объединение вышеназванных принципов в высшем синтезе.

5 областей психической жизни объединяются на следующих началах:

- 1. Они имеют **общий источник** — потребность совершенствования, жажда идеала, стремление к Творцу, любовь к Нему.
- 2. Они имеют **одинаковые цели**:
 - a. Постигновение трех абсолютов: Бога, мира и человека.
 - b. Достижение известного идеала, нравственного и умственного (известного идеала, т. е. установленного Высшей Мудростью для данного фазиса развития мира и человека).

¹⁾ Пометка карандашом (А. А. Т-Г.)

²⁾ Пометка карандашом (А. А. Т-Г.)

15. Применение найденных принципов высшего синтеза к современной эпохе жизни человечества.

*Felix, qui potuit rerum
cognoscere causas. Verg.
Georg. II, 490⁴.*

Итак, высший синтез возможен; итак, он действительно органически сливает в одно нерушимое целое все, до чего дожили люди. В чем же заключается счастье обладания им, и какое он дает ведение?

Ответить на этот вопрос значит определить, как можно применять найденные нами выше принципы этого синтеза к современной эпохе человечества, ибо нам важно наше счастье и наше ведение.

Во-первых, он открывает нам блестящие перспективы умственного и нравственного развития. У нас есть постоянный источник наших нравственных сил, а с другой стороны, у нас бесконечный идеал. Следовательно, совершенствоваться и можно и обязательно.

Во-вторых, мы можем остаться цельными при всеобщем разъединении и противоречии. («Христианское освещение жгучих вопросов современности» статья в «М<нрзб.>».).

В-третьих, дает возможность при всех аномалиях современности верить наступлению «неба с алмазами». А. П. Чехов.⁵

См. статью в «В<естнике> Зн<ания>» за 1910 г. «Принципы грядущего оптимизма» и «Значение эволюции».

Религия и наука.

Иерусалем⁶.

Рождественский.

Святский (В. Зн. 1909. № 1-2).

Додель⁷.

Орлов (Церковь и государство)⁸.

Противопоставление 1-ой главы кн. Бытия и какого-нибудь научного сочинения.

Еще два противопоставления.

(Об Апокалипсисе, из Гункеля)⁹.

Противоречие по содержанию

(Несколько примеров по содержанию).

Согласие по принципу. Введенский¹⁰. О видах веры и ее отношении к знанию.

Чичерин¹¹. Наука и религия.

Тэрнер¹². Религия и наука.

Соловьев¹³. Критика отвлеченных начал.

Ehrenhauss. Die neuere philosophie und der christliche Glaube in ihrem Verhältnisse. 1881.

Два крайних взгляда на взаимоотношения религии и науки (материализм и мистицизм).

В «Философии религии» Гегеля¹⁴ религии дано среднее место между философией и искусством.

Штраус¹⁵ и Фейербах¹⁶ — замена в будущем религии философией.

Стр. 154-156:

1. Знание не обходится без веры.

2. Вера не обходится без знания.

Иоан. XVII, 3

Притч. IX, 10

Премудр. XIII, 1.

Римл. I, 18.

Евр. XI, 3

Матф. XXVIII, 19-20.

Иоан. XIII, 13.

Тертуллиан: credo quia absurdum¹⁷.

Анзельм: credo ut intellegam¹⁸.

Проф. Н. П. Рождественский.

Христианская апологетика.

СПб., 1893.

24 авг. 1911

Из статьи: «Теория эволюции и мирозерцание»

Проф. Р. Трода («Вестник Знания», 1910, № 10)

1. «Теория эта позволяет нам органически понимать мировые процессы и следить за ними с проникновенным интересом».

Если даже это удовольствие есть эстетическое наслаждение, то оно как таковое сближает нас со вселенной».

2. Теория эволюции показывает, что «весьма многие из них (загадок) уже покорены нашим умом, что можно на протяжении всего развития человечества показать беспрестанное возрастание исследующих сил ума, постоянное расширение понимания сил природы, что и указывает на очень большую вероятность решения мировых загадок нашими правнуками».

3. «Из утешительной уверенности в будущей победе мы можем почерпнуть силу для САМООГРАНИЧЕНИЯ в настоящем». (См. у Минто¹⁹ «источники ошибок <нрзб> пр.).

4. «Взгляд на победу человечества в далеком будущем над загадками и силами вселенной должен также подбодрить наше усердие и в то же время повысить наше чувство ответственности».

5. Новая цель жизни в сотрудничестве и в борьбе за успехи познания природы.

6. «Мы составляем звено в одной большой цепи, которая вечно движется вперед».

7. Мужество, не боящееся смерти.

24 авг. 1911.
Ст. Каменская

24 авг. 1911

I. 5. Религия и наука

Вопрос о взаимоотношении религии и науки можно рассмотреть, перенеся его на более широкий масштаб рассмотрения взаимного отношения между

верой и знанием, ибо как вера есть сущность религии, так наука невозможна без знания.

Но вера и знание есть функции

сердца и рассудка.

Следовательно, чтобы решить вопрос о взаимном отношении религии и науки, рассмотрим

А. сердце и рассудок, как органы психической жизни человека, а затем

В. веру и знание, как функции этих органов.

А.

Сердце и рассудок есть существенно необходимые органы «духовного человека», ибо только из них да еще из способности приводить их в движение (воли) и состоит человек.

Тот, кто изучал психологию, знает о так называемом **единстве психических явлений**.

Примеры.

Вспомните, как вы ребенком бегали в церковь.

Вспомните, как вы ходили в церковь, сделавшись юношей и научившись сознательно понимать всю важность богослужения.

Когда я был в 8 классе гимназии, у меня занимались по латыни две гимназистки. Идя на урок, я переживал (хотя и не

слишком ярко) настроение, в которое входили следующие многочисленные элементы:

1. Сознание пользы, приносимой ближнему.
2. Мысль об этой пользе, как ее увеличить вообще и в этих занятиях в частности.
3. Удовольствие от сознания пользы и от мысли об ее увеличении.
4. Удовольствие при мысли о возможности выложить свои познания перед людьми желающими этого и понимающими настоящую пользу.
5. Удовольствие от предстоящей беседы с более или менее умными и развитыми девушками.
6. Обдумывание диктанта, который надо дать по-латыни, или вообще мысли, относящиеся к проходимому курсу.

Разбирая дальше, я мог бы найти еще несколько элементов, которые входили в мои переживания во время 15-минутной ходьбы два раза в неделю. Но читатель уже и без того видит, что в одном и том же психическом акте у меня совмещалась вся гамма сложных переживаний, начиная от чисто рассудочных обдумываний и с небольшою примесью чувства сознания и кончая настоящими переживаниями чувств, удовольствий.

Где же тут сердце, где ум? Да, мы видим их, мы можем мыслить их в абстракции, но это будет только абстракция. У нас нет голых мыслей, как нет и голых чувств. Возьмите мысль о Боге, мысль о дорогом вам человеке, мысль о книге, которую вы прочли с удовольствием, мысль о друзьях вашей юности, возьмите мысль о чем хотите, что имеет то или другое к вам отношение, разве это будет только мысль, только обдумывание, только рассудок? Каждый из нас с грустью вспоминает о юношеских годах, проведенных в школе, о товарищах, преподавателях, об учебниках; каждому приятно также вспомнить о прочитанной хорошей книге. Разве это не есть соединение чувства и рассудка? В гимназии у нас был очень плохой учебник теории словесности, а я до сих пор храню его как святыню; романы Фламариона²⁰ «Стелла» и «Урания» многие находят слишком романтическими и нехудожественными, а я перечитываю их так часто, что некоторые фразы из них знаю наизусть. Если бы сердце и разум не действовали в одном стройном психическом акте, если бы они управлялись такими законами, что соединение их в одно целое было не возможно, (тогда даже при противоречии по содержанию), разве стал бы я хранить «ненужный» учебник теории словесности, или перечитывать нехудожественного Фламариона.

Итак, отношение сердца и рассудка не есть отношение ни противоположности, ни однозначности, но отношение взаимного дополнения и взаимной помощи, ибо нет ни чувств, ни мыслей, ни волевых актов, а есть лишь элементы чувств, мыслей и элементы волевых актов в <нрзб.> (по крайней мере с психологической точки зрения) переживаниях.

Итак, рассмотрим наши разум и сердце.

(о роли сердца «Вера и разум», 1910)²¹

Психологическое рассмотрение.

Теперь вера и знание.

(Введенский. О видах веры).

Вывод тот же. «Слово в день преп. Антония Великого»

(Стеллецкий²² «Вера и разум», 1911, № 2).

Наука и религия, как особые виды знания и веры.

(Психология религиозного чувства).

Вопросов, по которым «расходятся» наука и религия, очень много.

(См. Додель. Моисей или Дарвин?)

Религия

Наука

I. В начале сотворил Бог
небо и землю; земля же была
невидима и неустроена и Дух
Божий носился над землею.

I.

Разве это не противоречие? Разве есть хоть какое-нибудь самое отдаленное сходство между учениями религиозным и научным?

Пусть читатель не смутится, если я отвечу на это: да! есть и очень даже близкое.

Выяснение противоречий его содержания и полного согласия по духу. (Библия для полудикарей

и

безграничность науки).

Разбор гипотезы Канта — Лапласа²³ и новейшие теории.

(Арх. Борис. О начале мира

Мультон. Эволюция солнечной системы)²⁴.

Мы ничего не знаем, и поэтому не можем утверждать, что вывод один, и он утверждается на следующих основаниях.

а. Книга Бытия для полудикарей.

б. безграничность науки.

1. Н е л ь з я примирять по содержанию.

2. Н а д о примирять по принципу, ибо только дух животно-рит, буква же убивает, да, кроме того, только «дух» непреходящ, а буква, как в науке, так и в религии, постоянно развивается вперед. (Модернистские мысли об эволюции церкви и догматов).

Итак, рассуждение об *ignotamus* (Дюбуа-Реймон)²⁵ *materiam ignotamus, sed eius causas intellegimus*²⁶.

Вообще же

«πιστει νοοῦμεν», т. е.

«Верую подразумеваем»²⁷

и
πιστις²⁸

и νοῦς²⁹.

«Можно ли доказать бытие Божие?»

(«Отдых христианина», декабрь, 1909.)

Проф. прот. П. Я. Светлов³¹.

Бытие Бога познается эмпирическим путем.

1. В религиозном чувстве.

2. Совесть

т. е. вообще религиозно-нравственный опыт.

«Отрицание бытия Божия есть догмат слепой веры атеизма».

«Не доказательства бытия Божия разрушены кантовской философией, а ложное ходячее мнение лейбнице-вольфианской и гегельнской философии о возможности превращения религии в знание и богословия в метафизику или о возможности совершенного достаточного обоснования веры помощью одного рассудка».

Уважение Канта к телеологическим доказательством

О необходимости соединения религии и философии.

У Вундта³²:

«Система философии».

Проф. Алексей Введенский. Психология веры. (Религиозная вера как <нрзб.>стический принцип в психологии).

Св.-Тр. Сер. Лавра 1899.

I. Постановка вопроса.

II. Религиозная природа основного критерия истины.

Фламарион. Бог в природе.

Гартвиг. Единство мироздания.

Бенер. Космос, или библия природы³³.

Проф. В.Д.Кудрявцев. Сочинения. 3 тома³⁰

Ульрици³⁴. Бог и природа.

Светлов. Систематический указатель апологетической литературы. Киев. 1907.

Клейн³⁵. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. СПб. 1900. 26 стр.

Ш. Ришар³⁶. Начало и конец мира. Перев. Ив. Святского. СПб. 1894. стр. 146.

Проф. М. М. Тареев³⁷. Основы евангелия.

Чичерин. Наука и религия.

Эпиграфы к главе Религия и наука.

Если бы признание формул квадрата суммы двух чисел или бинорма Ньютона были соединены с какой-либо нравственной обязанностью, то и математика сделалась бы предметом сомнений.

Мальбранш³⁸

Чем более расширяется поле науки, тем многочисленней становятся доказательства за существование творческой всемогущей премудрости.

Гершель³⁹.

Никто не отрицает Бога, кроме того, кому выгодно, чтобы не было Бога.

Бэкон⁴⁰.

Все эпохи, в которых господствует вера в какой бы то ни было форме, блещут, поднимают дух и плодотворны для современников и потомков. Наоборот, все эпохи, в которые безверие, в какой бы то ни было форме, одерживает плачевные победы, пусть даже временно они красуются в призрачном блеске, для потомства исчезают.

Гете.

ДНЕВНИКИ 1911-1913 гг.

Станица Каменская

О.В.Д.

20 декабря 1911 года.

После долгих колебаний я решился-таки, наконец, приехать из Москвы в Каменскую¹ на Рождество. 18-го дек., в 1 час дня я выехал из Рязанского вокзала, а в 10 час. вечера 19 декабря я был в Каменской. Всего около 53 часов, но сколько пережито за это время в вагоне! Или нет, не в вагоне, а после вагона, уже когда приехал сюда, когда покинул железную дорогу. Еще одно, еще новое имя вписалось огненными буквами в мое сердце. Вот имена тех девушек, которые согрели мое одинокое сердце, которые тронули мои самые нежные чувства: Ольга, Анна, Вера и еще одна Вера?... Все? Нет, но пока упомяну этих... Теперь же могу прибавить еще одно имя: Дора¹.

Я как-то странно создан. Не было почти ни одной женщины, которая бы не была причиной каких-нибудь светлых и добрых, скажу даже больше, — объективно-полезных мыслей и чувств. Вот и теперь. Познакомился с еврейкой, с молоденькой 17-летней еврейкой, пробыл с нею в поезде полтора дня и в результате — я уже не так пренебрежительно относусь теперь к евреям, которых раньше не то боялся, не то испытывал по отношению к ним какое-то неопределенное чувство неприязни. Милая Дора! Ведь теперь не только я вспоминаю о ней, но и она — я в этом уверен — тоже вспоминает эти наши полтора дня, проведенные вместе в вагоне. Представьте себе хорошенькую барышню с ярко выраженным восточным типом лица, но с любопытным профилем и еще более интересным «en face», в особенности во время улыбки. Я вообще мало встречал таких евреек. Обыкновенно встречаешь лицо с отталкивающими признаками настоящей еврейщины, к которым обыкновенно прибавляется неисправимый еврейский акцент, для которого нужны большие старания и колоссальное терпение русского уха, чтобы в них вслушаться и иметь удовольствие от этих бесед.

Эта же моя новая знакомка — я сначала даже принял ее за русскую. С Москвы и до Рязани, т. е. приблизительно до 5-6 часов вечера мы молчали, сидя один против другого на лавочках в плацкартном вагоне. Изредка мы встречались взглядами, но я

старался вообще казаться холодным и совершенно бесстрастным и неучастливым взглядом иногда осматривал свою новую соседку по путешествию. Она тоже не старалась скрыть своего, очевидно, желания посмотреть иногда на меня, но я уже раньше радовался, что встреча наших взглядов была так чиста и так далека от той пошлости и мелкости, которую ненавидели — это было видно — и она и я. Не скажу, что это была красавица из красавиц. Нет! Я не буду уподобляться тем неопытным юношам, которые, будучи оптимистами и идеалистами не по убеждению и не по жизни, а всего лишь только по своей юности, которая при нормальном положении вещей всегда полна идеализма, я хочу здесь поделиться — с кем мне делиться в жизни, кроме пера и бумаги? — поделиться с бумагой своими настоящими чувствами и настоящими переживаниями, которыми полон я со вчерашнего дня. А для этих чувств не нужно настолько идеализировать предмет, чтобы называть красавицей ту женщину, которая только к ней приближается. Нет, это не была красавица, это была просто милая особа, или даже просто чуткая душа, которая оказалась в состоянии затронуть даже такого рефлектика, как я. Я — рефлектик? Это, право, открытие для меня, только сейчас в первый раз употребил это слово. Но, кажется, оно во многих случаях применимо ко мне. Итак, даже такого рефлектика, как я, эта особа могла задеть за нежные струны. Впрочем — оторвусь еще на время от хода своих вчерашних впечатлений — впрочем, это может быть верно только для меня, а для другого неверно? Т. е. может быть, на другого эта женщина и не произвела бы никакого впечатления? Да мне-то что за дело? — отвечаю я сам себе. Ведь тут я пишу только о себе и только для себя — так чего же мне стесняться? И вот мне эта госпожа понравилась. Но сначала понравилась именно так, как нравятся мне некоторые женщины, которых иногда встретишь мимоходом где-нибудь и которых потом никогда не встречаешь. Конечно, некоторое время помнишь, а потом забываешь, потому что от женщины я всегда стараюсь взять две вещи: внешнюю красоту, которая нравится мне сама по себе, без всякого отношения к другим ее качествам, и душу, которая бы лаской согрела меня и которая бы со мной хоть одну минуту пережила то чувство веры в идеал, в сердце и в знание, которой поддерживается моя духовная жизнь. Если нет второго качества у женщины, или вернее сказать, если мне не суждено увидеть и насладиться душой, то поневоле в голове остается впечатление только о внешней красоте, которое и слабеет от времени, если не возобновляется. Не имея даже в мыслях того, чтобы эта моя соседка могла хоть как-нибудь затронуть меня своей душой, я, конечно, ограничивался одним наблюдением ее в высшей степени симпатичного лица. В нем было, как я уже сказал, много восточного. Густые, черные волосы обрамляли про-

стенкой, но изящной прической свежее лицо. Глаза — не черные и гораздо светлее, чем нужно бы ждать при таких черных волосах. Рот маленький и красиво сложен. Именно здесь немножко выражена та черточка, которая нравится мне и в статуях греческих ваятелей, т. е. черточка какого-то знания жизни, и знания, завоеванного личными потерями, личными страданиями и мучениями. Вообще нижняя часть рта, с своеобразными, характерными особенностями выражает — правда в миниатюре — как раз эту проникновенность в жизнь целого страдания, этот выстраданный опыт жизни, дающий теперь возможности беспристрастно и справедливо судить на основании своего прошлого все, что теперь случается и с обладателем этого лица и с другими людьми. В течение дальнейшего своего путешествия я немного переменял это свое суждение относительно характера, выражаемого лицом моей еврейки, но это было лишь в ее пользу, и нисколько не во вред.

Продолжу завтра, так как сейчас очень поздно.

Господи! Сохрани Дору от всякого зла! Дай ей истинное познание любви и счастья и избери ее достойною служительницей твоего вечного престола Истины и Красоты!

Храни вас Бог, милая Дора!

Вторник. 21 декабря 1911 г.

Вот опять сажусь за дневник, хотя только утро — десятый час. Обыкновенно предаешься поэзии, счастливым воспоминаниям и Богу, т. е. всему, что навевается нездешним миром тогда, когда уже кончил своей дневной труд и отдыхаешь от умственной работы, чтобы создать постепенность перехода от напряженных изысканий ума ко сну. А вот сейчас 10 часов утра — и я все-таки вспоминаю.

*О милое воспоминанье
О том, чего уже в мире нет!*

Эх, Жуковский!¹ Ты — неиссякаемый источник поэтического вдохновенья, ты вечный утишитель мятущегося сердца.

Да. Дора Лурье. Это — имя и фамилия моей новой знакомой, промелькнувшей как сон у меня в сознании.

На чем я остановился? Да! На лице. Ну что же, лицо это я не скоро забуду. Да его и трудно забыть. Ведь это очень редкий экземпляр соединения еврейского и русского типа. Когда она улыбается, все еврейское совершенно уничтожается, и вы видите перед собой в высшей степени добродушное и веселое лицо, и главное, что в вас при этом нет и тени того чувства, которое переживаете вы, наблюдая бессодержательную и пустую веселость, которая имеет своим источником недомыслие и детскость пережи-

ваний. Конечно, я не обладаю еще умением по одному лицу определять характер человека, но сейчас это для меня не важно: я говорю о лице и только о лице. Да, улыбка у Доры именно из тех, которые мне особенно нравятся. Именно тут скрывается какая-то таинственная черточка знания жизни, которая мне так и говорит: «Этот человек страдал, он выстрадал жизнь и свое миропонимание, и сколько ты тут ни хитри, а рано или поздно он узнает, кто ты, кто всякий другой человек, имеющий с ним дело, потому что он пережил то, что переживает всякий из нас в сильнейшей степени». Повторяю, что от 17-летней девушки трудно ждать этого знания жизни, но опять-таки я говорю только о лице. Интересно, что такая черта проникновенности знанием жизни сохраняется во время улыбки. Даже больше того. Эта черта в улыбке-то больше всего и выступает.

Когда Дора закрывает глаза, то на мой первый взгляд казалось просто, что она немного близорука, до того выпуклым казалось у нее глазное яблоко. Но присмотревшись ближе, я подметил новую опять-таки очень любопытную и интересную черточку — уже в области глаз — ту самую, которую так старались выражать итальянские художники эпохи Возрождения в своих Мадоннах. Невинность — нет; кажется, не это выражается выпуклостью глаз. Девственность? Нет, я не могу здесь это выразить. Эту особенность устройства глаз можно или сыграть на скрипке или нарисовать в красивом стихотворении. Но Бог мне не дал этого таланта — я остаюсь поэтом и художником в душе. Благодарю Бога и за это: у других отсутствуют даже подобные этим качества. — Итак, лицо в общем достойно было того, чтобы на него можно было любоваться. Не будучи шедевром красоты, оно чаровало мягкостью и в то же самое время мужественностью очертаний. Не будучи чисторусским, оно совмещало в себе характер русских и еврейских черт. И она без сомнения была бы редкой красавицей, если бы при всех равных условиях у ней отсутствовало бы теневое углубление под глазами в вертикальном направлении от тех крайних частей глаза, которые ближе к носу, т. е. отсутствовало то, что дает до некоторой возможности считать ее — не то, что за еврейку, — а просто за не-русскую, за восточный, если хотите, тип. Русская женщина с черными волосами, но с светлыми глазами и умеренно-румяным лицом, с мягкими чертами и полным ртом, напоминающим очертания нижнего лица* в знаменитой статуе Аполлона Бельведерского — это экземпляр редчайшей красоты. В особенности, если это именно русская женщина. У Доры есть в лице еврейский оттенок, и потому уже одна мысль, что она не-русская, уменьшает как-то впечатление от ее красоты.

* Имеется в виду нижняя часть лица (А. А. Т-Г.).

В общем же это очень эффектная девушка с полной грудью и необычайно стройным станом. Простота и изящество, которым отличалась Дора и в своей прическе, и в платье, и в разговоре, — все это делало ее весьма привлекательной и достойной самых лучших чувств к ее внешности.

Такова Дора.

Было бы странно, если бы мы в течение 35 часов, сидя один против другого, и притом только одни в отделении вагона, не заговорили бы друг с другом и не завели бы хотя самого обыкновенного, какой может быть в вагоне, разговора. Подъезжая к Рязани, где я собирался обедать, я сказал ей первый, надевая пальто: «Вам ничего не нужно на вокзале?» — «Нет, merci, я хотела отправить телеграмму, но не знаю номера поезда, с которым приеду в Ростов. Лучше в Козлове или в Воронеже». Я сказал, что в Козлове поезд стоит 2 часа 15 мин., и что, след., там гораздо удобнее послать телеграмму. Так кончился наш разговор, и я ушел обедать на станцию. Вернувшись, я сел на свое место. В нашем отделении оказался еще один человек (который потом скоро сошел с поезда), и вот мы трое стали вести незначительный разговор на «железнодорожные» темы.

Скоро остались мы двое с Дорой и разговор принял более содержательные темы, чем раньше. Говорил я много о себе, говорила и она много о своей консерватории в Петербурге, где она училась, о своих занятиях и пр. Я узнал, что она живет в Ростове, где у ее отца большое торговое предприятие. В Петербург она ездила в первый раз. Окончила 6 классов гимназии, и не училась дальше по обстоятельствам, менее всего зависевшим от нее. Теперь готовится за 7 классов, чтобы поступить на высшие курсы (и быть в то же время и в Консерватории). Ласковая девушка скоро перешла к простому задушевному разговору, и мы долго болтали, хотя разостланные постели и дневная усталость уже клонили ко сну. Она узнала о моей специальности, о моих сочинениях и живо интересовалась моими рассказами о философских науках. Наконец, мы заснули, уговорившись встать в 6 часов, чтобы послать телеграмму в Ростов.

Меня разбудили крики кондукторов: «Ваш билет!» Я скоро достал свой билет, но моей спутнице потребовалось два громких возгласа кондуктора, прежде чем она проснулась. Я много бы дал за то, чтобы грубые кондукторы не разбудили ее: она так сладко дремала, полулежа на спине, и так была хороша! Но вот она порывисто открыла глаза, точно так же взялась за портмоне и подала билет. С тех пор ни она, ни я не спали, хотя и старались заснуть. Часа через 2 мы приближались к Воронежу. Я встал еще раньше Доры. Когда поезд остановился в Воронеже, мы поспешно направились к телеграфу, о котором спрашивать я взял труд на

себя. Дора быстро написала и сдала свою телеграмму, и мы усе-
лись опять на свои прежние места в вагоне. Проговорили около
часа (между прочим о латыни и экспериментальной психологии),
мы легли опять, но скоро стало рассветать, и я опять встал пер-
вый, чтобы пойти умыться. В Лисках я пил кофе и ел бутерброды.
После же Лисок настал тот день, о котором я буду долго по-
мнить. Собственно, внешняя сторона здесь была меньше всего
богата какими-нибудь выдающимися особенностями. Так, разго-
вор наш касался большею частью таких прозаических тем, как
решение алгебраических и арифметических задач. Я дал Доре
задачу: «Нам обоим 63 года. Сколько лет каждому из нас, если
вам было в два раза меньше, чем мне теперь тогда, когда мне
было столько, сколько вам теперь?» Она решила эту задачу толь-
ко с моей помощью, но и я не решил предложенной ею задачи:
«Две торговки имеют по 30 яблок и продают их: одна на 1 копей-
ку 3 шт., и другая — 2 шт., и значит выручают вместе 25 к. Одна
из них уходит и поручает другой продать яблоки. Оставшаяся
продает на 2 коп. 5 яблок, рассуждая так, что и она и ее подруга
продают на $(1 + 1)$ коп. $(2 + 3)$ яблока. Но, чтобы продать 60
ябл., считая по 2 к. за 5 шт., она выручает 24 коп. Куда девается
копейка?» Давал я решать ей и некоторые шарады: на «якорь»,
«картина», «поза», «Азия», «мор» — «ром» и пр. До самого ве-
чера разговор наш не представлял ничего особенного. Просто я
был очень рад, что попалась девушка, которая без всякого нехо-
рошего чувства вела со мной разговор и в которой я видел ласко-
вую душу. Не буду говорить того, что Дора и в действительности
всегда сердечный и ласковый человек: я этого не знаю. Но что по
отношению ко мне она была в течение этих 35 часов очень ласко-
ва и приветлива, что в разговоре со мной она обнаружила боль-
шую начитанность и изящный вкус в литературе и музыке, то это
факт, против которого я спорить не могу. Дело подходило уже к
нашему расставанию. — «Могу я задать вам один вопрос? — об-
ратился я, наконец, после долгих колебаний. — Пожалуйста.
Какой? — Как ваша фамилия? — Лурье. — Вы кто по проис-
хождению? — Еврейка. — А Ваше имя и отчество? — Тут она
произнесла два слова, которые трудно запоминаются русским
ухом, и я запомнил только одно: «Можете просто называть До-
рой. — Вот таким образом я узнал, кто такая моя знакомая —
Дора Лурье. — А Ваша фамилия? — обратилась она ко мне. — Да
зачем Вам знать? — А! Это другое дело. — И Дора моя сразу
переменилась. Сразу из веселой обратилась в грустную, замолча-
ла, и нужно было быть слепым, чтобы не заметить перемены в
настроении моей спутницы. Подъезжая к Каменской, я спросил:
— Отчего Вы такая грустная? — Так.. Вы виноваты. — Я притво-
рился удивленным, но потом одна фраза Доры, как будто случай-

но пророненная, объяснила мне все. Именно, она сказала: «Я вас никогда не забуду». Я начал опять развязывать свои уложенные вещи, достал Фламарионовскую «Uranie»² на фр. яз., которую так хвалил ей, вложил в нее свою визитную карточку, и решил подарить все это Доре на память. Ее отказ меня поразил. Я настаивал. Она еще сильнее отказывалась. «Чем вы рискуете?» — спросил я. «Разве я боюсь риска какого-нибудь?» «Ну, а чего же вы боитесь». — А разве только боязнь и может мне препятствовать взять вашу книгу? — Тогда отчего же вы не хотите ее взять. — Не хочу. Что-то говорит во мне, что не надо. — Право, возьмите. — Нет! Я вас и так никогда не забуду, а вы — если будете вспоминать меня, то вспомните и без Фламариона, без подарка мне книги.

Наш разговор так ничем и не кончился. Но, прощаясь, Дора стала еще грустней. Заметивши замедление поезда, я простался. И вот с этих-то пор, когда я заметил, что девушка хочет меня, что в ней есть какое-то хорошее чувство ко мне, я стал грустить о Доре, стал скучать по ней, стал замечать ее отсутствие! И присхавши уже домой, я никак не могу забыть этого милого образа Доры и не могу заглушить в себе чувства потребности новых приливов этой простой, но изящной, ласковой и мягкой расположенности доброй души к моему одиночеству.

Женщина у меня — это женщина в абстракции. Как идеал, как драгоценная ноша, как незапятнанный храм Красоты — сияет во мне всякая женщина, в добрых чувствах и в уме которой я убедился.

Дора — новая женщина, производшая на меня впечатление. Давно я уже не испытывал настоящей тоски по хорошей девушке. Конец июня, проведенный мною на Кавказе, дал мне Веру З. Декабрь этого же года дал мне Дору Лурье.

Одухотворенные образы Веры Фр., Ольги Поздн., Веры Зн., Анны Коч.³ и Доры Лурье — как жить без вас. Не будь вас, были бы я таким жизнерадостным, как теперь? Разве бы не засушил я свое сердце наукой и разве сохранил бы свой идеализм в такой полной мере.

Нет! Женщина дана мужчине для счастья. Цель всей жизни, цель всего мира — постигновение счастья. К этому ведет много путей. Но идеальные сношения мужчины с женщиной, лишенные корыстной основы — это и для мужчины и для женщины один из вернейших путей к счастью.

От всей души, ото всего своего сердца желаю вам, Дора, счастья и радости любви.

За вас мои молитвы, за вас мои самые высокие порывы моего существа. Женщины были для меня ангелами хранителями. Мечта моя, мой идеал, моя милая Дора, молитвами за вас и думами о

вашей ласке и вашей доброй душе буду очищаться от грехов перед Богом.

Будьте всегда мне таким ангелом хранителем!

А. Лосев

Ужас бесконечности

Как только мы начинаем ставить вопросы, выходящие за пределы нашего земного существования, нас осеняет тот бесконечный свод лазоревого неба, до которого сколько ни поднимайся, никогда его не достанешь. Безоблачная высь, открывающаяся нашему духовному взору, полна таинственных, едва слышимых, но бесконечных по количеству и разнообразию звуков, сплетающихся в причудливые фигуры, не знаемые никем, никем не разгаданные. И стоит у этого моря тайн существо, которому кто-то дал название человека, стоит с лицом, изрытым от мучений в поисках за разгадкой этих воздушных образов, наполняющих бесконечность.

Москва. 4 марта 1912 г.

Сегодня первый весенний день. Для меня это не только весенний день, это день той тихой и просветленной радости, которой только и живет моя душа. Целый день, с самого утра и вот до 6 часов веч., когда я начал писать эти строки, солнышко светит с безоблачного неба так ласково, как уже давно оно не светило для меня. На небе нет ни одной тучки, в воздухе улыбается весна, сейчас вот настоящий весенний закат... Нет, это редкий день, такой день не скоро будет. Сейчас у меня открыта форточка, весенний воздух радостно вливается в мою одинокую комнату. Как радостно смотреть на Божий мир! Нет, я не могу надышаться этим ароматом, не могу оторваться от этого свежего поцелуя весны. Пишу карандашом, потому что сижу на книгах, которые лежат на подоконнике, сижу ближе к весне, к свету. Как не молиться Создателю, как можно не верить в его чудодейственную силу, если при одном дыхании весны перед моими духовными и телесными очами возникает такая красота, такое великолепие. — Сегодня был в университетской церкви. Целый рой светлых, дорогих для меня воспоминаний возникло в моей душе еще вчера, когда я был в той же церкви во всеобщей. Какое-то странное сходство между церковью в университете и гимназической церковью¹, которую я горячо любил и по которой скучаю теперь до слез. На самом деле сходство то, что как та, так и другая — домовые церкви. Но какой теплотой веет только от одной мысли, что вот в такой же точно церкви ты рассказывал Богу свою жизнь 8 лет подряд, что вот здесь не хватает только твоего батюшки да

директора, чтобы была родная, ничем не заменимая гимназическая церковь. Милая гимназия, милые воспоминания, милый весенний день! Дай, Всевышний, побольше таких дней, чтобы стать ближе к твоей нетленной красоте!

Светлое Христово Воскресение.

25 марта 1912 года¹.

Человек живет радостью. Только то, что радует его, дает ему утешение, и только для этого он трудится и страдает. Сегодня у меня радость Светлого праздника воскресшего Спасителя, и для нее стоило год трудиться, чтобы пережить ее в течение одного дня. Бывают всякие радости, но величайшая из них та, которую создает сама для себя каждая душа отдельно, которая вытекает из чувства исполненного долга, рождается от внутреннего духовного подвига. Больше этой радости нет. Для христианина, который молился Великий пост о своих грехах, который пережил в своей душе в Страстную неделю хоть небольшую часть из воспоминаемых церковью событий, тот узнает на пасхальной заутрене, что истинная радость человека — это радость об исполненном нравственном долге, о том, что ты сам завоеватель своего счастья. После чтения поэтического произведения, после уяснения себе известных научных дисциплин вы тоже испытываете удовлетворение, и это удовлетворение иногда кажется даже самодовлеющим. Но вдумайтесь глубже! Вы увидите, что ни искусство, ни наука не есть еще условие достаточное для счастья. Правда, эта деятельность человеческого духа необходима нам, но она не достаточна. Религия есть синтез всего человеческого знания. Она же — синтез и тех источников, которые дают нам счастье.

Сегодня я переживал редкое настроение на заутрене. Чувство всего, что только свято для меня, наполняло мою душу. Ведь вот возьмем науку. Она не выходит за свои пределы, сколько бы вы ее ни изучали. Она может захватить вас, но у вас будут чувства только к определенной части действительности. Для того же, чтобы все ваши чувства хорошего, светлого и святого для вас слились в один гимн красоте, в одно настроение, окрыляющее ваш дух бессмертной силой, нужна вера в красоту, вера в возможность этого настроения, т. е. нужна религия. Сомневайтесь сколько хотите, но вы веруйте. Пусть ум ваш занят философскими вопросами о мире, Боге, человеке, но не трогайте вашей души, не трогайте вашей религии. Сегодня я узнал, что такое совмещение веры сердца и искания разумом истины — возможно².

Пятница, 13 апреля 1912 г.

«Хорошо там, где и тепло, и светло». — вот слова, которые я сегодня вынул за столом у Попова¹. Конечно, если не идти

дальше буквального смысла этих слов, то едва ли можно что из них вывести особенного. Но у нас разумелось другое, и мы друг друга понимали. Вообще мне иногда приятно отметить факт в характере и мировоззрении этого человека некоторые черты, представляющие с моей точки зрения большую ценность. Иллюстрацией этих фактов может служить след. Слыша бранные слова за столом от наших милых «товарищей» — он возмущается. Увидев одну девушку, по всей вероятности до некоторой степени оказавшей на него впечатление, он хочет — не знаю ради чего — но, наверное, хочет «избавиться» (как он любит выражаться) от Т. Д. З., которая, очевидно, уже давно «сидит у него в голове». Другими словами, он почему-то не может питать симпатию к двум женщинам одновременно. Что бы мне ни говорили, но это хороший признак. Он меня очень обрадовал, когда сказал о своем желании «освободиться от З.». Правда, он, бедный, думает, что это так легко освободиться после такого долгого времени «плена», к которому он, безусловно, уже привык. Но легко или нет, повторяю, это мне понравилось. Часто он меня огорошивает своим упрямым нежеланием вдуматься в свое настоящее состояние, своим практицизмом, своей холодностью к истине, к добру. Но все-таки мне кажется, что это у него только по виду так, что он просто хочет противоречить мне, конечно, не с злою целью — сохрани меня Бог от этих мыслей, — но просто с целью посмеяться и побалагурить. В некоторой склонности к юмору и веселых чертах в характере ему отказать нельзя. Надеюсь, что жизнь заставит когда-нибудь его и на словах подтвердить то, что без сомнения содержится уже у него в убеждении и что уже начинает проявляться на деле.

13/IV.12.

Маршрут экскурсии на Урал 1912 г.

- 9 июня из Новочеркаска в 1 час 10 м. для почт. № 3.
10 июня прибытие в Царицын 8 ч. 11 м. утра
отбытие на пароходе по Волге в 12 ч. 15 м. дня
11 июня в Саратове 7-9 ч. веч.
13 июня в Самару в 5 час. утра.
Из Самары в 10 1/2 ч. веч. на Уфу пассаж. поезд
№ 10.
14 июня в Уфу в 2 ч. 39 м. дня
15 из Уфы в 6 ч. 45 м. утра.
в Златоуст в 5 ч. 23 м. веч.

- 16-17 В Златоусте. Осмотр Златоустовского завода и Ермоловской доменной печи
- 18-19 Экскурсия на Александровскую сопку и гору Таганай.
20. На озеро Тургояк 30-35 верст.
21. Отдых на берегу озера.
22. На станцию Миасс 20 верст. Ночлег.
23. Из Миасса по железной дороге в 3 ч. 17 м. утра в Челябинск в 5 ч. 50 м. утра.
Из Челябинска в 6 ч. 25 м. утра в Кыштым в 9 ч. 28 м. утра. Осмотр завода и Соймоновских медных рудников. Восхождение на гору Сугомах и осмотр Сугомахской пещеры.
24. Из Кыштыма в 9 ч. 28 м. утра.
25. В Екатеринбург в 2 ч. 42 м. дня. Остановка на 3 дня. Гранильная фабрика. Музей о-ва Естествознания. Прогулка к Каменным палаткам. Поездка на лошадях на Березовские рудники.
29. Из Екатеринбурга в 6 ч. 1 м. утра в Нижний Тагил в 10 ч. 6 м. вечера.
30. Из Н. Тагила в 10 ч. 21 м. утра в Гороблагодатскую в 11 ч. 40 м. утра.
- 1 июля Из Гороблагодатской в 12 ч. 4 м. утра в Пермь в 10 ч. 56 м. веч.
Остановка 2 дня.
- 3 июля Из Перми в 10 ч. утра.
- 4 — в Сарапуле в 8 ч. утра.
- 5 — в Богородск в 10 ч. утра.
Из Богородска в 5 ч. 30 м. дня.
- 6 июля В Самаре 1 ч. 30 м. дня.
Из Самары в 5 ч. 30 м. дня.
- 7 В Саратов в 5 ч. 30 м. веч. — до 8 ч. 30 м. веч.
- 8 В Царицыне в 5 ч. веч.
Из Царицына в 6 ч. веч.
- 9 в Лихую в 8 ч. 15 м. утра.
Из Лихой в 9 ч. 25 м. утра.
- 9 В Новочеркасск. 1 ч. 40 м. дня.

1912 Златоуст.

9 июня.

Прибытие в Лихую. Встреча с Зимовейским. «Везу коня в подарок сыну». Разговор с Колей об Улиткиной и обсуждение наших планов с последней на будущее. Обед. «Щи и отбивные». Квас. Прибытие наших из Новочеркаска. Последний вагон. Первые из встретившихся: Иван Вуколов,

Сегаль и Горчуков. Встреча с о. Василием. Несу корзину кругом всей станции. Поехали. Разговор с Протопоповым¹ о религии и молитве, о его посещении еп. Гермогена, о намерении участвовать в миссионерских спорах, о дальнейшем обучении. Разговор в комнате проводника с Денисенко об эстетике и ее значении в философии и в моей специальности. Спал хорошо.

10 июня.

Прибытие в Царицын в 8 ч. 11 м. утра. Два дрогаля. Идем на пристань. Большой собор. Пароход: «Петр Великий». Таскаем вещи на пароход. № 35. Денисенко, Властов², Фомин и я идем покупать хлеба и сухарей. Кондитерская Дерман. Приказчица. За колбасой в другой магазин. Назад на пароход. Трогаемся. Бесконечная гладь, ширина! Я хожу кругом парохода. На носу. Везде великолепно. Вечер. Наши пристроиваются к барышням. Гуляние. Батюшка загоняет.

с3 |

11 июня.

Едем, едем по Волге. Картины великолепные, хотя и однообразные. В 7 час. веч. приезжаем в Саратов. Все идут, я остаюсь сторожить вещи. Наши возвращаются и говорят, что ничего не видали в Саратове хорошего и что лучше было бы не ходить. «Чудная или чудная наша форма?» Батя читает циркуляр Кассо³ об усилении древних языков в гимназиях. Гуляю с батей и разговариваю об Университете. С Мироном об его учебнике. Батя и Мирон упражняются в остроумии. 4 человека ужинают в 1 классе. Батя сердится.

12 июня.

Едем, едем по этой ширине, по этой глубине... День почти такой же, как и предыдущий. «Соорудим», «соорганизуем», «сообразим», «пройдемся по яичнице», «соорганизуйте процессию за яйцами». В 12 час. ночи проезжаем Александровский мост. № 35 все также смотрит на меня, и дело все в том же положении. Ах, если бы любить и забыться в любви!

13 июня.

Утром в 7 час. в Самаре. Пока стоит пароход, мы едим свою яичницу, в столь необычных размерах приготовленную в предыдущий день, пьем чай, молоко и пр. Накладываем вещи на дрогаей, а сами идем на вокзал. Жара нестерпимая. Сдаем вещи на хранение. Лимонад с Пашинским. Опять идем на пристань и садимся на легкий пароход, чтобы ехать на Барбашину поляну. Опять по Волге, опять прохлада. Видим своего «Петра Великого». Через 40 мин. в Барбашинной поляне. Идем купаться. Поднимается «буря по Волге», которая заставляет меня не купаться, но которая других наших спутников вероятно еще более побуждает к этому. При переходе через одну

канаву один из экскурсантов наших падает в грязь. Наши купаются. Я, Фомин и нек. др. сидим на берегу и смотрим на наших. Толстый Протопопов забавляет всех своей тучностью. Ну и толстый же, черт его возьми! После купанья идем обедать. Обедаем. Первое хорошее. Второе — антрекот, как подошва. При первом же — музыка ударила в уши так, что только едва можно было сидеть на месте. Клюквенный квас с Денисенко. После обеда компания разбредается. Пока батя рассудил, куда и когда направляться из Барбашиной поляны... («бедный, бедный»... кричит сейчас Фомин во время моего занятия этим дневником), пока он это сделал, одна часть нашей братии оказалась на другой стороне Волги. Так как до ближайшего парохода, отправлявшегося в Самару, оставалось еще 1 1/2 часа, то батя с оставшимися нанимает лодки, чтобы ехать кататься. На первой лодке сидим: я, батя, Анисим, Гурбанов, Властов. Правим: я и Гурбанов все время, Анисим, Властов и батя поочередно. Доехали до того берега, потом назад. Это и заняло оставшиеся 1 1/2 часа, так что мы едва успели на пароходик. Приехавши в Самару, идем по направлению к памятнику Александра II. Здесь батя разволновался, как морская пучина, и стал изрыгать хулы и порицания на отсутствовавших учеников. Как! Разделяться? Не подчиняться общим правилам экскурсии? и пр. и пр. Пьем чай в какой-то гостинице и притом бесплатно. После чаю осматриваем музей Александра II. Небольшой, но очень содержательный музей. Особенно ясно в нем выражено преклонение русского народа перед «волей» 19 февраля 1961 года, как это заметно и во всей Самаре. При входе на лестницу музея — прикованный Прометей — картина. В вестибюле перед залами статуи и бюсты греческих богов и богинь. Первая зала почти исключительно посвящена Александру II и его эпохе. Во второй зале древние монеты времен <нрзб> и мн. другое. В третьей — картины. Здесь же расставлены стулья для предполагавшейся лекции В<нрзб>радова о сказителях северного края. В четвертой и следующей — коллекции и чучела животных, главным образом четвероногих млекопитающих. После музея идем дальше по Самаре и убеждаемся, что это недурной город, что в нем масса зданий, построенных в разнообразных стилях и вкусах. Идем в сад, там часть наших опять купается, часть бродит по саду. Я с Адальбертом разговариваю о циркуляре Кассо, о древних языках и их значении, о поведении учеников, об их взаимных отношениях с учителями, о положении учителя средней школы, о студенте Голубеве, о том, что его убили, об его отношениях к Цейгеру. Приходит батя и узнает о том, что некоторые ученики отсутствуют. Он злится еще больше. Идем на вокзал, так как было уже 8 час. веч. Сидим немного около памятника Александру II, потом приходим на вокзал. Во время ходьбы я разговари-

ваю с Горчуковым об ударениях в русском языке, о некоторых трудных предметах для словесников, о том, что Фролов¹ односторонне понимает Тэна⁵ и пр. В ожидании отхода поезда хожу по платформе и попадаю ногой в какую-то дрянь. Две девочки как-то рассмеялись, но я ничего им не ответил. Батя допускает одно «непастырское выражение» (слова Ивана Вуколова). Наконец трогаемся. Мне попалось хорошее место. У нас прекрасный вагон. Сплю хорошо.

Екатеринбург

о. Василий Антонович Чернявский, род. 2 августа 1882 года⁶.

14 июня.

Фу, спал! Хорошо, чорт возьми, спал. Едем в вагоне. Природа в окне, разговоры в вагоне — все это довольно однообразно. Приезжаем в Уфу в 2 ч. 39 м. дня. Вещи на дрогале, а сами поднимаемся на страшную гору, чтобы попасть в город, который расположен очень высоко. Первое впечатление очень неблагоприятное для Уфы: бревенчатые избы, одноэтажные здания, а если двухэтажные, то без определенной границы снаружи между двумя этажами. Впечатление такое, как будто был здесь пожар, уничтоживший все до тла, и на старом месте были возведены новые постройки, уже деревянные и без малейшей доли эстетических побуждений. Свернувши несколько раз, мы попали на главную улицу. Эта улица оказалась довольно хорошей, на ней большие здания, иногда довольно оригинальные. Я, Горчуков и еще два-три ученика немного отстали от других, и нам пришлось пройти несколько раз одни и те же улицы, чтобы попасть в нужную нам мужскую казенную гимназию № 36. Попивши молока с пирожными, мы пошли кататься на лодках на р. Белой. Сели на лодки я, Горчуков, Анисим, Любинецкий. Прекраснейший вид. Заход солнца. Ох, этот заход солнца! Не могу быть равнодушным, созерцая эту неподдельную, эту чистую красоту, которую только создает природа для наших глаз. Получил редкое настроение. Отвезли Горчукова на ту сторону р. Белой, он там купался. Вернулись уже поздно в свою гимназию. Потом пошли ужинать и обедать вместе в какую-то школу домоводства, начальницей которой состоит жена директора уфимской мужской гимназии, где мы остановились. Накормили хорошо. С квасом. Оттуда пришли спать. Прошлись по стаканчику чаю. На кроватях, на матрацах.

15 июня.

«С добрым утром, господа! С добрым утром, господа!» — как веником по ушам бил батюшка в 6 час. утра. Мирон что-то сострил и перевернулся на другой бок. Однако батя энергично принялся за бужение, и через полчаса достиг своего. Наша команда подъялась и стала проходиться по

чаю и пр. На вокзал. Садимся в поезд. В ожидании поезда пишу письмо Улиткиной, сидя на вещах, на платформе. Трогаемся. Опять наш вагон. Открываются чудные виды. Нечто вроде ущелья. Сразу вспомнился Дарьял, вспомнилась Красная поляна. Дорога от Уфы к Златоусту — одна из самых лучших во всем моем настоящем путешествии. В Златоуст приезжаем в 5 час. вечера. Вещи на дроги. Батя с Пашинским едут в город на извозчике. До города 5 верст. Остальная компания двигается в город пешком лесом. Пугают Адальберта. Муравьиные кучи. Находим свое четырехклассное училище и располагаемся. Идем обедать (и ужинать в то же время) в клуб Общественного Собрания. Там ждем этого, чорт бы его побрал — обеда до часу ночи. Батя и Мирон попереругались. Мы злимся. Наконец идем домой и ложимся спать. Холод чертовский. А мы с открытым окном. Скверный, наверно, этот город Златоуст.

16 июня.

Вставши, идем осматривать арсенал, где прежде всего нам показывают комнату с чугунными изделиями. Батя покупает царей директору. Осматриваем арсенал. Целые памятники построены в этом арсенале из клинков и пр. частей холодного оружия. После арсенала осматриваем завод. Впечатление тяжелое. В одном отделении от страшного по своей нечистоте воздуха у меня закружилась голова, и я вообще очень плохо стал себя чувствовать. После завода мы пошли к Ермоловской доменной печи, от города версты 3, где смотрели, как выливалась огненная расплавленная масса чугуна. Оттуда насили дошли до Общественного Собрания, где у нас был обед. После обеда я совсем почувствовал себя плохо и лег в постель. Толстый Протопопов дал мне аспирину, слабительного, измерил температуру. Я пролежал до 10 час. вечера. Потом пил чай. Опять лег. На следующий день наши собирались идти на гору Таганай. По болезни я не мог участвовать в этом путешествии.

17 июня.

В 4 часа утра поднялась наша команда. Как полк солдат, пронеслась эта неугомонная туча таганаевцев. Спросивши у Цейгера, который час и узнавши, когда будем пить чай, я опять заснул до 8 час. Остались дома кроме меня: Цейгер и Федоров. После чаю сел писать дневник. Потом мы трое поднимались на ближайшую сопку. Мне гораздо лучше. Почти выздоровел. Нас немного захватил дождь. Обедаем, прождавши часа два. Приходят некоторые наши из Таганая и рассказывают целые ужасы. Их захватил дождь, дорога невозможная. Нужно было подниматься по камням выше человека величиною. Слава Богу, что я заболел и не пошел с нашими! Обед. Домой. Наши все

ложатся спать с 6-7 час. веч. Все промокли и продрогли. Ну, ложусь и я спать.

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Антонов | 25. Сегаль |
| Федоров | Марченко |
| Денисенко | Босов |
| Властов | Верескунов |
| 5. Фомин | Сулин |
| Протопопов | 30. |
| Пащинский | |
| Попов мл. | 31. Чернявский |
| Попов ст. | 32. Гэрчуков |
| 10. Вуколов Ив. | 33. Цейгер |
| Вуколов Митр. | 34. Лосев |
| Гаврютенко | |
| Любинецкий | |
| Мамонов | |
| 15. Ермоленко | |
| Кокин | |
| Воробьев | |
| Ункулов | |
| Жидков | |
| 20. Крассовский | |
| Муравьев | |
| Сладков | |
| Ерофалов | |
| Золотарев | |

Пермь (29 июня 1912)

18 июня.

Часов в 9 утра едем до станции Уржумки, а от туда пешком на Александровскую сопку. Проходим через станцию беспроводного телеграфа. На сопку, по камням выше человека. После больших усилий мы на вершине сопки. Мирон Афиногенович.

Что такое философия?

1. Первобытное научно-философско-религиозное знание.
2. Два акта всемирной эпопеи происхождения философии — выделение и обособление.
3. Вот она — многострадальная, много вытерпевшая, вот она — этот синтез наших вздыханий к горнему царству истины.

4. Наука — она пошла своим путем. Она отмежевала себе небольшую часть действительности, она выработала свои методы, познала свои задачи. У себя дома — она хозяйка, и всемогущество философии или религии было бы равносильно приостановке ее дальнейшего развития.

5. Религия.

6. Искусства.

7. Философия.

8. Итак, вот 1) Наука, 2) Религия, 3) Искусство, 4) Философия, 5) нравственная жизнь. Все это обособлено. Но все это так только в пределах нашей обыденной повседневной жизни. Сказать о различии искусства и нравств. жизни, науки и философии, науки и религии. Если хотите сохранить эту абс. разницу всех этих стихий чело. духа, то не ставьте вопросов, выходящих за пределы нашего здешнего опыта. А раз поставите, то вы должны будете признать Высший синтез в качестве настоящего ведения и абсолютного счастья.

9. И вот получается новая философия, с новыми задачами и новыми методами. Но философия — дитя времени. Это — дитя вечности.

10. Она — единая царица всех наук, религий, искусств. И потому эта философия есть жизнь. Она — единый верный служитель и раб всех наук, религий, искусств. И потому жизнь есть философия.

11. Есть единое знание, единый нераздельный дух человеческий. Ему служите! Есть жизнь, которую каждый ощущает не раз на своем веку, есть это касание мирам иным. Вот эта-то жизнь и есть философия.

12. Вы хотите быть философом? Для этого надо быть человеком. В злохудожну душу не войдет премудрость. Изучайте все эти схемы, рубрики, таблицы, деления, которые составляются для начинающих изучать философию. Но если вы любите философию ради ней самой, то вы увидите всю тщету этих рубрик и схем и перед вами блеснет луч, на который надо только глянуть, чтобы познать.

13. Пусть светлые умы и святые сердца двигают вперед философию. Пусть они живут сладостью восприятия откровений свыше. Мы же, непосвященные, мы будем постепенно осознать в себе то, что им явилось мгновенно, и будем внимательней прислушиваться к их вдохновенным речам. Вы — соль земли. Идите вы вперед, мы за вами, мы вас слушаем. Они говорят, а мы, упоенные симфонией откровения. будем вдыхать бальзам упоительного молчания.

На Каме
(на пароходе)

30 июня 1912.

Моя милая, моя незабвенная Верочка!¹ Сегодня видал тебя во сне. Ты была такая бедная, такая жалкая, что я вот уже проснувшись и сидя за столом в зале II класса парохода, не могу отделаться от этого странного образа, когда-то процветавшей красоты. Ты так подурнела, так изменилась, и от прежней Верочки только ее прежняя доброта, ее нежная ласка, согревшая меня ровно год назад. Когда мы остались вдвоем (во сне), ты печально, но сильно поцеловала меня. И слышалась в этом поцелуе лебединая песнь твоей божественной красоты. Так вот вянет младость и красота, но здесь еще больше убеждаешься в бессмертии красоты небесной. Земная красота — прах, она — мимолетное видение красоты надзвездной. Вот эта-то надзвездная красота и бессмертна. Бессмертны мы с тобою, дружок. И там, там, на далекой Веге и светлом Сириусе² будет наша с тобою жизнь, нетленная, неизменная.

Дочь заходящего солнца. Звезды. Небо. Озеро. Бесконечная гладь моря.

На Каме. 1-2 июля 1912.

Он сидел на берегу одного из красивых горных уральских озер. Был вечер теплого июльского дня. Золотое солнце мирно парило недалеко от горизонта, бросая красноватые лучи на его бледное лицо. В воздухе чувствовалась горная прохлада, навеваемая холодными устами свинцового озера и глядевших в него небес. С противоположного берега озера мрачно смотрели невысокие синие горы, подернутые дымкой сумеречной грусти и казавшиеся еще более суровыми, таясь под багровым диском заходящего светила. Было тихо. Мрачно-открытые глаза сидевшего безучастно скользили по матовому стеклу водной глади. Его вид внушал гнетущую тоску одиночества, как будто вот сам тоже живешь один на этом крутящемся шаре, который мчит тебя к неведомой цели, живешь среди дикого леса, в безнадежной тьме. Надо было иметь проницательный ум, чтобы увидеть под этой сумеречной наружностью жаркий огонь выстраданного чувства веры в далекий надзвездный мир, где стирается уже грань человеческого и божественного и где есть единое царство антропотизма.

Ἄνθρωπος καὶ θεός¹... — прошептал он и, закрывши глаза, погрузился в созерцание этой великой антитезы. — До тех пор, пока

человек не станет Богом, а Бог человеком, не будет всеобщего счастья на земле. Но Бог ведь прежде всего есть бесконечность. Значит, человек и Бог будут бесконечно стремиться к соединению? Значит счастье от нас бесконечно далеко или, что то же, его вовсе не будет?»

Он был астрономом, и его ум привык к нахождению малейших математических неточностей. — Перенести бы математику в эту темную область догадок и предположений — подумал он тотчас же.

Жизнь в философии и философия в жизни¹

1. 13 тезисов из заметок: «Что такое философия?»
2. Философия — это наше отношение к миру. Эстетизм и морализм.
3. Философия — дочь заходящего солнца.
4. Настоящая тайна — в видимом, осязаемом, слышимом. И только незримое, неслышимое — то есть разгадка бытия.
5. К истине, к истине? Но истины нет, да она нам и не нужна. Обладание истиной есть смерть.
6. Движение и сила. Движение к красоте и сила любви к красоте.

*Воскресенье. 9 сентября.
1912 года.*

Сегодня был у дяди Евдокима Петровича¹. Не хотелось к нему итти. Отчасти потому, что была очень хорошая погода и я должен был бы воспользоваться ею, чтобы поехать куда-нибудь за город, главным же образом потому, что нужно заниматься, так как экзамены уже не за горой. Чуть-чуть было не отправился с Поповым за город. Но пришедши к дяде и проведя у него время с 1 часу дня до 6 час. вечера, я получил такое настроение, что хочется записать этот день для воспоминания. Когда я пришел туда, у дяди были какие-то важные гости. А дети еще при мне собирались итти в синематограф вместе с своей фрейлейн смотреть картины из войны 1812 года. Оставшись один с теткой, я дождался прихода детей, и тут-то случилось то, что я хочу занести сюда на память. Две маленькие девочки Оля (лет 6) и Уля (лет 8) стали со мной играть, стараясь вырвать у меня из рук записную книжку или разжать мой кулак. Звонкий детский смех, беззаботная веселость, чистые, ничем не затронутые души — все это произвело на меня, одинокого, сильное впечатление. Как невинно дышат эти детские уста, как эти души не знают еще нашей ужасной жизни, этой грубой реальности, пачкающей снежную белизну детской

души и разрушающей наше единственное счастье — чистоту и мудрость нравственной жизни. Вот они эти светлые глазки смотрят на меня, ничего не боясь скрыть и ничего не стараясь разузнать, милые, невинные, не знающие всех пятен и изъянов человеческой жизни. Старшая Люся 16-ти лет, в 6 классе гимназии тоже еще деточка, тоже ничем не запятнанная веселая светлая душа, доверчивая, протягивающая руку самому закоснелому преступнику и могущая назвать своего врага дяденькой. Вот вся она перед тобою, как на ладони, всю ты ее видишь насквозь, — и тепло становится на душе, радостно от общения с этой прозрачной, смеющейся и бесконечно-доброй душой. Ах, если бы очиститься от всякой скверны в созерцании этой невинности и красоты и — забыть на этом девственном лоне вечной свежести и неприкосновенности. Да, поистине, «если не будете детьми, не войдете в Царство Небесное». Как я желал бы, чтобы эта невинность и красота осталась нетронутой и такой же ароматной, как сейчас. Господи, помоги Оле, Уле и Люсе!

*Воскресенье, 16 сентября
1912 года.*

Сегодня был с Манохиным¹ в Петровско-Разумовском. Воздух был так чист и свеж, солнце так ярко светило в мою душу, что я невольно вспомнил день 4-го марта этого года. Приблизительно то же настроение, что и тогда. Только тогда начиналась радость весны. А сейчас кончается. Быть может, это и последний такой день в этом году. Меня сегодня мало волновали воспоминания, но настроение было именно то и радостное и грустное, о котором я говорил летом Улиткиной. Мы много говорили с Санькой о том будущем, которое нас ожидает, о подруге жизни, о браке, об идеалах любви. Я говорил о том, что едва ли мне придется когда-нибудь иметь настоящую подругу, он меня разубеждал. Этот разговор еще больше растревожил мои чувства, и вот сейчас забилось сердце так, как тогда, в незабвенный день 4 марта. — Хочется опять весны, опять жажду ее радостного поцелуя.

Четверг, 11 октября 1912.

Вчера был на «Снегурочке»¹. Господи! Нет слов изобразить тут хоть часть того, что я пережил. Нет, не буду... Так хорошо, так хорошо...

Вера Лю ... Нет это не Лю, это моя миленькая, моя дорогая девочка...

Вчера Попов сказал, что «Принцесса Греза»² ему понравилась... Господи! Я не достоин всех этих радостей... Скорей бы весна!

Воскресенье, 28 октября 1912.

Был два раза на концерте: у Кусевицкого и у Шора, Крейна, Эрлиха¹. На последнем видел одну девушку, утешившую меня за такое долгое время. Похожа на Алексееву.

(№ 39)².

Среда, 1 ноября 1912.

Сегодня весенний день. Весенний закат солнца и весенний дождь.

Попов пришел было, чтобы прогуляться со мной и повздыхать о весне, но у меня был урок по-гречески¹.

«Искусство и нравственность» Волконского²

1. Не «нравственность в искусстве», а «нравственность искусства».
2. «Все прошлое принадлежит настоящему». (Уничтожение перспективы времени).
3. Освобождение эстетических вопросов от метафизики.
4. (Практическая совместимость эстетичности и безнравственности).
5. «Таким образом, мы вывели следующие отличительные черты, которыми эстетические страдания отличаются от реальных: их бескорыстие — потому что они не вызываются соображениями пользы; их бесплодность — потому что они не переходят в действие; их беспредметность, потому что они направлены на вымысел; их безболезненность — потому что они не уязвляют, но доставляют наслаждение.
6. Эстетически вызываемые страсти и реальные — результат общего аппарата жизненных страстей. Различно лишь отношение нашего сознания и результат этих страстей.
7. «Эстетическое чувство есть результат наклонностей, несвязанных с чувством самосохранения.
8. Не красота спасет мир, а добро³.

Основные тезисы теории познания¹

1. Мы можем относительно каждой вещи 1) сомнев., 2) признавать, что она существует.
2. De omnibus dubitandum².
3. Dubito ergo cogito. Cogito ergo sum³.

4. Я — есмь. Больше пока я ничего не знаю. Не знаю ни о Боге, ни о мире, ни об их бытии, ни об их свойствах. Я знаю лишь свои переживания. Значит, чтобы познать больше, я должен обратиться к познанию самого себя, к анализу фактов моего сознания.

2.1. Нам надо решить, что существует, а что нет. Предикат бытия остается одной формой; мы не можем дать материального определения бытия. Что значит существовать, что значит **быть**? Ведь если кто-нибудь скажет: предмет а так есть, что его нет — что вы на это ответите? Итак, определение «бытия» не входит в задачу философии, ибо это загадка, которая не поддается никаким усилиям нашего ума, или лучше сказать: ибо это слишком известно нам, чтобы в нем разбираться. Мы знаем, что бытие и небытие — противоположности, и мы наверно очень хорошо знаем, какая между ними разница. Но логическому определению это не поддается.

(против посл. абзаца на полях) Бытие — самая общая категория, и потому нельзя подыскать ближайшего рода, т. е. определить понятие «бытие». Но даже если бы и определили через высший род, то что такое этот высший род. Так нужно идти ad infinitum⁴. Ясно, что это превышает границы человеческого разума.

5. Анализируем процессы и факты нашего сознания. S есть P, N есть Q и т. д. В одних суждениях речь идет о том мире, кот. мы считаем за наше «я», и о внешнем мире.

«Я» и всё, что в нем совершается, мысли, чувства и т. д. существует. (§ 3). Что, значит, надо для того, чтобы признать данную вещь существующей? Найдя эти признаки существования, мы можем поискать их и в суждениях о внешнем мире. Если мы их найдем, то значит этот мир существует.

Воскресенье, 18 ноября 1912.

Сегодня был у дяди. Видал кузин и еще Шуру — фамилию не знаю. Гадали. Пророчили с кем-то увидиться.

Что это я так много думаю о Люсе и ее сестрах? Что в ней для меня приятного?

Вот вопросы, на которые не сразу ответишь. Думаю, думаю...

Милая она, светлая душа, нетронутое сердце... Скучаю по ней — одно только могу сказать. А почему это скучаю?

Не знаю.

30 ноября 1912.

Милая Люся! Дорогая моя девочка! Ты не знаешь, что твоей души я хочу, что хочу дышать твоей чистой юной душой, расплыться в ней, забыться в ней. Ты мало меня понимаешь, — ведь

слова наши так определенны, так прозаичны. То, что я хочу тебе сказать, то, что чувствует моя душа, для этого нет слов, для этого надо молчать. Услышь мое молчание, ответь на него лаской. Мне только бы забыться в тебе и впитать твою благоухающую душу в себя; слиться с тобой хочу я, стать тобою, тебя сделать мною. Живая... вселяя... счастливая... невинная... О, будь благословенна твоя судьба!

6 декабря 1912.

Опять к тебе, сердечный друг. Пробыл я у тебя сегодня почти целый день и, хотя последние минуты ты улыбалась, ушел я что-то недоговоривши, чего-то не дослушавши. Голубчик Люся! Одно-го хочу — не считай меня за гордого, за «загадку», за человека, «много о себе думающего». Люблю я тебя, люблю, как истинный брат; сегодня ты весь день скучала, сидя со мной, а мне было так хорошо сидеть около тебя, смотреть в твои милые глазки, молчать. Не умею я, сестрица, быть веселым, не умею высказать тебе на словах при разговоре мои чувства, но верь, что я тебя благословляю в своей душе, что я чист в своих чувствах к тебе, что я скучаю по тебе, сидя за книгами. Молиться за тебя, всем существом желать тебе счастья, хорошего, красивого счастья — это мой истинный долг к тебе.

Перебираю в уме все свои прежние увлечения. Любил ли я? Был ли счастлив? Да, и любил, и был счастлив. Но моя любовь и мое счастье были только во мне, о них мало знали те девушки, которых я любил и которые давали мне счастье от этой любви. И любил и был счастлив я молча. Вот Дора — она и не знала, что для нее я мог пожертвовать целою жизнью. В тишине, в молчании шел я к вам, милые грезы, мои светлые образы счастья. И Люся вот не знает, что она для меня ангел-хранитель, что я каждый день молюсь за нее, что люблю ее, люблю как брат. Услышь меня, согрей меня! У тебя много ласки — дай мне погреться около ней, помоги в моем одиноком труде.

Нет, никогда не променяю вас, светлые грезы о счастье, на будничную жизнь моих несчастных собратий. Копшатся они где-то там далеко, внизу, не поднимают голову к небу, где сияет вечное солнце любви и истины. Жажду твоего братского поцелуя, жажду твоей души. Приди ко мне, приласкай меня!

14 декабря 1912.

Ну, вот опять стало радостно на душе. Поговорил с Люсей. Оказывается, она меня не забыла, и не только не забыла, но еще и в воскресенье к себе приглашает. Господи! Помогите Люсе!

О моральности истины¹.

Эмпирич. и психологич. точка зрения.

1. Единство душевных явлений. Психологический процесс и его превалирующие течения.

Значит, истина, как нечто действенное или хотя бы только сознаваемое, есть некое состояние сознания, т. е. нечто данное в психич. процессе. Отсюда вывод: истина не есть всегда только истина, т. е. продукт умственной деятельности, но всегда так или иначе связана с чувств. и волевой стороной. Но какого рода эта связь? Для этого надо определить понятие истины. Но, оставаясь на эмпирич. психол. точке зрения, мы определим только формальную ее часть, и даже не всю, а то, что нам здесь нужно.

2. Значит, всякое произведение человек. ума, все науки, искусство и пр. — все это теснейшим обр. связано со всем человеком, с его душой, а не с «способностями» (Галль)².

3. Разумеется, эта связь непостоянна и в различных произведениях человеческого творчества неодинакова. Как можно было бы определить ближе эти колебания связи?

4. Вот совершается акт творчества. Во всяком акте творчества происходит систематизация элементов, которые сами по себе сознаются им неясно, или неясно их взаимное отношение, или, наконец, вовсе они не сознаются. Чем большее количество элементов подлежит систематизации, тем она труднее. Чем она труднее, тем интенсивнее должен протекать психич. процесс, которому она является целью. Чем интенсивнее протекает психич. процесс, тем интенсивней потребность в скорейшем его разрешении. Чем больше мы хотим конца, т. е. этого разрешения, тем разрешение, т. е., в данном случае, систематизация, приносит большее удовлетворение, а неразрешение — большое неудовольствие. Возьмем теперь простейший путь научного творчества — констатирование явления и описание его. Здесь очень мало элементов, подлежащих систематизации, — переходя вышеданную грань «если — то», мы найдем, что констатирование и описание явления, т. е. известная часть естественных наук требует для своей разработки наименее интенсивных психич. процессов, а потому конечно и менее всего «связана» с эмоциональной и волевой сферой. Но слабость этой связи, конечно, есть только результат малой интенсивности самой собственно-умственной затраты энергии.

Гораздо больше связаны с личностью науки о духе, вследствие величайшей сложности изучаемых здесь процессов. Философия же, религия, искусство, вообще все, что призвано решать конечные проблемы знания и бытия, — здесь нет никаких ясных пределов

между собств.-умств. деятельностью и жизнью всей души, всего духа.

Т. обр. чем сложнее изучаемые факты, тем крепче они цепляются за всю душу, и тем несомненной связь между личностью и способн. познания, создания и пр.

3. Однако, здесь мы указали только на невозможность отсутствия переживаний, хотя бы и самых незначительных, которые сопутствуют всякое познание (возьмем пока одну науку), 1) **вызываясь непосредственно характером изучаемого**, 2) **вызываясь самим процессом изучения**. Так, сложность изучаемого является сильнейшим фактором связи данной науки с личностью. Но мы должны обратить внимание еще и на те переживания, которые вызываются не самим изучаемым, а только **по поводу** него, источник которого **сама личность**, независимо от характера изучаемого. Здесь мы сталкиваемся с целой бездной бессознательного и полусознательного, имеющей, несмотря на свою темноту, такой действительный характер, что ей иногда принадлежит решающее значение.

4. Психическая его природа. Бессознательное — пониженная степень сознательного.

5. Виды проявления бессознательного. Примеры его действительного значения для характера исследования.

В (3) зав. от сложности предмета. Зд. — от степени волевого самоопределения, от волевой самостоятельности человека (в т. ч. если и внешние условия имеют значение для проявления этих сил бессознательного, то ведь это значит, что наша воля этим внешним условиям повинуетея или не повинуетея).

1 мая 1913 г.

Нет, не могу и не хочу заниматься, хотя на днях целых 4 экзамена. Не могу, потому что в мыслях только Люся и мое отношение к ней; а не хочу, так как чувствую силу, влекущую меня запечатлеть мое сегодняшнее настроение на бумаге. Что такое Люся? Ребенок с умом взрослого; воплощение строгости с несомненной податливостью на общеженскую приманку; тон классной дамы и жгучая ласка любви... Сегодня она доставила мне уже давно небывалую радость: она попросила решить след. алгебраическую задачу:

$$y - \frac{3y + 5z}{17} + 17 = 5z + \frac{4y + 7}{3}$$

$$\frac{22 - 6z}{3} - \frac{5y - 7}{11} = \frac{y + 1}{6} - \frac{8z + 5}{18}$$

Милая задачка! Как я был рад угодить хоть чем-нибудь моей милой Люсе! И еще больше был рад тому, что она сама меня вспомнила, сама позвонила. Только вот не знаю, чему приписать такую ее строгость ко мне, такое равнодушие. Когда я решил задачу и позвонил ей, она сказала, что ей некогда, и велела позвонить в 7 час. веч. Звоню в 7 час., оказывается, нет дома. Звоню в 10 час. веч. — оказывается, уже никакое решение ей не нужно. К ней приходили другие... ей помогали другие... Да она и сама, мол, уже знает решение задачи; сейчас вот только решила...

Все это для одного бы раза ничего. Но все-то горе в том, что это целая система и ведется эта система целый год. Сегодня, кроме всего этого, было добавлено: «Я раскаялась, что позвонила вам. Этого вовсе не нужно было делать. Да я, впрочем, это по чужой инициативе и уж никак не по своей». Вот и рассуди. А я-то жду ее ласки, я-то думаю, что Люся меня любит. Эх-ма! Кто полюбит филолога, получающего за громадный труд ничтожное жалованье? Кто полюбит филолога, который целую жизнь то у других учится, то сам преподает какую-то науку о духе, какие-то гуманитарные науки? Разве не лучше сго инженер, врач, юрист, которые удовлетворяют наши насущные потребности, которые дают счастье видимое, осязаемое, а не какие-то занебесные идеалы, ни для кого не очевидные, ни для чего не приспособленные? Вот и Люся не хочет понять меня, хотя надо сказать, что моя практика отношений к ней в течение целого года, — это наталкивает меня на некоторые размышления, возвышающие Люсю. Уж прежде всего то, что она почти всегда в маске. Это, конечно, громадный недостаток, но он возвышает ее. Именно, здесь я убеждаюсь, что ее невнимательность к хорошим призывам и ее постоянная насмешка над идеалами есть именно только маска, надетая для того, чтобы помучить другого. Сегодня она сказала про меня Базилевичу¹, что она — «из рода мучителей» и что она меня часто «дразнит». Слава Богу, что так! Но хотелось бы мне, чтобы Люся узнала хоть часть того настроения, которое испытывал я, исполняя какую-либо ее просьбу или смотря в ее милые глазки. Люся, за что вы меня не понимаете? За что не приласкаете, не приголубите? Забыться бы в этой ласке, забыться бы на этом девственном лоне! Эх, думаешь-думаешь вот так, — и становишься пессимистом. Где же «она»? Вся жизнь, все молодые годы, вся наука, все стремления — неужели все это пройдет без подруги, без ласки, без того светлого счастья, к которому так стремится устающая душа? Один, один за книгой, один на улице, один в Университете, один в путешествии, один в церкви... И смеется надо мной Люся, смеется теперь над моей старой юностью, как через 20 лет будет смеяться над моей юной старостью... Неужели я так и уйду из мира, одинокий, осмеянный, с

какими-то идеалами, непризнанными, «нежизненными»? Религия? Ах, да, вы правы! Но ведь это же значит взять крест и идти за Спасителем, крест, который надо нести обливаясь кровью, надрывая последние силы и умертвляя тело. От этого я никогда не отказывался, но это-то и значит, что я — пессимист. По отношению к земле.

Да, без неба нельзя жить. Если нет того места, где Люся снимает свою маску, т. е. где любовь освобождается от тяготящих ее пут материи, — то значит нет ни Бога, создавшего нас для счастья, ни добра, суррогатами которого мы здесь питаемся. Господи, помоги моей вере в Тебя, вере в Люсю, вере в Любовь, ибо Ты есть Любовь, а Люся — путь к тебе!

Каменская. 1 июля 1913 года.

Светлый рай, обретающийся во взаимном соприкосновении душ; воздушные, колыхающиеся в весеннем закате образы вечного счастья и любви; красота знания и знание красоты — все это еще раз мелькнуло у меня вчера и третьего дня, когда я был на спектаклях «Измена»¹ (30 июня) и «Темный бор» (29-го) с Женей Воробьевой². Мелькнул чуть-чуть, мгновенно осветивши душу и воскресивши на миг мою любовь, мои мечты. Чуть-чуть? На миг? Эх, да. На этот раз девушка попалась такая скромная, такая робкая, что она была похожа больше на ребенка, которого вывели впервые в большое общество, который еще не привык к людям и который все прячется за юбку матери. Великая сила в скромности, и в ней много своеобразно-красивого. Красота скромности на половину есть красота молчания. А в молчании всегда есть нечто толкающее души на самораскрытие, на взаимное соприкосновение, что и есть самое счастливое счастье на земле. Здесь уже нет этой тяжести слов, нет этой громоздкости привязанных к ним, как к прокрустову ложу, понятий. Тут непосредственно душа может слиться с другой душой, а как велико наслаждение от единения двух личностей, это, господа, надо же понимать хоть при чтении поэтических произведений и вообще при созерцании перлов искусства. Вы смотрите на Венеру Милосскую или читаете «Антигону», или слушаете симфонию Бетховена, — ведь все же тут удовольствие заключается в том, что вы познаете душу художника, его мироощущение, его мирозерцание, ибо красота в искусстве есть всегда красота художнического понимания жизни. Вы молчите, вы едва даже дышите, а небесные лучи красоты так и льют от этого царственной, нездешней фигуры, от этой глубины жизнепонимания Софокла, от проникновенных, раскрывающих вселенную звуков Бетховена. Здесь красота, здесь соприкосновение личностей художника и созерцания, здесь, господа, молчание... Молчание, которое существенно для скромности, переносит

свои признаки и на эту последнюю. Вот какие мысли у меня по поводу двух вечеров, проведенных с Женей Воробьевой. Она скромна и молчалива. Она тиха, как тих вечерний воздух, сквозь который пробиваются к нам звездные лучи. Она тиха, как эти ясные звезды, молчаливо парящие в небесной глубине, и только своим кротким мерцанием напоминающие, что и в них есть жизнь, что и в них бьется бессмертная душа. Тихи звезды, но громко их молчание. Тиха и скромна ты, Женя, но всем существом я впитываю в себя весь гармоничный глас твоего молчания. Приди ко мне и помолчи со мной.

Завтра Женя уезжает, и вместе с ней уезжает от меня и предмет, так радовавший меня последние два вечера. Удивительно, как ее слова выражали те же мысли, к которым прихожу и я, как под влиянием теории, так и под влиянием практики жизни. Так, например, меня поразил серьезный тон этой 16-тилетней девочки, когда она говорила: «Уж если буду учиться дальше, то только ради чистой науки». Не удивительно ли? Или например: «Я очень люблю наблюдать людей. Это так интересно». И дальнейший разговор показал, что наблюдение это она понимает чуть ли не в смысле научно-психологического метода. Когда Калашников³ прервал наш серьезный разговор вопросом, обращенным к ней: «Не надоело ли Вам это?» — она сказала: «Ну, вот только завели человеческий разговор, а Вы говорите, что это надоело». И в голосе слышалось нечто вроде обиды. Удивительно скромная и умная девушка.

Андрей Зингеровский уверяет, что ей было приятно со мной и что она очень хотела возобновить со мной наше знакомство. Я что-то этому не верю, так как она была одинаково любезна со всеми, кроме Виноходова, который, действительно, был несносен. Вчера я попросил разрешения оставить у себя тот снимок (очень плохой и едва похожий на оригинал), который она мне показывала вчера же утром и который остался случайно у меня в книжке. Она разрешила, но с условием, чтобы и я дал свою фотографию. Я бы, конечно, дал, если бы и она прислала мне настоящую фотографию, а не такую плохую любительскую карточку, да еще не целую, а вырванную из большой. Она почти отказала. Тогда я сказал, что удерживаю этот ее клочок фотографии на том основании, что это совершенно ненужная ее пустяжная вещь, а мне — это для живости приятных воспоминаний. Она была настолько скромна, что ни сопротивлялась, ни согласия своего положительно не давала. Весь этот вечер мы промолчали. Было грустно, что этот метеор⁴ не предназначен для того, чтобы всегда освещать мой мир, что она улетает от меня, чтобы осветить другие миры, согреть другие потухающие солнца. Я так был поглощен этими мыслями, что даже не придал тогда никакого значения тому об-

стоятельству, что она, скромная, невинная, задумчивая, серьезная, пересела ближе ко мне в театре. Андрей уже потом мне сказал, что она интересовалась мною, что в вечер знакомства моего с нею она все время смотрела на меня в пэнснэ и что он заметил ее желание сесть ко мне ближе. Боже мой! Она хотела быть ближе ко мне. А какая скромность. Ведь ни одним взглядом, ни одним намеком не выразила она своих чувств, своей симпатии. Вот это действительно редкость. Не знаю, удастся ли когда-нибудь встретиться с ней так же. Милая, светлая девушка! Будь всегда такой.

1 июля 5 часов дня.

Алексей Федорович попросил меня написать в этой тетради впечатление, которое произвела Е.С.В. на меня. Что же я могу написать? Мне кажется, что Алексей Федорович достаточно ярко описал нашу новую знакомую Е. С. Воробьеву, так что мне незачем повторять одно и то же. Одно только я могу сказать и написать — это то, что очень жаль потерять новую знакомку, такую милую, приятную и умную собеседницу. Она уезжает во вторник утром. Чтобы понять, какую потерю мы несем с отъездом Жени, нужно с нею познакомиться и поговорить. Иначе невозможно. Для меня она — метеор, который мчался по небу, потом надо мной замедлил свою скорость, словно для того, чтобы я мог лучше рассмотреть его красоту, великолепие, а потом быстро умчаться вдаль. Для меня останется только одно воспоминание о великольном видении. И если в одну темную ночь посмотришь на небо и на то место, где показался метеор, то глубоко задумаешься, вспомнишь прошедшее; на душе станет или легче или тяжелей. Многое тогда бы отдал за то, только чтобы опять метеор мелькнул вдалеке маленькой бледной звездой но не возможно. Метеор мчится все далее и далее, освещая другие миры и там оставляет великольные виденья следы.

Григорий Григорьевич Калашников.

Очень рад, Гриша, что Вы понимаете эти хорошие, светлые чувства, без которых нельзя жить осмысленной жизнью и которые освещают наш трудный земной путь. От души желаю Вам счастья и дальнейшего прогресса в понимании и осмысливании жизни. Только введите в Ваше мировоззрение еще одну мысль; именно, что та красота, которая мелькнула нам в этом метеоре, требует от нас чистой души и чистых мыслей, которые достигаются подвигом. Имейте мужество признать, что красота и любовь есть подвиг в красоте, и Вы уже перестанете быть таким приверженцем практицизма, которым Вы нам всем показались. Красота и любовь есть подвиг — я уверен, что и Женя, если не пришла к этому выводу, то еще придет.

[Ответ Г. Г. Калашникова:]

Все то, что написано А. Ф. Л. в резолюции достойно вниманию и вниманию серьезному. Но прежде чем исполнить советы его, нужно выкинуть из себя все грязное, пошлое, которым я пропитался в борьбе за существование и тогда ... только заняться самим собою, чтобы, познав себя, можно было бы познать других.

Г. Калашников.

2 июля 1913 года.

Вчера вечером Зингеровский вызвал меня по телефону в сад. Я пошел погулять в надежде увидеть в последний раз Женю, хотя и сказал ей после «Измены», что вижусь с ней в последний раз. Тогда, проводя весь вечер в молчании с нею, я думал все время о непродолжительности этого метеора, который сверкнул всем, а не мне одному. И я знал, что есть и другие люди, хотя бы тот же Калашников, которые так же хотят погреться у этого огонька и которым, может быть, он еще нужнее. У меня-то есть наука, в Москве меня ждут целые непечатые углы науки и искусства, которые хотя и не дают полного счастья, но все же это счастье, а не то прозябание, которое по необходимости ведет тот же Андрей или Гриша. Все это и заставило меня внешним образом удалиться от Жени, не пойти, например, ее проводить на вокзал, не увидеться с ней вчера в течение целого дня, не послать ей нежного письма. Но ее душа со мной. Она — моя по-прежнему чистая, светлая греза, освещающая меня, помогающая мне. Помоги и ей, Господи!

3 июля 1913 года.

Итак, я осмелился послушать ее зова и написать письмо. Все мои «выводы из майских событий» гласят о необходимости осторожного отношения к мосту между небом и землею, строящемуся объективно. Но теперь возникает вопрос: не остановиться ли здесь, на Жене Воробьевой и не прекратить ли дальнейших поисков «моста»? Ведь мне нужно постоянное переживание любви и постоянные лучи красивого счастья, но если Женя все это даст?

Что она мне ответит? Что может ответить красота на гимн, который ей воспевается?

ПИСЬМА

А.Ф.Лосева к Вере Знаменеккой

Я человек одинокий. У меня никого, кроме матери¹, ничего, кроме науки. Мать воспитала меня трудолюбивым и самостоятельным человеком, и я теперь один, без всякой посторонней помощи тяну свою борозду на поприще ученой деятельности. Я горжусь своими знаниями, своей одинокой трудовой жизнью, но Вы, дорогая, не знаете, как трудна подобная жизнь, жизнь одним умом, без сердца, без любви. Я ко всякой благосклонной и хорошей девушке питаю симпатию, молчаливую, правда, и незаметную для постороннего глаза, но именно симпатию и симпатию от свободного и нетронутого сердца. Я молод, я знаю, что все мои излияния могут казаться сомнительными, и поэтому я оставляю при себе все то, что Вы во мне затронули. Хочу сказать только одно. Вы добрая девушка и потому у Вас огромное и сильное орудие в руках. Употребите же это орудие на доброе, не разбросьте своих молодых и горячих сил и сохраните их для исполнения своих великих обязанностей человека и гражданина. Со своей стороны я имею счастье поблагодарить Вас за те минуты, которые Вы подарили мне, одинокому человеку. Вы, конечно, скоро забудете того философа, который не умеет громко смеяться и говорить по-казачьи, но у меня Вы — гость непростой. У меня таких мало. Спасибо за ту милостыню, которую Вы подали моему сердцу, не знающему женской ласки и расположенности.

Весьма возможно, что мы не встретимся в течение целой жизни. Тем больше благодарю Вас за Ваши ласковые слова и желаю Вам от всей души счастья и жизненного благополучия.

Будьте, милая Верочка, счастливой и здоровой и дай Бог выполнить Вам назначение женщины.

Вспоминайте иногда эти скромные пожелания скромного человека.

Ваш А.

28 июня 1911.

Ст. Каменская. 14 июля
1911.

Уважаемая и дорогая
Вера Алексеевна!

Между нами, если Вы помните, не было окончательно решено, кто первый пришлет свою фотогр.<афическую> карточку¹. Так как Вам гораздо легче забыть обо мне, чем мне о Вас, то я и решаюсь первый препроводить к Вам свою фотографию, помня, конечно, Ваше честное слово переслать мне Вашу. Еще раз благодарю за теплое отношение, за ласковое слово, которое так редко в моей жизни. Не надеюсь на то, что у Вас будут находиться темы для нашей переписки, я от души шлю Вам последний привет и последнее прости, хотя у меня и нашлось бы, о чем писать. Мне-то не в первый уж раз скрывать в самом себе переживаемые чувства и находить утешение в своих научных и литературных занятиях. Простите меня, милая, если я здесь может быть вольно выражаюсь. Право, я от души скучал по Вас, когда смотрел на берегу с Адлера на удалявшийся пароход². Всего самого лучшего, самого прекрасного хочу для Вас, хочу Вам безоблачного и спокойного счастья; смею надеяться, что мои молитвы — кроме молитв, ничем не могу теперь помочь Вам — что мои молитвы о Вашем счастье будут услышаны нашим общим Отцем. Спасибо за все! Всегда помнящий о Вас

Алексей Лосев.

P.S.Если вы потеряли мой адрес, то вот он:

Ст.<анция> Каменская. Обл.<асть> В.<ойска> Донск.<о-го>

Коммерческая ул., 83.

Дом прот.<оиерея> Ст. Власова³.

P.P.S. Искренний привет Вашим родителям и старшей сестре.

Ст. Каменская¹.
<1911>

Милая, добрая Верочка!

Я несказанно рад Вашему доброму письму и бесценному для меня подарку — карточке. Да неужели же Вы не забыли меня? Неужели Вы еще помните то время, когда мы были вместе на пароходе? Господи Боже мой, да ведь это такая неожиданность —

Ваше письмо и Ваш снимок... Вы не можете понять, дорогая, как я рад, как я горячо благодарю судьбу, доставившую мне такую радость. Только Вы напрасно говорите, что Ваша карточка плоха. Что касается меня, то я именно в таком роде и хотел иметь от Вас фотографию, т. е. снимок с более или менее серьезным лицом, в котором бы имелось хоть настроение, если уж нельзя быть идее. Вы, пожалуйста, не смейтесь, если я Вам скажу следующее. Занимаясь древним искусством (на классицизм мне вообще всегда везло и везет), я изучал нек. греческие статуи. Со всех памятников древнего искусства, которые мне только возможно было изучать, наибольшее впечатление и наиболее яркое эстетическое чувство мне давали три греческие статуи: 1) Голова Феба (Аполлона Бельведерского), 2) Венера Милосская и 3) Артемиды-Диана². В них одно настроение: красота, познавшая всю юдоль земную и вознесшаяся над этой юдолью в созерцании вечной и неразрушимой всемирной гармонии. Некоторые черты этих трех античных статуй (не смейтесь, умоляю) я нахожу на присланной Вами фотографии. Я не хочу сказать, что Вы — богиня красоты, но я утверждаю, что фотограф вовремя схватил наивыгоднейшее выражение Вашего лица, столь переменчивого, насколько я мог узнать за то короткое время, в своих настроениях. — Вот мое мнение, если хотите знать.

Вопрос о моем дальнейшем образовании почти уже решен. Институт для русских в Лейпциге, куда я хотел поступить, откроется только в будущем году. Принимая же во внимание, что из этого Института мне все равно нужно было для специального изучения философии поступать в Лейпцигский Университет, а в Москве имеется прекрасная постановка философии, я решил подать в Московский Университет. Теперь жду ответа из У-та. Разумеется, своих мыслей о З. Европе я не оставляю. Рано или поздно, но я возьму все нужное для меня из Берлина, Лейпцига и Гейдельберга. К тому же директор нашей гимназии³, который сам предложил мне подать в Лейпциг, теперь прислал мне письмо, в котором советует не покидать хотя бы на первых порах нашей малокультурной родины. В Москву я выезжаю в конце августа.

Забастовок в высшей школе не бойтесь⁴. Профессора, принявши участие в забастовке нынешнего года, провалили ее окончательно, и провалили так, что теперь для всех учащихся и учащихся ясна вся бесполезность новых попыток. Я не думаю, чтобы при теперешней реакции согласился кто-нибудь пробивать стену своим лбом. Студентки медицинского института — доказательство. — Итак, Вы будете в Петербурге? А я в Москве? Знаете что? 605 верст — это не Бог знает какое расстояние; может быть и удастся нам увидеться. Если мы будем знать адреса, то, я думаю, каждый

из нас не сочтет за неприятный труд отыскать наши квартиры, если Вам придется быть в Москве как-нибудь, а мне — в Петербурге. Не навсегда же мы, в самом деле, расстались!

Немного готовлюсь вперед по университетским курсам. Читаю Достоевского, Платона; перечитываю романы Фламмарiona, этого первого моего воспитателя, моей первой любви в науке и философии. Прочел на немецком «Einleitung in die Philosophie» von Külpe⁵, на французском нек.<оторые> главы из «Cours complet de littérature moderne» par E. Mennechet (на русском нет), на греческом «Эдипа-царя» Софокла. Вот и все мои занятия. — Лето вообще всегда у меня проходило хорошо. Теперь вдали от ученого кабинета провожу время на берегу Донца⁶ или около какого-нибудь озера; озер, иногда очень живописных, у нас не мало верстах в 3 от Каменской. Здесь, на лоне природы, как-то больше чувствуешь себя и не так остро переносишь это одиночество, этот источник и трудов и наслаждений. — Батюшка наш оставался в Новочеркасске, да и теперь вероятно там, потому что уже скоро начнутся переэкзаменовки и экзамены. Когда я был в Новочеркасске, собирая нужные для У-та документы, то убедил Долинского и Луковского⁷ купить подарок о. Василию в благодарность за экскурсию. И вот мы трое, как бывшие ученики 8 параллельн. класса, купили ему за 15 р. подстаканник и вырезали на нем: «На память о Кавказе» со своими фамилиями. Юрию я напишу Ваше желание иметь карточку батюшки.

А пока, моя милая русалочка, до свидания. До нового, дорогого для меня письменного свидания! Знайте, что не все уважают Вас только потому, что Вы девушка, барышня, или потому, что Вы женщина. Есть люди, которые ценят Вас немножко по-другому, которые могут гордиться чистотой и бескорыстием своих желаний по отношению к Вам и которые, надеюсь, выше толпы почитателей со всеми ее... «чувствами», подленькими, узкими, бессодержательными.

Жду письма.

Ваш А. Л.

P.S. Если бы Вы знали, как это человек сидит ночью за книгой и отдаст за письменный стол все радости жизни, то Вы поняли бы то чувство, которое переживаю я, читая Вашу надпись на фотогр. карточке. Неужели это мне, отшельнику, пишет милая и добренькая девушка? Я не могу здесь выразить всего, но скажу, что Ваша карточка сохранится у меня до тех пор, пока холодеющие руки не устанут держать ее, а глаза не будут в состоянии смотреть на нее.

Спасибо, сердечное спасибо, добрая Верочка, Вечной Правдой воздастся Вам вдвое.

P.P.S. Делал то, что Вы говорили, с карточкой, т. е. закрывал левую часть лица бумажкой. Правда, Вы становитесь более похожей, но, по-моему, это происходит не от того, что все лицо целиком мало похоже на Вас, а потому что в этом случае получается впечатление, будто Вы выглядываете откуда-то из-за угла. Т. е. забавней как-то становится.

Еще раз прошу не смеяться над моим сравнением Вашего снимка с греч. статуями. Если бы я знал, что Вам не наскучу, я дал бы подробный анализ выражения Вашего лица и лица тех статуй. Вы бы тогда согласились со мной.

№ 2

*Москва.
1 сент. 1911.*

Милая Верочка!

Не писал Вам из Каменской, потому что на другой же день после получения Вашего письма я уезжал в Москву. Теперь, устроившись на новом месте, я спешу как можно скорее Вас захватить своим письмом в Новгороде. Поселился я в Студенческом общежитии¹, где хоть и плачу гораздо дороже, чем те студенты, которые живут у «хозяек», но зато и пользуюсь различными удобствами, вроде отдельной комнаты, прекрасного стола, прислуги и пр. Занятия начнутся не раньше 10 сентября, а до тех пор вот осматриваю город, а по вечерам сижу в своей одинокой комнате и пересматриваю фотографии и письма тех людей, которые дороги для меня и воспоминанием о которых живу. Скучно здесь одному среди чужих людей; и дома-то я жил как-то в стороне от других совершенно особою жизнью, а здесь и вовсе.

Сейчас вот смотрю на Вашу карточку и думаю о тех невидимых нитях, которые связывают людей, расположенных друг к другу. Что Вы для меня и что я для Вас? А вот не проживу дня, чтобы не вспомнить о Вас и не посмотреть на Вашу фотографию, которая, кстати сказать, вместе с Вашими письмами взята мною из дому.

Не беспокойтесь, что я не разберу Ваших писем. Я почти уже привык к Вашей руке за Ваши два письма и читаю почти без всякого труда.

Наблюдал и я соединение Сатурна с Марсом, и приблизительно на том же месте, где и Вы². Только когда я наблюдал (не 3-го, а 4 августа), расстояние между ними было не меньше 2°, а учитель математики в каменской женской гимназии, который имеет очень

дорогой телескоп и который сам пригласил меня посмотреть на Сатурна и Марса, говорил, что 3 августа расстояние между ними было почти полградуса.

Простите за короткое письмо. Я спешу по делу в Университет.

В следующем письме, если Вам будет угодно, напишу подробней о своем новом житье-бытье и о московских впечатлениях. Пишу Вам собственно для того, чтобы захватить Вас в Новгороде и узнать Ваш петербургский адрес.

Жду ответа.

Искренне уважающий Вас

А. Л.

Адрес мой:

Москва. Первое Студенческое Общежитие имени императора Николая II. Большая Грузинская, 12, кв 92.

№ 3

Москва. 15 сент. 1911.

Милая, добрая Вера!

Сначала извинюсь перед Вами за долгое молчание. Сами вероятно знаете, что значит приехать в чужой и совершенно незнакомый город, да еще столицу. А тут и начало занятий подоспело. Первая лекция состоялась еще 7 сентября. А затем — позвольте пожелать в день Вашего ангела¹ Вам счастливых солнечных дней и безоблачной жизни на долгие годы. Хочу Вам счастья, хорошего счастья; хочу сохранения Вашей доброй души, с которой Вы всегда найдете в своей жизни ее высшую цель. Ведь не в этих сереньких днях, которыми полна наша жизнь, не в этих людях, которые мирятся с своим бесцветным существованием, не в них смысл и оправдание жизни. А Вы еще так недавно писали мне о своем недовольстве, о своей тоске и неудовлетворенности. Милая Верочка, не заглушайте в себе этого недовольства, не миритесь с прозой! И если Вы не находите сил создать вокруг себя новую жизнь, то уходите от этой жизни, замыкайтесь в себе, но не продавайте Вашего бесценного сокровища молодой души, не губите сил. Тяжела одинокая жизнь — что и говорить! Но лучше страдание со смыслом, чем счастье без смысла². Желаю, мой добрый друг, душевного спокойствия и веры в идеал. Сохраните эту веру: она сохранит Вас. Вот чего пожелаю Вам: пожелаю самого дорогого для меня, ради чего я живу и трачу может быть лучшие годы своей жизни. Для меня нет ничего более нужного, и вот это то самое нужное для человека я и желаю Вам. Прошу верить ис-

кренности моих пожеланий, потому что в душе я горжусь тем, что могу с чистой совестью высказать их Вам.

Начинаю постепенно входить в свою зимнюю колею — ученые и учебные занятия. В Университете записался на 30 часов, не считая английского и итальянского языка. Начал одно большое сочинение *ex privata diligentia*³: «Высший синтез, как счастье и ведение»⁴, где доказываю необходимость примирения в научном мировоззрении всех областей психической жизни человека: науки, религии, философии, искусства и нравственности. Пока план готов для первых 5-ти и последних 3-х глав. Всего же думаю скроить 15 глав. Едва ли кончу к Рождеству.

В Университете с особенным интересом слушаю проф. Челпанова (основной курс психологии), Щербину (история этики и семинарий по ней), Мальберга (история древнего искусства), Вишпера (история Греции), Поржезинского (введение в языковедение). Еще не читают, но начнут с будущей недели след.<ующие>: Лопатин (история новейшей философии), Попов (философия средних веков), Самсонов (история эстетич. учений и семинарий по Платону), Соболевский (этика Аристотеля)⁵. Специализация в философии, как видите, начинается с первых же пор. Если Вы не забыли, то я ведь на философском отделении ист.-фил. фак.⁶

Я буду очень рад, если Вы напишите мне что-нибудь о своих занятиях. Пишите и о себе, как поживаете, что чувствуете, о чем думаете. Без преувеличения скажу — Ваши письма я читаю с захватывающим интересом.

Иногда лезу в стол и смотрю на Вашу карточку. Как хорошо — думаю тогда — хоть минутку побыть возле Вас.

Если мой адрес Вас обременяет, то можете писать короче, а именно так: Москва. Больш.<ая> Грузинская, 12. Первое Студенческое общежитие. А. Лосеву. Короче уж и некуда.

Ну пока, милая, до свидания, а то засиделся я с этим письмом уж за полночь. Христос храни Вас!

А. Л.

№ 4

Москва. 8 ноября 1911.

Милая, незабвенная Верочка!

У меня 6, 7, 8 ноября три праздника подряд: 6-го — воскресенье, 8-го — 200 лет со дня рождения Ломоносова, 7-го же — получение от Вас письма. Я уже совсем отчаялся иметь с Вами

письменные сообщения, ведь больше месяца от Вас ни строчки. Но душа у Вас добрая — не забыла и мою одинокую жизнь. Спасибо, родная! Не забывайте, что посылая мне хотя бы даже открытку, Вы делаете такое же доброе дело, как давая нищему копейку. Спасибо!

Жизнь моя течет совершенно так, как и раньше. Последние две недели сижу за сочинением по древней философии, так что некоторые курсы приходится не читать и оставлять на более свободное время. В театре бываю раза два в неделю; в Большом Императорском у меня абонемент. Еще раньше — до Москвы — я очень любил итальянскую оперу. Теперь же вообще итальянская музыка предмет моей самой сильной «музыкальной» симпатии. Могу сказать, что итальян.<ская> музыка такая же первая моя любовь в музыке¹, как Фламарион в науке и философии. В Университете сижу часов 26-28 в неделю, хотя записался на 95. Нет времени, да и лекции, которые я не посещаю, не представляют для меня большого интереса.

Скажите лучше Вы, как идет Ваша жизнь. Вы обещаете писать обо всем, что для меня интересно. Милая! Да мне интересно знать о Вас все, хотя не могу не оговориться, что и здесь вероятно есть, как и везде, предел, его же не преjdeши. Ну пишите, что можете. Для меня это гораздо лучше, чем ничего.

А я часто вспоминаю Вас, тем более, что у меня Ваша ф. карточка. Я так часто вспоминаю о Вас, что даже в разговорах с 2-3 земляками, окончившими со мной гимназию, с которыми кое-когда вспоминаешь «доброе, старое, время», приходится дать Вам особое название, так как я вообще не люблю употреблять настоящие имена и фамилии некоторых лиц (Вас -- в особенности) в обыкновенных разговорах. Тут невольно соблюдается 3 заповедь закона Моисеева, конечно, только в ослабленной форме². И вот один из моих товарищей, один из тех немногих, с которыми в гимназии я делился своими переживаниями, назвал Вас так: новгородская фея. Он же иногда меняет эту кличку и так: парходная фея. Вот под таким названием фигурируете Вы в наших разговорах. Уже это одно должно, кажется, доказывать Вам, что я никогда о Вас не забываю.

Право, Верочка, это не одни слова, что 7-го ноября для меня был праздник. Я помню Ваше предупреждение о том, что Вы «неаккуратны» в ответах. Но писать в другой раз я все-таки не осмеливался. Ведь Вы для меня редкость, а я для Вас? Вы, вероятно, считаете сотнями тех, которые желают иметь с Вами сношения. Я и примирился. На что я ей нужен? — думал я. Мне-то все равно одному жить с своими занятиями и своими недоходящими до людей чувствами. А она — девушка молодая, веселая; пусть поживет как хочет, пока можно. Так я остался с одной Вашей

карточкой и по обыкновению хотел уже похоронить в своем сердце память о Вас, чтобы время от времени вспоминать Вас и Вашу добрую душу. Поневоле превращаешься в романтика, раз жизнь делает романтиком.

Ну, а теперь вижу, что Вы ко мне очень благосклонны, и за это шлю самую искреннюю благодарность. Что это Вы пишете так о своем настроении? В прошлом письме то же. «Я нескладный человек...» Что это? Посмотрите на меня: один, как палец (по выражению моих земляков-донцев), никого и ничего, кроме комнаты с книгами, а я вовсе не жалуясь на пессимизм.

*«Все небо нам дало, мой друг, с бытием,
«Все в жизни — к великому средству,
«И горе, и радость — все к цели одной:
Хвала жизнедавцу Зевесу!»³*

Напишите мне подробней о себе. Посмотрим, пообсудим; может быть и вылечим Вашу «нескладность» (Ваше же слово).

А я как-то совсем отошел от жизни. Все время один — и, главное, все это ни по чем. Помните у Пушкина⁴:

*«Ты царь: живи один. Дорогою свободной
«Иди туда, куда влечет тебя свободный ум,
«Усовершенствуя плоды любимых дум,
«Не требуя похвал за подвиг благородный!..»*

Эти слова до странности соответствуют моему всегдашнему настроению.

Итак, жду «подробного донесения» о том, что думаете, что чувствуете, как живет в Петрограде и как идут занятия.

Еще раз благодарю за память!

Преданный Вам всей душой А. Л.

Р. S. Как-то раз, еще в конце сентября, ездил на Воробьевы горы по Москве-реке на парходике. Здесь вспомнил Вас так живо, как никогда. Волны, парход, легкая качка... Эх, милая, как близки Вы мне! Ведь вот не вижу Вас, одна мечта, но как эта мечта драгоценна!

№ 5

Москва. 11 дек. 1911.

«Мысль без поэзии и жизнь без любви — все равно, что пейзаж без воздуха и неба... Там задохнешься». Ну, а если есть поэзия в мысли, если есть в жизни любовь?

Милая Вера, далекая, несбыточная Вы моя мечта! Несколько раз прочел я Ваше письмо, в котором Вы жалуетесь на свою «нескладность», «малость» и пр., и хорошенько не мог себе уяснить, чего собственно Вам не достает. Пожалуй, я даже слишком хорошо уясняю себе это, и если бы уяснял хуже, то вероятно было бы лучше. Интересуясь вообще всякими сомнениями в области мысли и жизни, я с большим удовольствием стараюсь представить себе Ваше состояние духа и вообразить себя на Вашем месте. Ведь подобным сомнениям я обязан тем, что теперь изучаю философию. Не появись этой страшной бездны между наукой и религией, я никогда бы не оставил астрономии и физики, и не променял бы их на эти бесконечные философские изыскания. Но мне все-таки трудно вообразить себя на Вашем положении, так как мои сомнения не касались самой жизни, а ограничивались лишь исключительно областью мысли, т. е. науки, философии и религии. Применить же к Вам обычную мерку, по которой русский человек страдает и хандрит от неумения пользоваться жизнью, я совершенно не имею никаких оснований. Остается одно — сказать Вам, как лично я выхожу победителем (т. е. выхожу с жизнерадостным настроением) в нашей современной сумятице идей и настроений. Жизнь наша полна моральных противоречий. Перестроить эту жизнь я не в силах. Что это значит? Это значит, что если я хоть немного почувствовал в себе силы для самостоятельной работы над своими мыслями и чувствами, то я прямо обязан уйти от той жизни, которая способна только разменять силы и способности на мелкие, затертые и ничего не стоящие монеты. Но «мысль без поэзии и жизнь без любви — что пейзаж без воздуха и неба...» А разве мысль будет без поэзии, когда Вы наслаждаетесь той вечной, нетленной красотой, которая запечатлена в великих созданиях Софокла, Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, когда Ваша мысль следит за художественными извивами философско-поэтического проникновения в горний мир в диалогах Платона? Я не знаю, может ли что еще так действовать на душу, так, как создания только что названных мною исполинов человеческого духа. Любовь же... Бывает разная любовь. Намеренно минуя те ее формы, про которые противно написать, не только что думать о них, я различаю две основных формы ее: любовь ради себя и любовь ради других. Эти два вида любви, в моем по крайней мере сознании, подчиняются одной высшей любви, любви ради ней самой, в которой находят себе примирение и знание, и вера, и счастье, и красота. Я люблю человека постольку, поскольку он стоит ближе к небесной красоте, я стараюсь найти в нем хоть слабый отблеск этой красоты и воспитать в нем, насколько это зависит от меня, любовь к знанию и веру в идеал. Помните у Фета¹:

*Только встречу улыбку твою,
Или взгляд уловлю твой отрадный,
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.*

*Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюбленную трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой ее колыбелью, —*

*Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота;
Красоте же и песен не надо.*

Вот и я «не тебе песнь любви я пою, а твоей красоте ненаглядной», вот и я люблю, счастлив от любви. А для такой любви мне нужен суетный мир, где про такую любовь и про песнь красоте забываешь.

Вот как я выхожу победителем из жизни. Не правда ли должен быть я счастлив, хотя и одинок? Ведь для счастья нужна поэзия, нужна любовь. Но ведь у меня тоже поэзия, тоже любовь. Вы пишете: «Я всегда в колебании, т. е. вернее моя душа, если она существует; у меня нет жизненной точки опоры. Я ищу смысла всего существования...» и т. д. Вы ищете смысла. А решили ли Вы вопрос: да есть ли он где, этот смысл? Ведь раз Вы ищете, значит Вы верите, что он где-то существует, так как зачем же искать его, раз он есть простая фикция нашего сознания. Но раз Вы верите, что он существует, то Ваша жизнь уже не такая бесцельная, как Вы думаете. «Светящейся точки впереди у меня нет; темно, куда ни повернись». А смысл, который Вы ищете? Ведь это же и есть Ваша светящаяся точка впереди. Значит нужно только стараться поскорей дойти до этой точки, поскорей уяснить себе ее смысл, а Вы предаетесь такому пессимизму, что страшно становится за Вас. Полноте, душенька! Если все будем хныкать да жаловаться на судьбу, кому же жить-то придется? Кто же будет наслаждаться солнышком, весной, поэзией, любовью? Эх, Вера, Вера! Как бы я хотел сообщить Вам хоть самую маленькую частицу того огня, который горит у меня в груди!

Вы спрашиваете, «к какой это одной цели все»? Чтобы отвечать подробно на этот вопрос, надо писать целые тома, а коротко сказать можно так: цель нашей жизни — постепенное постигновение добра и красоты, постепенное приближение к идеалу через высший синтез любви, раскрывающей души для созерцания и возносящей к небу от суетного мира. Наша цель не познать добро, а приближаться к нему, не быть совершенным, а стремиться к

совершенству, не постичь истину, а постигать ее. Ведь если мы достигнем всяких возможных идеалов, то они перестанут быть идеалами; если мы все узнаем и перечувствуем все наслаждения, то наша жизнь прекратится, ибо для жизни нужно движение. И в этом бесконечном приближении к счастью и истине — весь наш смысл. Не будем упускать всякого удобного случая, чтобы употребить его на пользу этих святых порываний в горнее царство.

Скажите, Верочка, положи руку на сердце, разве есть что-нибудь другое, что может успокоить наш мятущийся дух среди мрака современности? Разве не находится в нашей душе ответного чувства на подобный призыв к небу?

О Фламарионе я уже, кажется, говорил Вам и писал. Это мой первый учитель и воспитатель, моя первая любовь в науке. Прочтите его сочинения: «Стэлла» и «Урания». В особенности первые главы последнего сочинения, где говорится о небесном путешествии астронома под властью богини, покровительницы астрономии, я хотел бы, чтобы Вы их прочли. Как раз теперь у меня такое настроение, какое разлито в этих произведениях Фламариона.

Помните, в «Дв.<орянском> гнезде» Тургенева Марфа Тим.<офеевна> Калитина говорит Лаврецкому: «чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно»? Надеюсь, отсюда ясен мой ответ на Ваш вопрос: «про какой “предел” Вы думаете, как Вас понимать прикажете?»

Настоящего адреса нашего батюшки, о. Василия Чернявского я не знаю. А писал ему прямо в гимназию. Так можете поступить и Вы, адресуя: Новочеркасск, обл.<ась> Войска Донского, Мужская классич. гимназия, о. В. Чернявскому (Ермаковский проспект).

На праздники домой не поеду, хотя мама и усиленно просит. Слишком много занятий, а дома, после долгой разлуки с родными (в Каменской) уж наверно заниматься не придется.

В театре бываю раза 2 в неделю, кроме Большого. Шаляпин у нас появится только 8-го. До сих пор в абонементе были (т. е. гастролировали) Бакланов, Собинов и артисты поменьше — Бонавич, Лабинский (Ваши, кажется, петербургские)?

Не правда ли, письмо мое слишком затянулось? Сейчас кончаю. Позвольте только еще раз поблагодарить за Вашу память и за ласку. Я сразу, еще на пароходе, угадал в Вас отзывчивую душу — и не ошибся. Будьте же уверены и в ответных добрых чувствах

Вашего друга

А. Л.

P.S. Когда едете домой?

Передайте поклоны родным.

В самом деле жалко, что мы не можем заниматься вместе латынью. Я бы не выпустил Вас из-под своей опеки, пока Вы не узнали бы всей древней литературы и не научились бы ценить красоту ее бессмертных памятников.

*Не избегай: я не молю³
Ни слез, ни сердца тайной боли!
Своей тоске хочу я воли
И повторять тебе «люблю»!*

*Хочу нестись к тебе, лететь,
Как волны по равнине водной,
Поцеловать гранит холодный,
Поцеловать — и умереть!*

Еще нет весны, а я уже лелею в душе ее ласки:

MAILIED⁴

*Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!*

*Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch.*

*Und Freud und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd, o Sonne!
O Glück, o Lust!*

*O Lieb, o Liebe!
So golden schön,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höhn!*

*Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blütendampfe
Die volle Welt.*

*O Mädchen, Mädchen,
Wie lieb ich dich
Wie blinkt dein Auge!
Wie liebst du mich!*

*So liebt die Lerche
Gesang und Luff,
Und Morgenblumen
Den Himmelduft,*

*Wie ich dich liebe
Mit warmen Blut,
Die du mir Jugend
Und Freud und Mut*

*Zu neuen Liedern
Und Tänzén gibst.
Sei ewig glücklich,
Wie du mich liebst!*

№ 6

15 февраля 1912 г.

Милая, добрая Вера!

Вы все равно не умеете сердиться, и поэтому я не очень-то испугался Вашей строгой открытки. Но извиняться мне есть за что, хотя я довольно и без того наказан судьбой за свои поступки. В Петербурге я был; жил там три дня. Не увидался же с Вами — да Бог его знает, почему я не увидался с Вами. И видал-то всего трех человек, знакомых: двух товарищей по гимназии¹ да одну еврейку-консерваторку². Пожалуй Вы и поймете, почему я не был у Вас. Ведь если человек все время будет задавать себе вопросы: зачем это мне нужно, да почему я должен это делать, да как это произойдет, то, конечно, дело-то само вперед не подвинется ни на шаг. Надо бы не думать, а действовать, а я... я все думал, и в результате не видал Вас. Не знаю за что, за то ли, что не постарался увидаться с Вами или еще за какие грехи, я сильно простудился в Вашем сыром и мрачном Петербурге и едва доволол ноги до Общежития. Началась самая противная форма простудных заболеваний — флюс; перекосило мою физиономию на бок. Кроме того, пришлось лежать 3 дня в постели, так как чего-то ради кружилась голова, как только становился на ноги, и сильно болела грудь. Спасибо, заведующий нашим общежитием оказался врачом, да в Общежитии была своя аптека. Так меня подняли ко вчерашнему дню с постели. Это первое зло — болезнь и пропуск занятий в течение целой недели. Второе зло: вчера пошел на экзамен по психологии, который никакими силами не пришлось мне выпросить сдать на масленице и который перенесли на вчерашний

день, 14 февр. Отвечал, конечно, прескверно, сидя с перевязанной физиономией, и так как не хотелось получать низшего балла (у нас, как и у Вас, вероятно, две отметки: «весьма удовлетв.» и «удовлетворительно»), то пришлось просить отложить экзамен до следующей сессии, т. е. до мая месяца. Сегодня же начинаю писать письма после двухнедельного перерыва, и первое письмо — Вам. Думаю-думаю, и не знаю, за что это Бог меня наказал. Уж что за грехи, это бесспорно. Но за какие же? Боюсь, как бы не за то, что не увидал Вас. Это не грех, — Вы скажете. Но Вы почему это знаете? — отвечу я.

Простите за долгое молчание. Вы видите, не от меня зависело писать Вам или нет. Пишите Вы. Так давно получал от Вас хорошие письма!

Ваш А. А.

№ 8

*Станция Каменская
10 июля 1912 г.*

Мой милый друг Верочка!

Надеюсь, не забыли, кто Вам пишет, хотя мне и не удавалось написать Вам в течение целых трех месяцев. Получивши от Вас поздравление на Пасху, я не собрался тотчас же ответить Вам, так как в понедельник на Фоминой неделе¹ у меня был первый экзамен. Сдавши то, что требуется для перевода на 2-ой курс, я хотел сдать еще два предмета из 2-го курса, на которые мне удалось записаться, но почувствовал сильное утомление и поехал в Каменскую. За три недели, проведенные в Каменской, я опять стал хорошо спать ночи и вообще почувствовал облегчение, так что мог принять любезное приглашение моего милого батюшки о. Василия Чернявского ехать с экскурсией новочеркасских гимназистов на Урал². Выехали мы 9-го июня и возвратились послезавтра, 8 июля. Проехали по Волге от Царицына до Самары, были в Уфе, Златоусте, Екатеринбурге, Перми, Казани. Много бродили по Уральским горам, лазили по пещерам, скитам, сопкам, шахтам, посещали заводы. О. Василий по-прежнему неутомим, и у него уже новые планы — ехать на будущий год в Финляндию. Экскурсия прошла очень живо и интересно, хотя Кавказ несравненно живописней, ярче и выразительней Урала. Я собирался было ехать по Швейцарии с одной из экскурсий, устраиваемых О-вом Распр. Технич. Знаний, но болезнь моя принудила меня ехать домой, и я

поехал с своим любимым наставником. — Во время экскурсии знакомств никаких не приобрел. Сейчас буду начинать готовить экзамены, чтобы сдать их в сентябре: на старших курсах будет свободней.

Ну, а как поживаете Вы, моя славная Верочка? Я вот изложил Вам то, что случилось за эти 3-4 месяца; в остальном же нет никакой перемены. Какой был Ваш друг, — таким и остался. А Вы? Все ли так, как раньше, или, может быть, что-нибудь новое? Спрашиваю Вас так вот почему. 30 июня (видите? — даже число Вам привожу точно — из дневника), когда я ехал по Каме от Перми до Казани, мне приснились Вы. И приснились Вы мне такой несчастной, такой жалкой, постаревшей, что я целый день тогда не мог избавиться от этого странного образа. От прежней Верочки осталась только ее ласка, только нежная доброта, согревшая меня ровно год назад. Что вывел я из этого — это другой вопрос, но поневоле становишься каким-то суевером и ждешь, что жизнь как-нибудь станет в страшное соответствие с этим сном. А что вывел я... нет, не придумывайте, не рассуждайте, ибо не выдумаете. Может быть, созерцая картину заката и чувствуя надвигающуюся сумеречную грусть, Вы и ощущали тогда в глубине души радость воскресающего дня, радость новой зари и нового света. Вот забудьте когда-нибудь перед красотой заходящего солнца: может быть сердце и скажет, что вывело мое сердце из моего сна, грустного, радостного...

Прощайте пока, милая Верочка!

А. Л.

Каменская. Обл.<ась> В.<ойска> Дон.<ского>, Коммерческая, 83.

№ 9

Москва.
20 сент. 1912.

Милый друг Верочка!

Как Вы несправедливы ко мне, думая, что я забыл Вас и что уже не помню Вашей ласки ко мне и Вашей доброты! Даже фамилию свою Вы написали на открытке полностью, вместо обычного «Вера»... Это, дружочек, мне не нравится. Я ли забуду Вас, если в жизни нельзя найти предмета, на котором мог бы отдохнуть усталый глаз, если ищешь счастья в себе, в своих воспоминаниях, в своих надеждах. Вы извините меня, дорогая Верочка, что я не

поздравил Вас со днем Вашего Ангела. Но открытка, которую послали Вы в Каменскую, была получена мною в Москве слишком поздно. Из Каменской же я приехал сюда еще 31 августа, так как нужно было начинать работы в Психологическом Институте¹. Вы должны быть уверены в моих наилучших пожеланиях к Вам, но я рад еще и еще раз выразить Вам те чувства, которыми преисполнена моя душа благодаря Вам. Что пожелать Вам в день Ангела? Вы знаете сами... Всю жизнь я хотел себе одного — создать свое счастье, создать самому, создать то внутреннее самонаслаждение, которое бывает у Вас, когда Вы созерцаете эти красоты «Фауста», «Антигоны»², когда знаете, что никто не разрушит Ваших чувств, если Вы не разрушите их сами. Вот этого счастья не устану желать Вам, даже если разрушится весь мир и уничтожится правда. Называйте все это абстракцией, приносите все это в жертву материальных благ, но другого желать я не в силах. Не примете этого пожелания, — Вы уже ничего больше от меня не услышите, ни надежд, ни пожеланий. Но Вы примете, и даже если не примете, то в глубине души будете согласны со мной.

Настоящая наука моя сейчас движется слабо, так как экзамены, т. е. учебная работа, отвлекают от ученой работы. Но 8 октября последний экзамен из предположенных мною, и с этого дня я сажусь за рефераты и за свою специальность в философии — гносеологию (с выяснением гносеологических предпосылок эстетики и этики). Надо подумать и о кандидатской работе.

Последние дни осложнились тем, что наступили симфонические концерты Кусевицкого, которые будут и у Вас в Петербурге. Играют все шесть симфоний Чайковского, увертюры «Манфред», «Ромео и Джульетта», «Франческо да Римини»³ и неск<олько> др<угих>. Хотя я поклонник итальянской музыки и не люблю Чайковского за его упорный пессимизм (вспомните 6-ую симфонию!), но он подкупает своей искренностью и простотой, подчас даже по-итальянски задушевным, светлым настроением. Все это заставляет меня уважать его так же, как эффектного знатока народной души и мелких изгибов просветленно-эпического настроения Римского-Корсакова. Пойдите на Кусевицкого.

Жду от Вас письма более подробного. Хотя Вы и писали мне раньше, что «отделяетесь все открыточками» и к другим, но уж сделайте исключение для искренне преданного Вам и постоянно вспоминающего о Вас друга А. Лосева.

Адрес тот же: М<осква>. Б. Груз<инская>, 12. Первое Студ<енческое> Общ<ежитие>.

Москва.
9 октября 1912.

Дорогой друг Вера!

Ваше письмо получил уже давно, дней восемь назад, но собрался написать Вам только сегодня. Дело в том, что вчера у меня было сразу два экзамена, и последние дни мне пришлось работать выше положенного. Не только Вам, но и матери за это время не писал ни строчки. Сдал оба на «Весьма», как выражаются студенты, и в этой сессии сдавать больше не буду. Если к Рождеству успею приготовить два, а к маю еще четыре предмета, то в этом году я закончу полукурсовые по классич. отделению, с тем, чтобы на будущий год окончить и по словесному, т. к. много предметов совпадающих, и мне это не составит непосильного труда. Тем более что я не считаю себя специалистом ни по классич., ни по словесным наукам, а изучаю их в подмогу философии, которая невозможна без знания основных принципов всех других наук. Правда, без естественных наук она тоже бессильна, но проф. Челпанов (учебники которого вероятно Вам известны) потребовал от нас, членов Психологического Института, сдать ему в течение двух лет 1) Делонэ. Введение в самостоят. изучение высшей математики и механики, 2) Гексли-Розенталь. Основы физиологии. 3) Леонтович. Статистические методы в применении к биологии и 4) Косоногов. Учебник физики. Для эксперимент. психологии эти науки прямо необходимы. Здесь ведь такие же сложные аппараты, как и в физике; такие же точные и кропотливые вычисления, как и в математике. А о физиологии и говорить нечего. Ведь эксперимент в настоящем смысле почти только в тех душевных явлениях возможен, где есть налицо и телесное их выражение. А для этого нужна физиология. Нужны и отделы физики — оптика и акустика, для детального исследования зрительных и слуховых ощущений. Словом, я изучаю философию, и в ней специалист; а если хочу кончить по двум отделениям (философский ведь диплом никаких прав не дает), то только делаю это для философии, полагаясь на свою работоспособность. Отнимите у меня талант, отнимите оригинальность исследований, но работоспособности у меня нельзя отнять. В этом я убедился на опыте уже многих лет работы над книгой и рукописями.

Вы видите, какие у меня широкие планы. А Вы жалуетесь на свою неспособность к науке, на недостатки «мыслительного аппарата»... Я этому не верю. И не верю потому, что до 5 класса гимназии я тоже учился, как все, ни хорошо, ни плохо. Но в 4 классе

я прочел всего Фламариона, который так увлек меня, что в 5 классе я решил во что бы то ни стало добиться успеха в занятиях и науке, и вот стал переходить с наградами¹. Что же мешает Вам захотеть? У Вас вероятно и так остается мало свободного девичьего времени, а Вы теряете его на хныканье. Право, мне это не понятно.

Жаль, что Вы не попали на Кусевицкого. Мне бы хотелось услышать Ваше мнение о VI симфонии и об увертюре «Ромео и Джульетта». — Разве у Вас было так трудно достать билеты? Я пошел на другой же день после объявления о продаже и захватил ученический за 2 р. 20 к. за четыре концерта.

Вы удивляетесь, откуда у меня столько денег. Но ведь у меня только и есть расход на книги да на театр. За прошлый год от матери я получил около 600 рублей. Затем, у меня есть двоюродный дед на родине, который мне прислал 50 руб. к Рождеству и 50 р. к Пасхе. Наконец, я готовил одного студента к дополнит. экзамену по греческ. языку (о чем Вам, кажется, тогда писал) по рублю за час, а за год вышло всего с него 125 руб. Вот мои доходы за прошлый год. Как видите, около 825-800 рублей. Из них в Общежитие заплатил всего около 260 рублей (32 руб. в месяц), в университет — 114 рублей, за теплые пальто 55 руб., за штатский костюм 42 руб. Ну, а остальное все пошло на книги и на театр. Книг приобрел рублей на 100. Имел в Б. театре абонемент (за место в ложе, за 15 спектаклей 21 руб.). Чему же Вы удивляетесь после этого?

Боюсь, что мой бюджет для Вас скучен. Но я опомнился только тогда, когда уже написал Вам о нем.

Вы упомянули о Ник. Онуфр. Лосском. Это один из лучших современных философов². Я считаю себя поклонником его двух замечательных работ: «Обоснование интуитивизма» и «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма». Во всяком случае, он оригинальнее и нашего Лопатина-спиритуалиста и Вашего Введенского-неокантианца³. С Лапшиным⁴ же я боюсь его и сравнивать.

Не бойтесь за мою серьезность. Ваш философ сейчас объедается виноградом, который прислала ему мать из дому. А что касается моего отношения к «несерьезным» людям, не понимающим в философии, то моя философия, пожалуй, только научит, как лучше с ними обходиться и как работать с ними за идею. Ваше изображение как будто обнаруживает некоторое уклонение по сравнению с оригиналом июля 1911 года. Хотя Ваша печальная улыбка вероятно изменяет Вас основательно.

Что касается меня, то говорят, что я мало изменился, так что смотря на мою фотографию, будьте уверены, что она довольно точно передает действительность.

Напишите о своих занятиях, о семинариях, о своей специальности. Это очень интересно.

Будьте счастливы и здоровы.

Ваш А. Лосев.

№ 11

*Москва.
12 декабря 1912.*

Дорогая Вера!

Вы не знаете, какое тяжелое бремя лежало у меня на сердце, пока я все собирался Вам ответить и — не отвечал. Теперь вот сел наконец за ответное письмо к Вам, — и на душе легче стало, как будто исполнил заветный долг. Прежде всего о Вас и Вашем предполагаемом приезде в Москву. К своей великой радости, сообщаю Вам, что я могу увидеть Вас на Рождестве, и может быть даже в течение нескольких дней, так-как на праздниках я остаюсь здесь, в Москве, и домой не поеду вероятно даже летом. Почему не поеду, -- этому удивляются все мои земляки, плохо знающие мою семейную жизнь. Удивиться может быть и Вы. Но не удивляйтесь, Верочка. Толстой предпринял побег из дому за несколько дней до смерти, а я разве не могу убежать, если родина заставляет так же страдать и тосковать? Ну, об этом после... Так слышите? Приезжайте, развеселите меня. На праздниках я ведь один останусь. Никто даже из тех немногих земляков, с которыми я здесь виделся, не остается в Москве, а новых знакомых я так-таки и не сумел приобрести за 1 1/2 года. Поведу Вас в новый Музей Александра III¹, который лично на меня производит сильное впечатление, б. м. потому, что там почти исключительно представлена одна античная скульптура, а ко всему античному я не могу относиться спокойно. Вашего Эрмитажа мне не довелось видеть на Масленицу, т. к. там в то время производился ремонт. Но красота, мне кажется, останется красотой, и как бы ни был привлекателен Ваш Эрмитаж, наш Музей тоже должен Вам понравиться. Обязательно собирайтесь и сообщайте число, когда приедете. Не забудьте же написать № поезда, чтобы я мог Вас встретить на вокзале. Если у Вас не у кого здесь остановиться, то напишите мне, кто еще с Вами приедет, за какую цену Вы хотели

бы иметь номер в гостинице или мебл. комнатах, и на сколько дней. Я поищу Вам квартиру, чтобы Вы не теряли даром времени по приезде в Москве. — Жалко, у нас в Общежитии женский пол не допускается, а то я с удовольствием бы пригласил Вас зайти хоть на часок ко мне «в гости» и посмотреть на мое одинокое житье-бытье.

Приготовил к декабрьской сессии 4 экзамена. Два сдал; один не мог сдать, т. к. профессор запьянствовал. А четвертый буду сдавать послезавтра, 13 дек. Все время сидел за книгами. Даже в театре не был целых две недели. Сижу, занимаюсь, свету Божьего не вижу, — и в этом только нахожу утешение. Родина, которую я так люблю и по которой тоскую в долгую ночь, гонит меня от себя — и чем же? — материальным обеспечением и нравственными муками. О, если бы это было наоборот — материальными муками и нравственным обеспечением! И главное... Фу, опять об этом, так вот и лезет на бумагу.

Так приезжайте же, утешьте меня, развеселите. Я Вам достану билеты в Худож<ественный> театр.

Искренне Ваш А. Л.

№ 12

Москва.

1 марта 1913.

Даже боюсь назвать Вас по имени, как бывало раньше. Ведь Вы же теперь уж не Вера Знаменская, а какая-то Вера В. Что это? Перемена фамилии? Такие перемены обыкновенно бывают в слишком определенных случаях, чтобы я не догадался о смысле этих таинственных инициалов «В. В.». Если это так, то... Ничего не скажу, что я думаю об этом. Не стоит. Выслушайте лучше мои грехи, которые я совершил против Вас, тем более что как бы это мое письмо к Вам было не последнее. Первый грех: после разлуки с Вами думал, что будет лишним, если Вы прочтете все, что для Вас предназначалось. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что я все-таки человек увлекающийся, т. е. сильно переживающий всякую мелочь. Впрочем, это не «к сожалению». Ведь я же все-таки сумел не посылать Вам писем, хотя и уже написанных, пока не счел себя способным на более трезвые (конечно и более мелкие, более обывательские, — но что же делать?) письма.

*Творец из лучшего эфира¹
Создал живые струны их,
Они не созданы для мира
И мир был создан не для них.*

Да, не для них, не для людей, не для... Вас. Прочь от людей, в монастырь от Вас всех, в монастырь!² Только бы сделать все, что требует долг человека и гражданина, и только бы сказать людям о том, чем живешь и куда стремишься. А за этим...

Второй грех случился в Петербурге, на Масленицу. В этом году я тоже был в Петербурге. И грех не тот, что я не зашел к Вам. Заходить я и не собирался. А случился другой грех, который как теперь оказывается почти даже не против Вас. Какой же? Не все ли Вам равно!

Прощайте. Я сейчас раздражен. Но не думайте, что я не сознаю того, что пишу. Желаю Вам такой ясности, какая сейчас у меня. Или нет, не надо. Лучше пусть будет темней, а то уж слишком ясно, до боли.

Когда много радости, — она переходит в печаль. На Масленице в Петербурге у меня было много радости, тихой, чистой, небесной радости. Когда я приехал в Москву, радость и грусть смешались, но эта смесь и есть счастье. Воспоминание же о Вас меня раздражило. Не прогневайтесь за откровенность.

Мои желания для Вас известны Вам. Я их всегда чуть ли не в тех же самых словах высказывал, поздравляя Вас со днем Ангела, с праздниками и пр. Высказывать их Вам сейчас нет настроения, но ум говорит, что они неизменны, несмотря ни на какие настроения. Adieu pour toujours!³

Не Ваш А. Л.

№ 13

*Москва.
20 марта 1913.*

Господи благослови! Как бы не наговорить глупостей.

Прежде всего, дорогой друг, не волнуйтесь. Во-вторых, постарайтесь, хотя бы только во время чтения этого письма, отнестись ко мне по-прежнему, а не по-новому. В-третьих, — слушайте мои объяснения, раз Вы их сами просили. Предупреждаю: объяснения даются не по моей, а по Вашей воле. Для меня это, во-первых, целое геройство, во-вторых, неприятно. Но т. к. это неприятное геройство или геройская неприятность Вам нужны, то я повинуюсь.

Для ясности и последовательности, я отвечу на след. вопросы: 1) почему я не писал Вам после Р. Х., 2) почему не был у Вас на Масленице, 3) почему воспоминание о Вас после Масленицы меня раздражало, 4) почему я не ответил Вам на предыдущее Ваше письмо. Эти четыре вопроса так тесно связаны между собою, что

представляют собою один и тот же вопрос, но только в разных формулировках: какова причина перемены или «перемены» моих отношений к Вам? От освещения этого общего вопроса я пока воздержусь, а ответу пока на первый.

Когда я шел домой от Николаевского вокзала 1 янв. 1913 года, у меня было на редкость смутное чувство. Назвать его я не умею. Но смотрите, что я переживал. Я определенно чувствовал, что Вы для меня сошли с неба на землю. Вы стали м. б. ближе, м. б. милей, но Вы стали земной Верой, а не небесной (для меня, конечно). Но наряду с этим я чувствовал такую близкую связь с Вами, которая сразу напомнила мне конец июня 1911 года на пароходе (правда, почти только по силе). Я знал, что сейчас ушло от меня нечто настолько близкое, что его можно бы назвать прямо частью меня самого. Ушла одна половина моего «я». Но тут-то и началась смута. Земная Вера... половина моего «я»... Я радовался, я печалился. О чем? Не знаю. Знаю одно: если бы написал Вам обо всем, то Вы бы сочли меня сумасшедшим. Вот я и не писал.

Теперь ясен Вам мой ответ и на 2-й вопрос. Придя к Вам, о чем бы я мог говорить с Вами? Надеть маску и участвовать во всеобщем маскараде? Нет, слуга покорный. Уж за это-то никогда Вы меня не упрекнете.

Третий вопрос. Как я Вам писал, Масленицу я провел в Петербурге. Остановился у одного товарища по гимназии, который живет там с родителями, сестрой и имеет квартирантов. В числе последних была одна наша землячка, которую в Новочеркасске знал только по наслышке, не зная ее даже в лицо. В Петербурге я встретился с ней (моя откровенность вызывается Вашими же просьбами) и я почувствовал, что она для меня не земная, не здешняя, а такая, какой Вы были тогда, два года назад. Правда, тогда было несравненно сильнее. Тогда, помню, в Адлере я плакал. Ну, а здесь-то дело было поспокойней, без слез и без внешних выражений. Все же она была в небесах. Приезжаю в Москву. Получаю Ваше «В. В.» Конечно, хотя бы и действительно Вы превратились из В. З. в В. В. какую-нибудь — это не в силах было бы заставить меня свести Вас с неба на землю. Но... не в силах только само по себе. Пусть напр. вместе с Вашей карточкой (то же лето 1911 г.) Вы прислали бы мне известие, что выходите замуж. Тогда, т. е. в июле 1911 г. это только выше бы подняло Вас в моих глазах. Но примите во внимание теперешнее положение дела. Ночью 1 янв. 1913 г. я уже пережил Ваше сошествие на землю (и это, как видите, задолго до «В. В.»). Затем, Масленица заставила меня обратиться еще к одному жизненному явлению, в котором произошло наоборот восшествие. Вот, когда я обратил взоры от поднимавшегося на Масленицу солнца на землю и уви-

дел на этой земле свою небесную Веру, которая, судя по «В. В.», крепко хваталась за землю, я... не знаю, был ли я действительно раздражен. Пожалуй, да, но верней я просто злился — не на Вас, не на поднявшееся солнце, — а на себя, на свою ограниченность, так как я хорошо знал, что у Вас нет причин для Вашего сошествия, но чувствовал, что для Вас у меня исчезал в душе орган, воспринимавший Вашу небесность и Вашу красоту. Не знаю, ясно ли я выражаю, но на вопрос о своем «раздражении» я могу оставить только так.

М. б. теперь Вы догадаетесь, почему Ваше предыдущее письмо осталось без ответа. (4-й вопрос). О чем я должен был писать? Писать о своих занятиях, о рефератах и пр. — это было бы смешно, т. к. нужно было выяснить и свое молчание, и свою «раздраженность», а вовсе не рефераты. Но, Вера, это тяжело. Это действительно геройство — сказать Вам, что Вы сошли для меня на землю. Вот и перед этим письмом я до одурения думал: писать или не писать? Решил написать. Но это подвиг. А неприятным я назвал его в начале письма потому, что не хотелось бы посвящать Вас в мою смуту, смуту, которая для меня многое объясняет, многое затемняет и которая м. б. только временная, м. б. происходит от того, что я слишком рефлексивен, слишком много иногда думаю над своими чувствами. Сообщать Вам неприятное для того, чтобы потом извиняться, — приятно ли это?

Не думайте, Вера, ничего обо мне плохого. Скажу серьезно: я — мистик, но... по-видимому неудачный. Я верю в то, что когда любишь, то открываешься в душе шестое чувство, которое видит красоту там, где всем кажется только пустое место. Я верю в то, что совершенство этого шестого чувства зависит от нас, от нашей самодеятельности. Но в этом-то и трагедия интуиции красоты: твердо знаешь, что она зависит от тебя, а на деле — она играет тобой, как мячиком. Не обижайтесь на меня и не считайте моих слов оскорбительными. Ведь я был только искренним. Дружба наша никогда не прекратится; всякие «В. В.» могут помешать ей меньше всего. Но Ваша небесность, Ваша красота — это для меня вопрос не только моих эмпирических отношений к Вам, но вопрос всей моей философии, ибо я постиг уже ту истину, что философию можно строить только на жизни и на любви. Вы для меня сейчас предмет меньше всего житейских отношений. Вы сейчас для меня философская проблема: проблема восприятия красоты и жизни в этой красоте¹. Не обижайтесь на меня и не думайте, что я на Вас обижаюсь. Но прошу только дать мне время разобраться в той массе мыслей и чувств, которые сейчас нахлынули на меня. Я согласен, что все это может казаться странным, что у других, по-видимому, никаких проблем в таких случаях не поднимается.

Но ведь Вы же, мой странный посланец неба, Вы же знаете, каков я, над чем работаю и что ценю в жизни больше всего. Это знание дает Вам право быть старым другом. Зачем же думать иначе?

Итак, вот что такое я в настоящую минуту. Поймите, если можете.

Ваш искренний и вечный друг

А. А.

№ 14

Москва.

5 сентября 1913 г.

Мой верный друг Вера!

Ради Бога извините, что Вашу открытку я не мог получить раньше. Она пришла в Общежитие раньше моего приезда, и сегодня я случайно узнал об ее существовании в Общежитии. Простите и за то, что это мое письмо будет очень коротким. Сейчас самый разгар экзаменов, ибо хочу к Рождеству окончить все предметы и сдать, и кроме того все лето прошло в подготовке материала для кандидатской работы: «Критика современной функциональной психологии»¹. Напишу Вам сейчас мало. Но после 15 сентября ждите от меня подробного донесения. Пока же обязан Вам, как своему старому другу, сказать следующее. Злополучное письмо к Вам, в котором я раздражился на Вас, было вызвано чисто психологическими условиями момента, ничего общего не имеющими с моим всегдашним настроением к Вам, которое продолжается уже третий год. И это «В. В.» и все прочие мои раздражительные замечания насчет Вас нужно было прежде всего обдумать, а не писать. Я стыжусь самого себя; стыжусь, конечно, не за то, что Вы для меня в течение трех месяцев были философской проблемой (когда я напишу Вам подробнее, Вы узнаете, что это для меня были вовсе не шутки), а того, что я поддался психологическому моменту, не учитывая всего его логического противоречия. Может быть Вам легче будет простить меня, если Вы узнаете, какой конгломерат всяких переживаний наполнял мою душу на Масленицу и после нее. Я Вам все это подробно опишу, как только сдам проклятую грамматику индоевропейских языков². Не осудите меня. Т. е. нет. Осудите меня. Но помилуйте. Вы ведь сами знаете, что наши переживания настолько сложны, что нельзя сразу все привести в них к одному знаменателю и нельзя их сразу осудить, или сразу одобрить. Но теперь, когда все это отошло в

историю, я имел уже и время и вообще возможность разобраться в тех чувствах, которые были причиной моих писем к Вам, притыживающих меня, и Вам теперь будет уже легче, чем тогда, оценить эти письма и понять их. — Милая Вера! Не обижайтесь на меня. Примите меня кающегося. Я все равно бы писал Вам, если бы Вы даже и не обратились первая ко мне. Я хорошо помню свои слезы в Адлере, когда пароход уносил в туманную даль мое счастье, а я оставался на берегу одиноким и покинутым скитальцем. Ради этих слез и ради всего, что было между нами хорошего, простите меня, моя дорогая, моя светлая Вера. Ждите от меня полного доклада. А сейчас, право, грамматика не дает покоя.

Сообщите свой петербургский адрес.

Ваш всегда А. Л.

Мой адрес тот же. И куда же мне еще деваться?

№ 15

Москва.

8 ноября 1913 г.

Дорогая Вера!

Было бы слишком просто и наивно просить у Вас извинения за долгое молчание. Я знаю, что все это были бы только фразы, терпимые вообще, но неуместные здесь, где мне хочется говорить серьезно. За последние месяцы я сделал много открытий о самом себе, и теперешняя моя жизнь так интенсивна, что это новость даже для меня самого, несмотря на то, что я всегда был, так ск., в движении и не помню себя без дела, без стремлений. Мне пришлось, напр., живо почувствовать, что я люблю фразы, что у меня одним из тайных критериев оценки всего писанного, читанного, сказанного — и у писателей, а самое главное, у себя самого — оказалась риторика, пышная, возвышенная риторика, откуда и идут все мои радости и все страдания. Но риторика эта — сама по себе она безвредна — оказалась, как я теперь убедился, сросшейся со всей моей душой. Дело в том, что занимаюсь ли я Платоном, даю ли пятак нищему, пишу ли кому-нибудь письмо (о дневниках я уже не говорю), люблюсь ли тургеневской Лизой¹, молюсь ли Богу, — всегда я вожусь с самим собою, всегда люблюсь самим собою, играюсь со своими переживаниями, как какой-нибудь фронт смотрит в зеркало на свой новый сюртук и удивляется, как хорошо он на нем сидит. Как будто бы это и не такая уж вещь, чтобы я не мог от ней избавиться? Вот в том-то и дело, Вера, что из этого индивидуализма, как я теперь установил,

вытекает все мое мировоззрение и, кажется, вся жизнь. Отсюда религия, ибо она ведь построена на культе личности (отдание души своей за други своя невозможно же без создания этой души); отсюда и наука, т. к. только ценящий личность может отдавать жизнь на изучение того, что не приносит сейчас никакой осязательной помощи людям; отсюда и моя жизнь с ее бессонными ночами за книгами, с ее театрами, музыкой Бетховена и пр. Личность, личность и личность. И вот оказывается, что всякое явление внешнего мира, попадающее в мою душу, становится совершенно иным, в переживании я сам создаю его. М. б. это есть прозрение в такие глубины предмета, которые доступны лишь немногим и кот. поэтому всегда вызывают к себе такое скептическое отношение. Может быть. Не знаю. Знаю только то, что с каждым годом, с каждым месяцем я живу все сильнее и все интенсивней. Вспоминаю, как я встречал Пасху и что переживал на заутрени в 8 кл. гимн., на I курсе у-та и на II к. Если с каждым годом будет все становиться так сложнее, как вот эти переживания в пасхальную ночь, то я не знаю, что со мной будет. В среду на этой неделе я вышел с концерта Кусевицкого под упр. Никиша² после 4-ой симфонии Чайковского с очень определенным ощущением, что скоро сойду с ума. Сейчас как будто отошло. Но может быть сумасшествие и будет примирением с природой и жизнью, с которыми я веду всю жизнь борьбу не на живот, а на смерть: хочу познать их. Так или иначе, но мне хочется, чтобы Вы хоть немного ощутили из того, что так переживается мною. Вы тогда бы поняли, что значит женщина для меня и что такое я для женщины. Вам наверное покажется шаблоном и мещанством, если я скажу о своих мечтах, о жизни принцессой Грезой. Может быть Вы и правы. Оспаривать Вас будет бесполезно, т. к. Вы наверно будете приводить доводы рассудка, а я на них ничего не возражу и даже соглашусь с ними, но все-таки думать и жить буду иначе, т. к. не рассудком я Вам должен оправдываться, а чем-то другим, что можно понять только переживши. Поэтому Ваши доводы, несмотря на всю свою логичность, будут неприложимы ко мне. — Так вот, значит, женщина. Я переживаю ее не просто, как вообще человека. Я ощущаю ее. Я чувствую ее. Так когда-то ощутил я Вас. И вечный индивидуалист, вечно копающийся в своей душе, вечно ощущающий женщину, а не только видящий ее обыденными глазами, — этот только что окончивший гимназист писал Вам в своей парходной записке: «Я человек одинокий...» Началось с «я» и кончилось, кажется, тем же. «Я», «я» и «я». Вспомните любое мое письмо, и в этом отношении характерны в особенности первые мои к Вам письма, — сколько там искренности и неподдельного чувства, но... и сколько там «я», сколько всяких украше-

ний, фраз, риторики! Не думайте, что я осуждаю свою риторику. Нет, при чувстве она законна. Я только хочу доказать Вам ссылкой на эту риторику, что жизнь моя сплошная идеализация всего на свете, сплошное украшение всего и самоукрашение, сплошной культ личности, эгоцентризма, самоанализа. И главное всего то, что это для меня предел, его же не преидеши. Измениться не могу. Но привыкши жить наедине с самим с собою, привыкши к созерцанию жизни, я испытываю неловкость всякий раз, как подхожу к ней вплотную, без мечты, наяву. Когда я не видел Вас 2 года, я, можно сказать, временами жил Вами. Письма мои к Вам давались нелегко. Любое из них потребовало у меня 2-3, а то и больше часов только для того, чтобы просидеть за столом за их составлением и переживанием каждого написанного в них слова. Но вот я увидел Вас наяву, не у себя дома за письменным столом, не в письмах, а на трамвае, в вестибюле общежития... Я смутно дотрагивался до Вас, как бы желая удостовериться, Вы ли это. Порой казалось, что это то же далекое, молодое, тихое и прекрасное счастье на море в 1911 году. А порой... порой казалось, что у меня уже нет Веры, нет веры... Есть какой-то чужой мне человек, какая-то незнакомая мне женщина. Где же Вера? — думал я, проводивши Вас 1 янв. на вокзале. А на душе такое было настроение, что сейчас бы вот и бросился к этой незнакомой женщине, уехавшей из Москвы, умолял бы ее, чтобы она стала опять Верой, опять той, далекой, близкой, моей. Что делалось все то время со мной, — я и не берусь описывать. Пришла Масленица. Вопрос стоял все тот же: где Вера, куда она делась? — Вот она, сказал внутренний голос однажды на Масленицу в Петербурге, указавши на одну знакомую моего товарища... Голос этот оказался обманщиком. Верой эта женщина не стала, а настоящая-то Вера, которая в это время все ждала от меня в Петербурге писем и которой я писал не помню уже что, настоящая Вера медленно и торжественно опять взошла на свой прежний трон, и вот к ней-то теперь и обращаются опять мои молитвы. Пожалей меня, не гневись на меня, прими мое покаяние, пойми мою душу, она ведь у меня живая, бьется ведь в ней горячая кровь.

Я совершенно не знаю, то ли Вам пишу, что хочу, и говорят ли Вам что-нибудь мои строки. Но на большее я не способен. Я дождался времени, когда мне покажется, что я вполне в силах Вам все выразить, что хочется. Но такого времени я не дождался, и сейчас пишу Вам как могу. Возможно, что и для самого меня не все еще ясно, почему и нет полной уверенности и в своих объяснениях, но сейчас, повторяю, я так живу интенсивно, что разобраться как следует во всем я никогда не смогу. Да и разобраться в 4-ой симфонии Чайк. — не значит ли это стать Богом? Ну, а мы потому-то и люди, что не Боги.

Вы тогда на Рожд. очень скоро уехали. Вы не дали мне времени стать к Вам ближе. Временами и тогда, а сейчас — при всякой мысли о Вас, я почти убежден, что пробудь я около Вас хоть немного, я бы нашел в Вас свою потерянную Веру и не скучал бы так за ней.

Вы много способствовали моему самоанализу. Впрочем, я уже сказал, что и все так же в жизни действует на меня. Но Вы так подействовали, как кажется никто.

Напишите мне, довольны ли Вы этим письмом. Если нет, то как я могу удовлетворить Вас?

Погрузился по уши в функ<иональную> психологию и почти не ощущаю окружающей обыденщины. Вообще со мной творится нечто новое. М<ожет> б<ыть> это есть то же самое, но в сильнейшей степени? Ничего не знаю. Знаю только то, что кругом нас такие тайны, такие глубины для ума и чувства, что я не хвалясь могу сказать, что о них знают только избранные. Каждый пустяк становится неисчерпаемой тайной. Входя однажды в дом к одному студенту, я встретил на лестнице одну собачонку, грустно сидевшую на задних лапках и грустно смотревшую прямо мне в глаза. Я остановился и чуть было не заговорил с ней. Ведь в этом существе бьется жизнь, ведь и оно полно страшных тайн. Что говорят эти глаза, устремленные на Вас, как у разочарованного человека, сохранившего, однако, нежность и знающего все наши прекрасные земные вздыхания.

Собака, знающая все наши вздыхания... Нет, я и в самом деле с ума схожу...

Ваш, ваш и ваш

А. Л.

№ 16

*Москва.
27 апр. 1914 г.*

Дорогой друг Вера!

Письмо Ваше получил уже давно, но так как время — мой заклятый враг, и в сущности, я уже им побежден, то ответить Вам приходится только сегодня. Из Вашей открытки вижу, что Вы не просто помните меня, но желаете и ближе узнать мою жизнь. Не хочу сказать, что это мне приятно: не стоит говорить о приятности (хотя, впрочем, насколько мне известно, на деле я очень много болтаю об этом). Но хотелось бы просто поблагодарить Вас за дорожку для меня память, — дорожку тем более, что меж-

ду нами тысячи верст, между нашими свиданиями... да Бог его знает, сколько еще пройдет кроме прошедших уже полутора лет? — Дорогая, скажете, память, а сам говорил, что не будет говорить о приятности? — Да, дорогая память, но разве дорого только то, что приятно?

Вижу еще из Вашей открытки, что Вы очевидно не получили одного моего письма, которое было, кажется, последним. Когда именно писал я это письмо и что собственно в нем писал, — не умею сказать точно. Знаю, что после Рождества и что там мне, насколько помнится, удалось дать несколько более или менее точных формулировок своих переживаний, что, как Вы знаете, очень редко удается и вообще, а мне в особенности. Это заставляет жалеть о том, что Вы не получили это письмо. А может быть и получили? Там было что-то о личности, не способной ни на геройский подвиг, ни на мещанское прозябание. Точно не помню, но знаю, что я остался доволен этим письмом, что бывает редко. Если получили, то напишите свое впечатление.

Жизнь моя мало переменилась за последние полгода. Т. е. внешним образом я и не способен меняться, и никогда не думал даже. Книги, театр, концерт, университет и пр. — все это то же. Что же касается теории, то как будто все стало гораздо яснее. Пришел к выводу, что мое прежнее направление мыслей и чувств (т. е. то, которое было до того времени, когда я посвятил Вас в свои колебания) было если не правильным (о правильности трудно говорить в отношении к чувству), то по крайней мере наиболее пригодным для моего жизненного поприща. А колебания были, оказывается, чисто, так сказать, настроительного свойства. Дело в том, что при моем образе мыслей нельзя не терпеть самых ужасных настроений. Конечно, как ни говорите, трудно примириться с этим, в особенности на первых шагах. Ведь причиной же этих настроений является не что иное, как твое же собственно «я» и твоя жизнь. Ну, а обжившись — видишь, что так оно и должно быть. Все дело заключается в том, чтобы при всех настроениях сохранить что-нибудь такое, что было бы источником спокойствия, не мешающего переживаниям и не дающего им дьявольской силы.

Вот, дорогая, и все. Не знаю, как Вам, но мне это кажется приятным и простым.

Интереснее было бы узнать о Вас. Я ведь болтаю Вам все, не взирая ни на неясности, ни на противоречия, ни на риск упасть в Ваших глазах до абсолютного нуля. Расскажите-ка Вы о себе. Вы мне когда-то писали о своих пессимистических чувствах. Есть ли они у Вас сейчас?

Может быть, на пессимизме мы найдем и еще некоторые точки соприкосновения. О том, так ли Вы иногда теперь грустите, как писали тогда, — это Вы мне напишите. А что касается меня, то у меня Бог его знает, пессимизм это или оптимизм. Человек, для которого мечта и реальнее жизни, и правдоподобнее ее — пессимист или нет? — Судите сами. Только, знаете, иногда это грустно. Я сказал: мечта реальнее жизни. Это потому, что ее ощущаешь интенсивнее, чем эту т. н. жизнь. Вы скажете, что сила ощущения еще не есть сила реальности, которая ощущается? Но тогда мы и вообще лишены права говорить о какой-либо реальности, ибо и против Вашего любого утверждения я тогда скажу, что сила Вашей убежденности в нем еще не есть свидетельство для реальности, относительно которой Вы что-нибудь утверждаете. — Я сказал: мечта правдоподобнее жизни. Это потому, что в мечте легче приблизиться к пониманию истинной жизни; поэтому, мечта гораздо ближе к истинной жизни, чем эта «жизнь», и потому правдоподобнее ее. Я уже чувствую Ваши возражения: безжизненная позиция, уход от реальной действительности, мечтательность. Но найдите другую позицию, такую же «правдоподобную» и дающую большую трезвость мысли. Да, да, да! Именно трезвость. Трезв именно тот, у кого мечта реальнее жизни, т. к. он не заинтересован в жизни и может судить о ней более беспристрастно, чем тот, у кого эта «жизнь» — все и кому не дает Бог помечтать.

А впрочем, сам знаю, что моя позиция гораздо безжизненней той, которая была бы, если бы мы жили не мечтой, а уже самой этой жизнью, о которой теперь только мечтаем. Да, это так. Но она жизненней той позиции, которая заставляет жить не той жизнью, а этой, о которой нечего мечтать, ибо она уже есть, подходи и пользуйся.

Положение, конечно, не совсем нормальное, т. к. надо жить, а не грезить. Но в условиях нашей действительности именно грезы — жизнь.

А отсюда ряд любопытных выводов; напр., к женщине относиться как к произведению искусства... Есть что-нибудь любопытное в ее лице, фигуре, в ее переживаниях, мыслях — нравится, созерцаешь. Нет ничего — она для тебя не существует. И самое главное, ничего кроме созерцания.

Если Вы скажете, что все это неестественно, то я, пожалуй, даже соглашусь. Я хочу сказать только то, что к этой позиции привел меня мой опыт. Ведь и раньше, согласитесь, во мне было много созерцательности. Теперь я только осознаю ее и ввожу в нужные рамки свое реагирование на жизнь.

Напишите откровенно, в чем Вы несогласны со мной. Я приму во внимание Ваши советы.

Летом в журнале «Гермес»¹ будет напечатана моя статья о психологии у Эсхила.

До конца мая буду в Москве. Летом хотел раньше ехать на Кавказ, чтобы пройти пешком по Военно-Осетинской дороге. Но на Пасху ко мне приезжала мать, и я почувствовал, что нужно и с ней пожить. Так что в результате еще ничего не решил.

Ваш А. Лосев

№ 17

*Каменская.
22 июля 1914 г.*

Дорогая моя!

Душевно рад Вашей всегдашней памяти обо мне. В теперешние трудные минуты до болезненности остро чувствуется всякий привет, всякое доброе слово. Со мной произошло одно несчастье, которое, впрочем, я уже победил. Но несмотря на это, надо признаться, что времена настали тяжелые, и много надо душевной энергии и вдохновения, чтобы неуклонно нести свое знамя. — Меня же ведь носило за границу. В мае месяце, закончивши свои учебные дела, я поехал в Берлин, в Королевскую Библиотеку, где у меня была командировка для изучения зависимости одного современного психологического учения от схоластической философии¹. Все время жилось хорошо. Первая неделя прошла, конечно, в проглатывании бесчисленных новых впечатлений. Было много пережито нового, много было узнано и из того, что считалось уже известным. Ведь за границу нужно ехать прежде всего для того, чтобы узнать свою родную Россию, т. к. познание всегда возникает из сравнения. Ну, вот и главное мое приобретение было то, что я, как мне кажется, глубже заглянул в наши грехи и наши достоинства под влиянием заграничных впечатлений. Все было хорошо. Работа тоже наладилась довольно быстро, и, хотя пришлось некоторые прежние точки зрения на свою задачу изменить, все-таки положительный результат занятий сказался вскоре же. Но вот, в субботу, 12/25 июля в Берлин пришло известие о разрыве дипломатических сношений между Сербией и Австрией², и, начиная с этого дня, начались такие ожесточенные гонения на русских за границей, такие злостные манифестации с криками: «Долой Россию!» «Долой Сербию!», что оставаться не было никакой возможности. В понедельник 14/27 я кое-как собрался домой,

оборвавши свою работу, для которой требовалось еще недели три, и расставшись с намерением проехать по Рейну перед возвращением в Россию. По всему Берлину и на вокзалах в особенности происходила такая суматоха и так нервно было настроено население, что я до сих пор не могу опомниться от этого упоминания. Ничего подобного никогда в России Вы не увидите. И среди этой суеты, среди этой тысячной толпы случилось одно несчастье, которое очень трудно для меня возместить и с которым мне пришлось много внутренне бороться. Украли у меня небольшой чемоданчик, где кроме только что купленного в Берлине костюма была папка с рукописями моего сочинения, которое я пишу два года и закончить которое приехал в Берлин. Все усилия найти, в вагоне, на вокзале, телеграммы на другие вокзалы, — ничто, конечно, не могло помочь в этом кипящем аду. Пропажа обнаружилась ночью, и до самого утра сильно волновался, обращая на себя внимание пассажиров. Но потом призвал на помощь мою философию, которая меня и спасла. Знаете, несчастье — вещь условная. Оно вполне зависит от нас, от нашей индивидуальности. Несколько усилий над собою, — и счастлив, или, по крайней мере, не так несчастлив. В результате, теперь окружающие меня горюют больше, чем я. Пропало — и пропало! Значит, Богу так надо. А мне что за убыток? Посижу еще год-полтора и, Бог даст, кое-что восстановлю. Разумеется, Берлинской работы не вернуть, т. к. она вся состояла из изучения латинских средневековых авторов-схоластов, которых большею частью нет в Москве³. Не будет ссылок, выписок, переводов. Но последовательность мыслей надеюсь как-нибудь восстановить. Вот Вам и горевать нечего. Начни успокаивать себя, — окажется, что и вправду успокоишься. Да, наконец, что такое пропавшие рукописи? Ведь голова на плечах осталась? Жизнь, которую я отдаю своему делу, осталась? — Ну, так чего же там разговаривать? Ведь и писалась-то работа не столько для каких-нибудь целей, сколько вследствие извечных причин, — искания счастья и удовлетворения, какое может дать земная жизнь.

Так-то, милая Верочка. Послал Бог испытание.

Но этим дело не кончилось. Въехавши в Россию, я как раз попал в первый день мобилизации (17 июля, по стар. стилю) в Москву. Проезжая домой, был свидетелем бесконечных слез матерей, жен, детей. На многих станциях пришлось видеть захватывающие сцены. Кое-как, на пятые сутки добрался до родного Дона, а на Дону ожидали новые слезы и новое горе. Прежде всего, застал мать в слезах. Она, бедняга, думала, что меня уже захватили на границе. Писем она почти не получала от меня; их перехватывали. Посланную мною телеграмму о прибытии в Каменской не получили, вследствие переполнения на телеграфе казенных и частных

депеш. Мать уже отчаялась меня увидеть и только надеялась на иконку Николая Чудотворца, которую она велела мне взять за границу. А тут еще с часу на час ждали извещения о взятии меня на войну; у нас ведь, у казаков, все служат без исключения. Невывишиеся в течение положенного максимума времени — расстреливаются. И этого боялись. Но я явился вовремя, и получил «разъяснение», что «пока» — я свободен; в случае же усиления мобилизации, меня, как казака, могут взять, несмотря на Университет.

По всей станице у нас идет какой-то особенный экстаз, захватывающий старого и малого. Одни плачут, другие поют казацкие песни. На главной площади нельзя пройти от массы людей, лошадей, разбросанных там и сям шинелей, шапок, ружей, сухарей и пр. Поезда ходят раз в сутки; а остальные поезда — воинские. Товаров на станции не принимают. Остается очень мало надежды на то, что оставшийся у меня еще учебный год перед госуд. экзаменами начнется и пройдет спокойно.

А тут крики «Ура», пение гимна и «Спаси, Господи, люди Твоя» — все это воодушевляет, возбуждает. Хочется идти туда, постоять за православную веру, за нашу родную землю. Недаром же я казак. До сих пор казачьего во мне было только то, что в документах значился так. Может быть, теперь и настало время перейти от слов к делу, и именно к такому, открытому, честному, храброму делу?

Не знаю, милая Верочка; самое близкое будущее покажет.

Ваша открытка пришла за день до моего появления в Каменской. Спасибо за память. У нас с Вами были там какие-то споры. Бог с ними. Некогда думать о них. Молитесь за родину, молитесь за нас, казаков. Я предчувствую, что скоро в числе их будет и Ваш философ. Что может быть благороднее, святее пострадать за родную землю, за святую родину? Я покажу моим друзьям и недругам, указывавшим, что философия притупляет силу, что созерцание притупляет деятельность. Я покажу, чему научила меня философия.

Еще раз благодарю Вас, дорогая Верочка. Вы хорошая и добрая девушка. Помолитесь за казака. В эти минуты все умеют молиться.

Пока прощайте. Ваш, Ваш А. Лосев.

ДЖЕВЖУЖ 1914 года

3 янв. 1914 года. Москва.

Суббота, 4 января 1914 г.

Сегодня уже 4-ое, а я еще не начинал своего новогоднего дневника. А за последние дни очень много пережито, и много к тому же надо сводить итоги прошлого года, который открыл мне столько новых чувств и мыслей. Прежде всего начну с итогов. А итоги — с перечисления всех своих «нумеров»¹, которые разбросаны по разным местам и трудны для обозрения.

1. Тогда я был классе в 4 гимназии. У Новосельских в Каменской, стоявших на квартире у наших, была учительница, готовившая детей в Реальное Училище. Присхавши домой с Рождества, страшно скучал по ней.

2. Звать Катюша. В тот же, кажется, год, что и № 1 и в то же Рождество, одна из занимавшихся вместе с Николаем² у № 1. Грузинка. Дочь или крестница Симона Луарсабовича Нацвалова. Видел ее у наших в спальне, где мы трое сидели т<ак> к<ак> в столовой и других комнатах было полно народу. Страшно жалел, что не сошелся с нею, и возлагал все надежды на ближайшую Пасху, но исполниться им не удалось. Это было первый и последний раз, когда я видел Катюшу.

3. Фрида Ганзен.

4. Цецилия Ганзен. Обе милые девочки, выступавшие одна на скрипке, другая на рояле. Тогда в 1906-1907 году они были еще детьми. Теперь же (1913) они, наверно, уже артистки и, наверно, где-нибудь за границей³.

5-14.

15. На станции «Зверевой», когда гулял по станции во время остановки поезда, шедшего из Каменской в Новочеркасск. Это было в конце лета 1908 г. Миленький цветочек! Она стояла на ступеньках при входе в вокзал. Я прошел мимо нее несколько раз.

16. Встречал несколько раз в Кисловодске летом 1909 года. Смуглая, полная и, наверно, очень молодая девочка. Был страшно удивлен, когда увидел ее в Новочеркасске. Она оказалась даже знакомой Влад. Микша⁴. Фамилия ее, кажется, Прозоровская. Почувствовал довольно сильно, что надо любить и забыться в любви, чтобы быть абсолютно счастливым.

17. Младшая из сестер Поповых (не А. Ф.⁵), которая иногда нахально улыбалась прямо в глаза. Встречал почти каждый день идя в гимназию.

18. Встречал утром идя в гимназию. Полтава узнал ее имя и фамилию: Маруся Панкова. Но это по всей вероятности его фантазия.

19. Зинаида Попова. Длинная коса. Когда встречала нас с Левшем, то смиренно опускала глазки.

20. Горничная у Микша. Саша. Пасха 1911 г.

21. Ольга Позднеева⁶. 15 ноября 1909-24 марта 1910.

22. Вера Фролова⁷. Апрель и май 1911.

23. Анна Кочеткова. Весна 1911.

24. Вера Знаменская⁸. Конец июня 1911.

25. Дебора Лурье⁹. 18 и 19 декабря 1911 г.

26. Валентина Алексеева. Лето 1910-1913.

27. 11 июня 1911 г. в поезде от «Минер. Вод» до «Пятигорска». (5-8 1/2 час. утра). В дневнике моем значится: «Высадка в Пятигорске. 8 1/2 час. утра. И “глазки” высаживаются. Находим дрогала. “Глазки” уезжают на линейке, смотря издалека на меня с Крысой, сопровождаемые нашими взглядами».

28. 11 июня 1911 г. На пешеходном пути от Провала до Пятигорска. Одна барышня, вероятно, экскурсантка, со студентом. Крыса сказал: «Бывают же такие люди, что сразу узнаешь их светлый и мягкий характер».

29. Щерковская. Встречал 2 года подряд, обгоняя ее, идущую в гимназию. Под ее знаком был написан мой Апокалипсис.

30. В апреле 1912 г. на трамвае, подъезжая из У<ниверсите>та к Кудрину. Говорили по дороге, разговор сразу обличает начитанность. Девочка лет 16. Проглядывает поразительное для нее знание жизни и какое-то стариковское спокойствие.

31. 29 янв. 1912 г., когда шел с Матвейкой¹⁰ от Спасских ворот до Театральной площади, видел двух молодых барышень, которые, впрочем, «сзади казались лучше, чем спереди». Это нас смешило. Одна была в желтоватом пальто, сзади похожа на японку. Другая — 32 — в черном пальто и белой шапочке.

33. 22 марта 1912 г. в университетской церкви на чтении 12 евангелий и 23 марта в Великую Пятницу на утрени — три гимназистки. Одна маленького роста, в черной шапке с длинными белыми перьями, очень нравилась Матвею, который даже скучал по ней. Вторая — 34 — высокого роста, в серой шляпе; все время разговаривала с 35 — довольно миловидной девочкой.

36. Княгиня Оболенская. Декабрь 1912, январь 1913.

37. «Канцелярская барышня». Апрель, май 1913.

38. Хорватка. Зима 1912-1913.

39. Антонина Андреевна Попова. Понаслышке знали друг друга давно. Познакомились в начале августа 1913 г.

40. Гимназисточка, которую встретил 19 сентября 1913 г., идя домой с Тверского и расставшись с Поповыми.

41. Вера Суханова.

42. Елена Житенева¹¹.

9 марта.

Почему мало получаю писем? Ответ Попова.

Настроение под Новый год было неважное. Много было перечувствовано за праздники, много надежд, еще больше разочарований. К Новому году я подошел как будто усталый от своего нуля, но как будто с какой-то громаднейшей потенциальной энергией, для которой нужен только незначительный, но попадающий в цель толчок, чтобы я мог опять подняться до своих ноябрьских созерцаний. День 31 декабря был солнечный, что не давало настроению пасть совсем. Вечером пришел ко мне Александр Позднеев¹, тоже какой-то усталый и разочарованный. Он ведь уже давно жаловался на нервы. Кое о чем поболтали, немного о музыке, немного о философии. Очевидно, мы с ним пережили в жизни что-нибудь приблизительно одинаковое, т. к. он сразу со мной согласился в таких пунктах, как мое учение о мироощущении и о «психологичности» настроений. Во время разговоров с ним я был вызван к телефону нашим сумасшедшим философом Успенским. Он и сестра приглашали встречать Новый год. Надо сознаться, что Владимир Иванов, несмотря на всю свою театральность, иногда хочет и может доставить приятное. Так, приглашая меня встретить Новый год и зная мою застенчивость, он приятно поразила меня знанием одинокой жизни и ее интересов. Я на всякий случай узнал, как проехать к нему, но положительно не обещал. Александр же меня окончательно разубедил, проведя такой аргумент, как расстояние Лефортовского дворца от Грузин. Я решил не ехать и уже сидел после ухода Позднеева за випперовской Историей Рима. Но смотрю — в 9 час. — не знаю уж, какими это только судьбами, звонит ко мне Елена Евдокимовна². Приглашает приехать сейчас же. «Зачем?» — коротко спрашиваю я. — «Встречать Новый год. До свидания». — Я начал сейчас же собираться и через полчаса был уже на Остоженке, конечно, не для Елены Евдокимовны — что пользы ей или мне от этих свиданий? — а просто для того, чтобы встретить новый год хоть приблизительно так, как все, не за книгой. Приезжаю, конец репетиции³. Потом разговор с той самой особой, которую я видел на Донском вечере. Ее зовут Александра Николаевна. Она оказалась довольно занимательной — не то девицей, не то дамой, Бог ее знает. Спро-

сильно не ловко. Только когда я в числе многих пожеланий преподнес ей и хорошего жениха, то она задала мне такой вопрос: «А почему вы думаете, что я незамужем?» Так я и не узнал, что это за особа. Весь вечер был с нею. Вся публика, которая только обращала на меня внимание, наверное, думала, что я за ней ухаживаю, что ею увлечен и т. д. Но я просто был рад месту, чтобы не стоять одному столбом среди залы и чтобы как-нибудь загасить свою тоску по Люсе. Кстати, эта Александра Николаевна оказалась посещающей музыку и вообще довольно думающей, так что с ней можно было поговорить, не то, что остальная публика, милая, добродушная, но ... нечего ей сказать и услышать от нее что-нибудь. Подсел и Базилович. Сначала он уходил, потом я его оставил. Наболтавшись вдоволь с Алекс. Ник., я подошел к прошлогодней фрейлейн Анне Андреевне⁴, с которой и завел обыкновенный разговор, скоро впрочем перешедший на тему об Елене Евдокимовне и потому ставший для меня интересным.

Вторник 6 янв. 1914 г.

Разговор этот был интересен в том смысле, что дал мне основание думать о гораздо более близком отношении Елены Евд. ко мне, чем это мне казалось. Анна Андреевна все нерасположение и всю холодность Елены сводит, в конце концов, к двум причинам: ее молодость, легкомыслие, веселость и болезнь, постоянная изнурительная лихорадка, заставляющая ее часто быть очень раздражительной. Как бы то ни было, но ведь мне-то все равно один и тот же результат: она насмешлива и холодна. Я сказал фрейлейн прямо, что мы с Еленой совершенно разные натуры, что ей надо одно веселье и что мне ничего не останется, как свести все к нулю, что я и сделал. Нуль, нуль, нуль... После фрейлейн, которая все время не переставала меня утешать, подошел опять к Александре Николаевне, с которой и сел за стол встречать Новый год. Новый год встретили с шампанским и с тостами. Глупо все вышло. Я пожелал Елене Евдокимовне позолоченного болванчика, на что она, несмотря на всю свою находчивость, ничего не нашлась ответить. После встречи Нового года играли в почтальона. Я, сидя с А. Н., получил письма, из которых одно гласило: «Если нуль остался, то еще не все пропало. Все пропадет, когда и нуля не останется». Неважно было на душе после этих слов, хотя Е. Евд. и сама мне их повторила.

1-го янв. 1914 года ездил сначала купить билеты в Нар. дом себе и Поздневу на 3-е число на «Снегурочку». Потом репетиция у Житеневых. Играли прескверно. Елена Евд.<окимовна> при прощании долго и очень пристально смотрела прямо в глаза.

Впрочем, если бы ее спросить, зачем она это делает, она сама, вероятно, не сумела бы ответить.

На другой день, 2-го, был вечер. Пусто было на душе. Все время был то с А. Н., то с М. Н. Кларк, сестрой фон-Эдинга¹. Кира Михайловна произнесла фразу, которую следует записать: «Вы очень распустили Елену Евд<окимовну>. Сначала она была под Вашим влиянием, а теперь опять Вы ее распустили». И вообще Кира все знает великолепно. «Ваша вера требует жертв», — сказала она мимоходом. Да и все, не исключая даже тетки и дядьки, осведомлены во всех подробностях.

Итоги за 1913 год.

Начался год под эгидой Елены. 12-го янв., день написания характеристики, был прототипом всего последующего романа. На Масленице был у Микша в Петербурге, где написал письмо О. Е. Криндач о подвиге в красоте. Результаты были вдвойне неудачны. Во-первых, Криндач не ответила и я остался с носом; во-вторых, на меня напал Микш, разругал за невыдержанность и назвал письмо искусственным. И вообще посещение мною Микша принесло мне много раздумий над той резкой критикой моего поведения, которую преподнес мне Микш. Но настроение после Криндач несколько дней было все-таки хорошее. Пост прошел в занятиях, рефератах и экзаменах. Весь пост, кажется, не видал Люсю, но часто говорил по телефону. Во вторник на Страстной получил очень хорошее настроение от Люси после разговора по телефону, и настроение это захватило все время на Страстной и на Пасхе. Время покаяния и молитв, время надежд на «лучший, неизменный свет» — поддерживалось Люсей, дававшей силу и воодушевление. Люся была далеко от меня во дни св. Пасхи, но моя душа жила с нею, молилась за нее, жила ею. Прошла Пасха и начались испытания. Прежде всего стали очень много отнимать времени приехавшие Власовы, так что нельзя было держать экзаменов. А тут Люся опять резко ко мне переменялась, стала холодной. Быть может, она и всегда такой была, да только я все воображал. Как бы то ни было, но уехал домой с расстроенным сердцем и помутившимся умом. В Каменской ждала меня комедия с братцем². Пришлось писать письма Надежде Уваровой, почти в том же духе, что и Криндач. Параллельно шли воспоминания при встречах с Алексеевой. Когда уехала Уварова, приехала тетя Женья³, с которой до второго приезда Уваровой (в июле) уже успело случиться нечто вроде маленького романа. Милая тетя Женья прельстила меня своей скромностью, и я отдыхал от великосветской козы, причинившей мне майскую трагедию. С Уваровой пришлось дела мало-помалу ликвидировать, тем более что и кузен

прямо безумствовал по поводу моих отношений к ней. В Новочеркасске выпала неделя в августе, которую я никогда не забуду. Милые девочки, Мира, Таня, Женя Немечень заставили забыть на время тягость и мелкоту нашей жизни. Приехавши в Каменскую и потом в Москву страшно скучал. В Москве ждали меня сентябрьские экзамены. До 20 октября крепился и не ходил к Житеневым. 20-го пошел — и начались ноябрьские парения. Счастье, музыка, красота без конца в ширину, без измерения в глубину. К концу ноября почувствовалось понижение курса, и весь декабрь все шло прогрессивно на убыль, вплоть до 21 декабря, когда после одного посещения Люси я решил прекратить с ней свои прежние отношения. Новый 1914 г. наступил при отчаянных сопротивлениях постигшим страданиям. А наступившие в январе экзамены и напряженный труд за ними тоже взвинчивали нервы, которые стали успокаиваться только к Масленице (9-16 февр.).

Воскресенье. 19 янв. 1914 года.

Пишу сюда после почти двухнедельного перерыва. Настроение от Люси почти угомонилось. Странная вещь — настроение. Впрочем, подробнее напишу завтра. Накопились кое-какие мыслишки о чисто-психологическом происхождении всякого настроения. Пока запишу о той красоте, которую послала мне сегодня судьба пережить. Это — во-первых, «Зоренайда» Свендсена¹ на утреннем концерте и, во-вторых, самое главное, вечером — концерт Марто², на котором были исполнены три исключительные по красоте вещи: Скрипичный концерт Мендельсона, Скрипичный концерт Бетховена³ и Чакона Баха⁴. Был с Манохиным и Жеребцовым. Удивительная, поразительная красота. Наряду с темой 1-ой части шубертовской h-moll⁵ и некоторыми другими любимыми моими мотивами теперь станут еще и след.:

Концерт Бетховена



Концерт Мендельсона:



Суббота. 15 февр. 1914 г.

Так прошло уже больше месяца после ликвидации моего московского романа. Перед самой масленицей, числа с 7 февр. настроение стало улучшаться. Экзамены немного взвинтили нервы. А тут воспоминания... И на масленице настроение все время было довольно даже веселое, кроме 13 и 14 февраля. 13-го перед вечером сделалось скучно. Хотелось новую девушку и новых песней. Красивых чувств, чуждых реальности, и беззаботного самозабвения на лоно этой свежей и нетронутой красоты хотелось склонить усталую голову свою. Пошли было с Манюшкой¹ в Художественный театр, а потом в Большой, но нигде билетов нельзя было достать. Так не удалось прогнать тоску искусством. После нашей неудачи М. пошел куда-то к девицам, а я тосковал-тосковал, и зашел к декану². Декан был со мной довольно весел. Все время болтал о Бубличках и о Люсе, что мне разумеется очень было по сердцу. И вообще нельзя скрыть от себя, что у меня на душе происходят самые благодатные проявления, когда декан с проректором³ начинают строить какие-нибудь предположения о будущем для А.<лексея> Ф.<седоровича> и Е. Евд.<окимовны>. Они и сами в это будущее не верят. Еще меньше верю я, так как убедился, что такой характер, как у Люси, может принести мне только страдания. Но когда слушаю их мечтания, то я отбрасываю всякую реальность и погружаюсь в одну мечту. Да и зачем мне реальность? Мечта не нуждается в осуществлении. В ней, как и во всех иллюзиях, плохо то, что она может разрушаться. О, если бы жить одной мечтой и избавиться от этого проклятого тела с его желудком и похотью. Вот поэтому-то и нравятся молоденькие, нетронутые создания. В них мало материи, они заставляют забывать действительность, дают отдых.

Вчера 14-го был утром у Зимина на «Демоне»⁴. Странное впечатление вынес я после этой оперы, которую вижу уже в 4-ый раз. Впрочем, надо отметить и постороннее впечатление, которое было, может быть, не менее действенно, чем сама опера. Прежде всего, перед нами с Поповыми сидел целый ряд маленьких девочек, один вид которых всегда вызывает во мне экстра-нежные чувства. Это раз. Затем, какие-то неясные и туманные, но грустные ассоциации связывались с голосом Кошиц⁵, певшей Тамару. Потом, воспоминание о лермонтовском «Демоне», о гимназии, где я его впервые изучал и где придется его преподавать вот этим девочкам. Таким образом, едва ли было много эстетики в моих переживаниях от «Демона». Было много очень близких сердцу воспоминаний и мечтаний, которые или были неэстетичны, или, если эстетичны, то не непосредственно от «Демона», а потому, что и вообще я уже давно привык жить не реальным, а опозтезизи-

рованными чувствами. Это замечательная вещь. Если здесь и не поэзия, то во всяком случае у меня всегда созерцание настроения. Это не просто принятие во внимание того или другого чувства. Это сознательный и бессознательный саморефлекс, который не думает, например, так анализировать чувство, чтобы его разрушить. После такой рефлексии чувство не уничтожается, а увеличивается. Так, чем больше я на этих днях думаю о тете Жене, тем она как будто становится все ближе и ближе. Иногда начинаешь какое-нибудь письмо с холодным сердцем, а после того, как просидишь над ним часа 1 1/2-2, — создается настроение, о котором и не думал в начале письма. Что это? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что и в первом случае и во втором происходит, конечно, почти всегда бессознательно, созерцание настроения, которое переделывает реальное чувство, очищает его, приводит, так сказать, к одному знаменателю, словом, поэтизирует его. И вы получаете новое чувство, по существу уже несущее немало эстетических элементов; и его-то вы и принимаете, по неведению, за реальное, и удивляетесь, откуда оно у вас могло получиться.

Да, без сомнения. Я мало живу реальными чувствами. Такая вот поэтическая грусть и была 13 и 14 февраля вечером. Надо теперь подумать над след. вопросами:

1) Стоит ли культивировать в себе эту поэтизацию мыслей и чувств и какие она несет выгоды и невыгоды поведению, мировоззрению и отношению к людям?

2) Все ли мысли и чувства у меня поэтизируются, или есть такие, которые недоступны поэтизации?

3) Когда и при каких условиях поэтический саморефлекс развивается быстрее и плодотворнее (с своей точки зрения)?

4) То же ли самое этот поэтический саморефлекс с словесным самогипнозом, отмеченным мною уже несколько раз раньше?

5) Не стоит ли этот поэтический саморефлекс в связи с общим моим индивидуализмом⁶, и нельзя ли тогда этот последний охарактеризовать как психологический, а не мирозерцательный, индивидуализм настроения, а не философствующей мысли?

Воскресенье 16 февр. 1914 г.

Нет, все-таки можно забываться от тревожений жизни. Вчера, придя в Институт, на испытание к Веревкину, я случайно присутствовал при осмотре нашего Института психиатрами с Рыбаковым¹ во главе. Целых 3 часа Георгий Ив.² водил всех по зданию и объяснял приборы. Целых 3 часа внимание мое было устремлено на научные открытия и изобретения, и реальная жизнь не вспоминалась совсем. Я вспомнил незабвенные ноябрьские дни, когда я выходил в 4 часа из Института после погружения в науку, и выходил только для того, чтобы вспомнить свою милую Люсю,

свою небесную любовь, столь же далекую от земли, как и функциональная психология. Да, надо жить наукой. Ею можно жить. Не ей одной, это правда. Наука без искусства и без любви — уродство. Но, с другой стороны, что же такое искусство и любовь без науки?

Наука без искусства — созерцание предмета познания издали, «сквозь зеркало, как бы в тумане», по выражению Апостола³; здесь непобедимая дистанция познающего и познаваемого. — Искусство же и любовь без науки — порывание без осознанной цели, утомительный бег на месте.

Хотелось бы изложить свое настроение по поводу «Демона», которого я слушал у Зимина утром 14 февраля. Демон Рубинштейна — романтик. В нем много мечтательности, даже нежности. «На воздушном океане»⁴ -- помимо сильных изобразительных элементов подкупает своей искренностью и пантеистичностью, которые невольно привлекают на память мелодии Чайковского и Римского-Корсакова.

Воскресенье, 2 марта 1914г.

Уже несколько дней стоит чудесная, солнечная погода, хотя и немного холодноватая. Утром было хорошее настроение, когда спешишь на уроки к своим ученицам. Хорошие у меня девушки. Чувствуется в них что-то семейное, простое. Как все-таки я люблю спокойную, семейную жизнь, теплый угол с деятельным, энергичным, немного строгим, но любящим отцом и с бесконечно-доброй и преданной своему делу матерью... Эх, никогда не придется жить так, спокойно и твердо идя к своей цели. Нет, я чувствую, что мне предназначены вечные скитания по институтам и по театрам с целью найти в них счастье, вечное искание той Люси, небесной, вечные порывы и одинокая жизнь. Вот мать на днях пишет, что трудно прожить без женской ласки, но что надо быть менее серьезным и более обходительным... Ах, как все это неприятно звучит! Быть менее серьезным? Что это значит? Отказаться от науки и от музыки и исповедовать все это только на бумаге? Полноте, мама, этого ли вы мне желаете? Вы сами не знаете, какого зла вы мне пожелали. Так вот и все. А мать уж наверное любит меня больше других. Что же тогда должны сказать другие?

После урока спешил в Художественный Театр на «Николая Ставрогина»¹. После хорошего весеннего настроения пришлось окунуться в эту страшную, беспросветную трагедию человеческой жизни с отчаянной борьбой добра со злом. Целых 5 часов прошло в этой густой атмосфере трагических изломов души человека и беспощадного изображения пасынков культуры (и, кажется, русской) на великолепной сцене.

Было несколько моментов, когда я начинал чувствовать эту зияющую пропасть изуродованных человеческих душ, но как-то пугливо старался отделаться от них, чему помогало еще весеннее настроение, которое и победило трагедию, но зато и само к 6 час. вечера перешло, ни больше ни меньше, как в тоску по Люсе, или, может быть, еще по кому-нибудь. Мне так хотелось в эти первые дни новой весны прижать к сердцу чистую, добрую девушку, вдохнуть в себя счастье от нее и быть навеки с ней неразлучным. Почему-то думалось, что это Елена. Даже странно. Нервная, злая, больная девчонка, и...

Стал стареть. Об этом недавно писал, между прочим, тете Женне. Стал стареть, конечно, не в смысле упадка сил — я чувствую в себе никогда не прекращающуюся энергию и с большой неохотой ложусь спать, покоряясь необходимости; конечно, и не в смысле упадка чувства — роман с Еленой перевернул всю мою душу, а весна и теперь захватывает не менее прошлогоднего. Но стал уже несомненно стареть для девиц. Я и никогда не был для них ровней. А теперь и вовсе первая встречная до последней смотрят на меня, как на старшего, как на дяденьку или на учителя. Да я ведь и правда-то, только и знал все время, что проповедовал. А кому это приятно? Да, уже не всякая назовет Алешей. Нет, тот, у кого усы и борода, и кто любит Бетховена и Вагнера², тот уже не Алеша, а Алексей Федорович, несмотря на то, что этот А. Ф. в 20 лет стал чувствовать более ребенок и более стал непосредственен, чем в 15 лет.

Вот трагедия моей жизни. — Трагедия ли? — спросил вчера Попов. Да, конечно,

*«... в знакомой, но тайной стране
Погибшее нам возвратится...»³*

Эту веру я готов запечатлеть чем угодно, но для этого надо быть пессимистом по отношению к земле и в одиночестве ждать лучшей жизни. Вот я и пессимист, вот и одинок.

Последние 2-3 недели увлекался Байроном. Странное совпадение и — à propos — совершенно случайное. Мой вновь открытый пессимизм и увлечение Байроном. Если бы кто читал мой дневник, пожалуй, подумал бы, что я увлекаюсь байроновской разочарованностью, его безотрадной пессимистической трактовкой всего мирового и человеческого. О, нет, не этим увлекает меня Байрон. Я, если и разочарован в чем (что еще может вызвать сомнения), то не в том, в чем он, и не так, как он. Не в том — т. к. я полон надежд, и не так — потому что мой Бог ближе ко мне, чем его — к нему. Увлекает меня этот культ безграничной, свободной, красивой, титанической человеческой личности. Увлекает меня этот

опьяняющий пафос его пламенных речей против мещанства. Увлекает меня этот бурный океан, имя которому гений, который волнуется и свищет на своем собственном просторе, эта клубящаяся туманность, от века подвижная, от века величественная в своем грандиозном движении и вращении. Вот что такое Байрон. Поистине нет гения без свободы и красоты. Свобода есть условие силы, а красота — условие ее нежности. Бетховен, Вагнер — вот еще два мира, в которых мне пришлось почувствовать этот гигантский, титанический порыв в вечности. Порыв и прорыв в нее. Мне даже кажется, что в этом и состоит жизнь гения. Все время при мысли о волнуемом океане гения вспоминаю слова Мендеса⁴ о посещении им Вагнера. Да, гений всегда гений. И несмотря на свою особенную божественную печать, он все-таки цель для нас, а уж давно учитель.

Как это для меня понятно. Не знаю, были ли эти мысли о гении у меня раньше. Если и были, то теперь они имеют у меня новое содержание, новое — после Вагнера и Байрона.

Счастливые вы, избранники человечества! Скорей ли вы нашего идете к божеству, или вы уже раньше нашего двинулись в этот путь, двинулись где-нибудь на Марсе, или на Сириусе, но вы наша гордость, и только в вас успокоение тем, которые, как вы, одиноки в своих мыслях, но которые слабее вас, боги, пророки.

Забиться бы в ваших творениях и — сбросить бы с себя пошлость для божьей жизни, для небесной.

Наверно, бедно и наивно. Но, Господи! Как это ново и как это чувствуется!

Пятница. 7 марта 1914 г.

При чтении «Портрета Дориана Грея»¹ заметил след<ующее>.

1. Надо проследить те мимолетные отзывы, которые дает Холлуорд о Генри в течение разговоров («Я думаю, и сам-то ты не веришь тому, что говоришь» и т. д.), 35, 38, 43, 81

2. Античные элементы в красоте Холлуорда («Гармония души и тела» Саблин 32 стр.). «Мы потеряли абстрактное чувство красоты», 33, 45, 71.

Среда. 12 марта 1914 г.

Теоретически всегда я относился очень радужно к тому взгляду, что любовь или то, что так называется, очень полезна для философии. Но фактически, в настроении эта мысль приобретает новое содержание, и вся она вообще кажется новой, хотя теоретически я всегда ее исповедывал. Так, напр., вчера и после вчера, т. е. 10 и 11 марта я вновь восчувствовал... любовь?.. Разве я люблю Люсю? Люблю?.. — Странное слово. Но положим, что это любовь, хотя, разумеется, это будет произвольная предпосылка

для дальнейших размышлений. Ну, положим, что это так (ведь не для семинария же Щербины¹ я пишу этот дневник). Если это так, то вот именно 10 и 11 марта были отмечены особенно высоким повышением самонаблюдения, так что если не для философии, то во всяком случае для психологии любовь дает неоцененные блага. Прежде всего, отмечу происхождение чувствований 10 и 11 марта. Дело в том, что еще составляет очень большой вопрос, что имеет большее значение для происхождения чувства, — внешние ли обстоятельства или психическое нарастание чувства под влиянием хотя бы представлений. Если я начинаю думать больше о Люсе, тем больше я начинаю чувствовать. Внешним образом ничего не изменилось, Елена так же далека от меня, как и всегда. А вот пришел Базилевич, рассказал о своем субботнем посещении Житневых, и — поднялись во мне старые эмоции, заставивши вновь пережить всю эту трагикомедию. Базилевич много и подробно рассказывал о Бубличках, о Марусе, о Зое, об Елене и пр. Все это заставило опять окунуться в ту самую атмосферу, которая дала мне столько счастья и несчастья.

Приходится сознаться, что к этим чувствам присоединилось еще одно, которое для меня представляет, кажется, загадку, но которое очень действительно. Я уже писал об опозитизированных чувствах. Все они не только не доставляют страдания, но, кажется, даже приятны. Кажется? Во всяком случае, большая доля приятности тут есть. Но горе в том, что бывают и неопозитизированные чувства страдания, и вот тогда-то уж, действительно, не до поэзии. Ближайший прежний раз этого страдания без поэзии был, конечно, 20 и 21 декабря 1913 г., когда пришлось ликвидировать свой полуторамесячный обман. А потом -- это случилось как раз 10 и 11 марта. Дело в том, что в понедельник 10 марта, вечером, был у меня Базилевич. В конце концов он позвонил к Елене. В телефонной будке стоял и я. Когда Елена услышала, что кто-то есть в будке, то, конечно, спросила, кто это. Базилевич выпалил. В ту же секунду Елена сказала: «Ну, пока до свидания». Этого никто не заметил, т. е. того, что Елена это мне утирала нос, но я почувствовал очень сильно. Я к ней не обращался с января месяца. Но ей все-таки и в этом случае, т. е. когда я к ней не обращаюсь, удалось утереть нос мне, что, дескать, не нужен ты мне, все равно мне, что ты такое. Ну, скажите, что это было у меня за чувство? Самолюбие, друзья мои, самое настоящее уколотое самолюбие!.. Раньше я скрывал все это от себя. Но зачем старался это делать, — не знаю. И если сознаться, то несмотря на разные мои идеальные (скажем) порывы, а с другой стороны, правда, несмотря на все видимое «равнодушие» Елены, наши отношения все время состояли в том, что мы старались утереть друг другу

нос и показать, что каждый из нас самостоятелен и независим от другого. И это даже в ноябре, несмотря на весь пафос, исключая очень немногих минут. Никогда не была пробита эта стена: боязнь надежд своим присутствием (т. е. боязнь опять за то, что кто-нибудь когда-нибудь, где-нибудь уколет самолюбие) и желание везде остаться самовольным, не поступиться своими взглядами. Ну, хоть бы на минуту. И вот возникает вопрос, если это действительно самолюбие, то как его согласовать с идеальностью? Или это может быть не самолюбие, или какое-нибудь особое самолюбие, гордость что ли какая-нибудь? Раньше я все время эти мучения приписывал всецело идеальному характеру своих устремлений; но теперь благоразумие и справедливость заставляют сознаться. Что это такое, действительно ли самое простое, обыкновенное самолюбие? Ведь это же мещанство, сводящее всякую идеальность к нулю. Или это что-нибудь лучшее? Факты таковы: после каждой моей неудачи у Елены, после каждого «укола», у меня всегда гордое стремление уйти от Елены, уйти от ее общества и, даже больше того, отойти вообще от человеческого общества, закопаться в себе. Как квалифицировать эти факты? С другой стороны, желание закопаться в себе, уйти от общества (а в этом и можно только видеть действие самолюбия) бывает у меня и от других причин. И в них есть столкновение с людьми, но здесь уже не только то имеет значение, что люди тебя не понимают, а то, что один в поле не воин, что перед тобой стоит стена, которую не пробьешь даже ценою своей головы. Так, получивши один раз неприятные известия о наших семейных событиях в Каменской, я, тогда зубривший сравнительную грамматику, нарочито закапывался в нее, чтобы не думать о своих несчастьях, чтобы заслониться от них печатной книжкой. Что, тут тоже самолюбие?

Вопрос о самолюбии и гордости — основной вопрос моей натуры. Не стоит ли он в связи с индивидуализмом, или, лучше сказать, с эгоцентризмом? Ведь раз личность прежде всего, то на первом плане, конечно, и переживания ее. А раз хоть немного личность становится в конфликт с обществом, то значит и гордых страданий в ней должно быть много. Не знаю, впрочем, чем вызываются во мне эти мысли: 1) стремлением ли к самооправданию, 2) привычкой мыслить или, лучше сказать, так плохо мыслить или 3) действительным положением дела.

Потом к этой же области принадлежит и вопрос о восприимчивости, о впечатлительности, который, впрочем, очень трудно отделить от мнительности.

Так, посмотревши недавно у Базилевича на великолепно исполненный портрет Байрона, который представлен там редким красавцем, я так заинтересовался им, что, несмотря на свои многочисленные занятия, стал его читать и изучать пособия о нем.

осень, вся пропитана этими лучами. Можно бы было, если бы луч шел прямо, уже собранный, уже указывающий непосредственно на свой источник. И тогда бы наша жизнь была абсолютно темна, абсолютно бесцветна. Но судьба устроила иначе. Я сейчас не нахожу ни одного луча, но все лучи рассеяны по нашей жизни; их нельзя увидеть прямо, ибо они не в одном месте, а везде. И жизнь становится уже не абсолютно черной, а сероватой. Она вся однообразна, вся одноцветна. И слышатся сквозь однообразный шум монотонной жизни эти ритмические волны той музыкальной темы. Слабо доносится до уха, привычного к одному тону и одному шуму, и порой как будто даже сливается с этим шумом. Глаз не видит ничего, да и ухо улавливает слабо и с трудом. Орган восприятия этого мира иную лежит где-то в груди, а может быть, он разлит по всему телу так же, как разлиты и эти лучи по всему миру нашей тоски сумерек.

Странно. Иногда ведь видишь прямо лучи. Сейчас только серость.

Можно ли быть счастливым в этой жизни? Можно ли иметь и другую душу, которая бы слилась с твоей, которая бы...

Проживешь свою недолгую жизнь, все грустя и все ища. И чего бы в сущности надо еще? Вот грусть, тоска, осень. Счастливы лишь тот, кому в осень холодную грезятся ласки весны. А начнешь думать, чего же надо душе, она и не в силах ответить. Она знает, что есть счастье, знает, что этого счастья ей надо. Но, если дано всю жизнь искать и грустить, то захочет ли она противиться этому, захочет ли наперекор этому найти счастье и жить им сейчас, раньше положенного. Нет. Есть красота в этом искании, и ею да спасется человек!

Сейчас на душе много. Тут нельзя написать и миллионной доли. Но завтра Новосадский¹, потом ученицы, потом заседание. И т. д. И т. д. И т. д. Жизнь разрушает настроение. Люди обвор<ов>ывают меня. В тишине, в глубине души я дохожу до получения откровения. А выйди на свет, выйди к людям...

Что это, люди ли злы, мое ли настроение неустойчиво, или просто все это — и люди и мои переживания — только мое воображение, игра фантазии.

Сейчас иду на Реквием Моцарта². Просил-просил Попова со мной. Конечно, не захотел пойти. А мне будет грустно ходить одному. Там будет много гимназисточек. Они веселы и счастливы. А я один все тоскую, все грущу по ним, по их светлым душам.

Суббота 12 апреля 1914 г.

Нет, трудно писать дневник. Пишешь ведь тогда, когда не живешь. Вагнер удивительно хорошо говорит о своем искусстве, которое бы он променял все целиком лишь на один, единственный

день жизни. Ведь это когда нет простора для жизни, — углубляясь в себя, копаешься там, далеко и пишешь об этом копании. А разве до писания, до анализа, когда ты живешь, когда у тебя зарождается, развивается и падает чувство само собой, автономно, непосредственно. Вот не писал в дневник целый месяц. И твердо знаю, почему. Было чем жить, помимо дневника.

А теперь, значит, нечем?..

Не хочу отвечать на этот вопрос. Попробую-ка рассказать кое-что из события 23 марта, которое никогда не выйдет у меня из памяти. Это был день торжественного открытия нашего Института, в котором я работаю уже два года¹. 23 марта — это было воскресенье перед 6-ой неделей Поста. Половину пятой и половину шестой недели я жил исключительно Институтом; думаю, что немало было и других членов Института, которые в эти дни совершенно ничем не занимались, кроме как Институтом и его открытием. А воображаю, что переживал Георгий Иванович²! День 23 марта был замечательный. Я его даже записал как первый весенний. Было до 400 человек гостей, все самая интеллигенция. Торжество открылось молебном и освящением здания. Затем в большой аудитории ректор читал речь об открытии Института, о трудах Челпанова, о культурном значении дара Щукина³. Читались адреса от нас — Челпанову и Щукину. Потом — чтение многочисленных приветствий от разных ученых учреждений, обществ, частных лиц, от⁴

Четверг. 17 апр. 1914.

И теперь все каждый день несет переживания. На чем? От Вундта, Штумпфа, Марбе¹. Было так хорошо, так радостно на душе. Увидал-таки Введенского². Массивная стройная фигура. Ни одного седого волоса. К нему надо присмотреться, чтобы увидеть пожилого человека. Я вертелся все время около него, разглядывая этого любопытного человека. На другой день — показывание Института. Опять почти целый день в Институте. На третий день, 25 марта, опять показывание Института. Так прошло три дня, посвященных целиком психологии и Психологич. Институту. И вся эта неделя, половина 5-ой и половина 6-ой, была как в чаду. Ведь по сравнению с этой обыденщиной и мещанством всякая наука и искусство — чад. Теперь мы видим все в зеркале, как бы в тумане. Будет время, когда увидим все лицом к лицу.

И что можно тут описать этими жалкими словами!

Целый век пишешь и читаешь, а ведь нет врага больше, как язык и слово. Что такое слово? Тургенев сказал: «Нет ничего сильнее и бессильнее слова». Что слово — сильно — да. Но что оно — и бессильно — в этом трагедия всего моего писательства.

Потом наступила Страстная неделя, — время, которое в особенности бывает богато у меня переживаниями. Стоит отметить еще (до Страстной) мое посещение Житеневых в Вербное воскресенье. В этом году был у Житеневых: 2 янв., 9 февр. и вот 30 марта. Видал, наконец, и Елену. Она пополнела и похорошела. На душе был нуль, т. е. ощущение нуля. А больше, слава Богу, ничего. А то ведь Бог знает, что могло быть.

Говенье началось обычно. Университетская церковь. На душе довольно покойно. В четверг должна была приехать мать. Ожидание ее было довольно сложно. Во-первых, ждал мать; во-вторых, ждал обыденщину, которая вторгнется в говенье и разрушит его. Так и вышло. Дождался и того, и другого. Милая, добрая мама и — такова уж судьба — плохое настроение на пасхальной заутрене. Идя к заутрене, мать очень устала и была недовольна. Ее плохое и капризное настроение расстроило меня и впечатление от заутрени пропало почти целиком. Дивный момент появления крестного хода в храме при пении «и судим во гробах...» только и напомнил о той святости и безмятежности, которыми должна бы быть полна душа, да которой и была полна в прошлом году. В этом году не получилось. И досадовал на это ужасно. Тем более, что придя домой почти не разговлялись, т. к. не было самовара. Пасха Христова и — самовар! Ну разве же это не наказание Божие? Совершенно пропало всякое настроение, и ничего не осталось, кроме досады не то на обстоятельства, не то на отсутствие у себя самого выдержки и твердости. Потом я писал тете Жене письмо, в котором выражал те немногие минуты во время пасхальной заутрени, когда и у меня на душе был светлый праздник, когда раз и я чуть не заплакал. Но... я писал ей только это. Я не писал милой тете Жене о самоваре...

Первый день Пасхи до 2 час. дня вполне соответствовал этому «самоварному» настроению. Шел дождь и снег, и только порой пробивалось солнце, правда, уже довольно теплое. В 1 час дня я поехал к тетке с визитом. Елены и Авдошки³ не было. Уехали в Урюпин⁴. Был, значит, у тетки. К моему полному удивлению и полной неожиданности тетка похристосовалась со мной. Я в смущении чмокнул три раза в ее пухлые щеки. Теперь уж не сумею передать того чувства, которое было у меня после христосования. Хотелось написать ей письмо, хотелось сказать ей, что у нее есть подлинная, настоящая душа, которую обыкновенно не видно сквозь светский тон, но которая и в нем иногда светится. Ведь тетка Маша⁵ такая всегда добрая и любезная. Правда, иногда только она пугает какой-то отчужденностью от меня. Так, в Вербное воскресенье, когда Елена хотела удержать у себя мою фотографию, она посоветовала ей отдать эту фотографию мне и больше не просить. И сделала это втихомолку от меня, хотя я все

заметил. Не хочется думать, что это настоящая тетка. Нет, настоящая тетя Маша та, которая соблюдает христианский обычай на Пасху вопреки светскому тону. Настоящая тетя Маша та, которая бывает добра и ласкова. На первый день хотелось ей все это написать. Но всякая проза жизнь, а страсти и поэзия ее заслонили эти чувства к тетке — другими чувствами, и вот теперь, 17 апр., когда я регистрирую эти чувства в дневнике, они уже не те и их трудно изобразить хотя сколько бы нибудь адекватно. Произвели еще свое неизменное впечатление мои маленькие кузины, которые игрались со мной, вырывая у меня записную книжку и бия по рукам. Наколоти пасхальную булавку, которую я буду хранить как драгоценность.

Да! Забыл еще упомянуть об утрени в Успенском Соборе, которую мы отстояли с мамашей в пятницу под субботу. Пение Синодального хора вызвало сложные ощущения. «Непорочные», которые я за три часа до того слушал еще в Университете, в исполнении Синодального хора оказались глубиной никак не меньшей, чем тот знаменитый лейтмотив Зигфрида⁶. Не хотелось анализировать. Вспоминаешь — и только. Любопытно еще и то, что при воспоминании эта утренняя производила гораздо большее впечатление, чем при слушании. Это было и с операми Вагнера.

Спешу еще раз отметить тот факт, что высшая точка наслаждения есть уже не наслаждение. По отношению к церковному богослужению этот последний термин применять кощунственно. И в печати я бы никогда его не употребил. Но ведь мой дневник все равно никто не читает, а сам-то я уж наверняка знаю, что в моих устах это не кощунство, а исповедь. Так вот если что-нибудь нравится, то при возрастании впечатления оно нравится больше; при еще большем впечатлении — нравится еще больше. Но это так только до известной степени. При известной силе впечатления, — оно перестает нравиться. Переживание, которое имсешь в этом случае, выше всяких категорий «нравиться» и «не нравиться». Кажется, если это не словесный самогипноз, что такая степень переживания предмета была у меня на этой заутрене под субботу во время пения Синодального хора и обноса плащаницы вокруг собора с зажженными свечами, под перезвон на колокольне Ивана Великого. А еще больше при воспоминаниях обо всем этом.

На третий день получил от тети Жени такое письмо, что его стоит занести сюда в протокол.

«4 апреля. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Хочется писать вам, писать и писать... Забудьте первое рассудочное письмо, забудьте все мои рассуждения. Слышите, я понимаю музыку, нет, не понимаю, я ее чувствую... Душа, сердце, любовь, жизнь — все в музыке. Любовь та, о которой вы писали, любовь высшая, небес-

ная, и любовь земная. Все в музыке. Что бы были люди без музыки? Тело без души. Пусть я не умею ясно объяснить музыку, но я ее чувствую. Сейчас пишу вам, а во мне все пост, все звучит в тон музыке. Кругом меня носятся звуки, звуки веселые, звуки печальные, звуки неясные... милый... далекие... Люблю музыку. Музыку стиха, музыку природы, музыку всю. Кажется, все бы отдала, чтобы играть самой хорошо! Эх, да куда я годна! — Слушаешь музыку — и отлетает, отлетает все земное, житейское, все мелочи, вся пошлость. Душа очищается и стремится туда, вверх, к Неведомому, к Неизвестному. Куда делись все эгоистические расчеты, все пошлые стремления! Есть ли, нету ли Бога, но сейчас веришь, что он есть, что Он должен быть. Зачем все рассуждения и доказательства! Если почувствуешь, что Бог есть, то какими же жалкими кажутся все эти попытки людей доказать Его бытие: если не веришь, то этими доказательствами не докажешь, ибо они слишком отвлеченны, слишком незначительны. Верю ли я? Я не знаю. Иногда кажется, что да, — особенно, когда я бываю среди природы или слушаю музыку, — а иногда нет. Вечно проклятые вопросы! Теперь я полюбила ходить в церковь, — раньше я почти не ходила. Пойдешь в церковь, станешь в уголок и думаешь. Какое-то особенное чувство охватывает, и кажется, что где-то здесь близко, ведь, есть что-то Высшее, доброе, лучшее. Не может человек жить без веры. Кажется, вот-вот отдашься этому чувству, вот-вот уверуешь сильно, страстно, а тут подоспеет холодный рассудок... Ничего не знаю, да и не буду знать! А музыка звенит, льют звуки, поют, убеждают. Какой отдамся любви, земной или небесной?... Или никакой?... Не хочется ни думать, ни рассуждать... Я стала будто моложе. Пошлю, может быть, маленькую карточку. Вы увидите, какая я стала теперь. Ну, прощайте, славный, мой добрый друг. Женя».

Не хочется ничего добавлять от себя. Вот такая у меня тетя Женя! В ответ ей я послал 45 страниц.

Понедельник 21 апреля 1914 г.

«Что имеем не храним; потерявши, плачем...» Ужасные слова! В них кроется один из пунктов моей трагедии. На эту тему думал вчера, лежа в постели после доклада Столпнера¹ и сегодня, когда доставал билет на Тангейзера². Попов³ натолкнул на эти мысли. «Избаловали вас женщины, сказал он; К вам они так и льнут, а вы на них нуль внимания. Когда же с вами случится что-нибудь подобное, а женщина к вам не очень, то вы уж Бог знает какую трагедию строите». Что, если верно?

Нет, едва ли верно. Когда же ко мне льнули так женщины? В-первых, с ними это случается не часто. В-вторых, если льнуть значит иногда построить глазки, то ведь не об этом же речь. А

что они дали мне кроме глазок? Мечты? Ах, позвольте, позвольте! Ведь прежде же всего постоянно слышишь, что мечты — это только игра моей фантазии, только нечто психологическое, не имеющее объективного основания. Моя фантазия? Значит, мое творчество. Где же тут заслуга женщины с вашей даже точки зрения, господа скептики? А затем, сколько разрушали женщины мои мечты, которые возникали благодаря их же собственному появлению? — Нет, в моих мечтах женщины повинны гораздо менее, чем мое, ну, если хотите, творческое «я», а если не хотите, то весь уклад моей натуры. Что же остается на долю женщин, встреченных мною на жизненном пути, помимо страданий, доставленных мне ими и помимо тех пустопорожностей, каковыми они меня награждали? Остаются немногие минуты сладких иллюзий, а если не иллюзий, то пусть настоящего счастья, однако не проверенного и не выдержавшего еще жизненный искуc. Да. Вот что и значит твое, Александр Федорович³, «льнули». Но вот еще, что главное. «Льнуть». Разве это существенно для той любви, которой я добиваюсь? Пусть они даже льнули и пусть они всегда льнули ко мне. Разве этим измеряется взаимная симпатия и ответное чувство? И разве я (а ведь про меня же он говорит, что я строю себе трагедию в случае неуспеха) разве я-то льну? Существенно понимание души человека. Вот этого-то понимания... — нет, куда там уж понимания? — этого-то желанья понять я встречал очень мало. А сам вот всегда лезу на роожон, все хочу понимать чужую душу. Ну, вот тебе полез на рожна и напоролся на Еленку.

Впрочем, здесь в дневнике, кажется, вышло гораздо смелее и определеннее, чем я на самом деле думаю. Кажется, я не совсем уверен в несправедливости Попова...

Кажется... Эх, пирронист⁴ поневоле! Все тебе только «кажется»!...

Тетя Женя писала: любовь небесная и любовь земная. Что она понимала под последней, — для меня неясно. Но о первой, мы, кажется, согласны. Конечно, земная любовь есть и для меня. Но я признаю ее как известное отражение той — в условиях нашей действительности. Попытаюсь формулировать эти две любви.

Тезисы практической гинекоcофии⁵.

(Исповедь журавля в небе, не довольного синицей в руках и не желающего стать таковой в чужих руках).

I.

ЛЮБОВЬ есть взаимная диффузия двух душ, познавших смысл вселенского всеединства и свою взаимную предназначенность к оному.

II.

ДУШИ соединяются в любви для взаимодействия, взаимосо-
зерцания, взаимоблаженства.

III.

ОБЪЕКТИВНОЕ основание этого взаимосращения душ есть ипостасность Божества. Ипостасный Бог, являющий своим ипостасным единством идею всеединой вселенной, которая объемлет-ся в понятии синтеза свободы и взаимодействия, взаимодиффундирующих материально, есть в то же время и предвечный образ единения душ, как в смысле гармонизации формальной неоднородности, так и в смысле материально действенной и усвояемой абсолютной индивидуальности.

IV.

СТРЕМЛЕНИЕ к любви есть стремление к утраченному единству, почему оно и есть космический процесс.

V.

Определяемое материально, космическое в любви есть восстановление творения и твари, стенающей по тому абсолютному счастью и ведению, утратой которого поражен по крайней мере тот уголок вселенной, который приютил нас. Абсолютное же счастье есть вечная жизнь и радость о Духе Святе.

VI.

Единство формальных и материальных признаков космического начала в любви заключается в победе над смертью и ограниченностью человеческого рассудка, достигаемой гармонизацией женского и мужского начала, предвечно данной в ипостасном единстве Божества и еще раз материально, специально для нас, детей праха, подчеркнутой в союзе небесных Жениха и Невесты, Христа и Церкви.

VII.

Всякая и всяческая частица земного бытия таит в себе два момента: 1) динамический, поскольку она живет приближением к миру иному, которое проявляется в бесконечных формах и масштабах, и 2) статический, поскольку каждая такая частица, несмотря на связь с мирами иными, относительно довлеет себе и имеет самостоятельную ценность в своей неизменной устремленности к божеству. И в любви есть своя динамика и статика.

VIII.

В человечески-психологической транскрипции божественно-логической динамики любви центральное место занимает порыв и томление духа по абсолютной жизни. Статический же элемент вносит компенсирующее усвоение земной действительности, противопоставляя порыву в вечность — сознание временности этого мира и возможности созерцательного, хотя и любовного, прохода через него, приившего тоску о нем, но очищающего себя от грехов его.

IX.

Немного тех, которым ясна тайна любви от начала. Еще меньше тех, у которых эта тайна осознана. Но еще и еще меньше тех, кому эта тайна открывается чисто-человеческим способом — путем проникания в глубину своего эмоционального опыта и вглядывания в мистическую мглу своей души. Однако последний способ, как чисто-человеческий, доступнее нашему анализирующему веку, чем подготовка себя к непосредственному озарению свыше. Для этого последнего, т. е. для трансцендентного откровения, мы слишком мало подготовлены. Но имманентное откровение, психологически транскрибируемое как самонаблюдательное узрение объективно-конститутивных моментов переживания, — удел гораздо большего числа, чем думают.

X.

Анализируя конкретное переживание, мы должны прежде всего выделить все побочные элементы, как в логике мы выделяем все, что не относится к переживанию смысла или в эстетике — что не относится к специфически-художественному восприятию. Так, мы выделяем элементы самолюбия, элементы, имеющие лишь случайную связь с объектом, элементы чисто- и внешне-эстетические и пр. Остается то зерно любви, которое может быть и не встречается в чистом виде, но без которого нет вообще никакой любви. Это зерно и есть то, что в своем динамическом аспекте есть порыв к единству, побеждающему смерть, неведение и несчастье, а в статическом — созерцательное отношение к миру, через который мы проходим, отношение тоскующее, но удовлетворенное.

XI.

Узревший тайну любви в идее всеединства знает, что такое он, человек, и куда он идет. Неслиянное и неразлучное существование мужского и женского начала становится для него пределом, его же не преjdeши. Это не есть его абсолютный произвол (т. е. утверждение в любви как единстве), т. к. не он это установил. Но

это так же мало и абсолютная покорность. Для произвола — это самоутверждение слишком соответствует воле Божества; для покорности — слишком воле человечества.

XII.

Но человек, пришедший в мир, в мир, который во зле лежит, не может быть причастным насквозь этой небесной любви, частично ощущенной им в глубине своей души. Человеческая душа тоскует по своей небесной родине, но она в путах зла. Отсюда любовь на земле есть подвиг.

XIII.

Любовь есть подвиг, ибо

- 1) она есть познание себя и чужой души, и перегородки между познающим «я» и познаваемыми «я», как своим, так чужим, — бесконечны;
- 2) она есть алтарь, на который приносятся в жертву все эгоистические расчеты, а они почти всегда победители и очень редко жертвы;
- 3) она вообще зовет к совлечению греха, ибо цель ее безгрешная и бессмертная индивидуальность, а кому не известен аромат греха?

XIV.

Узревший тайну любви не может не знать, не может не принять этой тайны, не захочет не принять ее. Но принять ее — значит стать подвижником. В этом трагедия наших вздыханий о горнем мире. И избавиться от нее можно только двумя путями: 1) Когда одна душа нашла свою душу, и земные условия, то сопротивляясь этому, то способствуя, на деле только возвышают этот союз; и 2) Когда человек отказался от лицемерия настоящей тайны любви и предался тому, что составляет только ее земную оболочку. Т. к. первый путь бывает редко, а второй есть отказ вообще от любви, то трагедия остается.

XV.

Душа, идущая в мир, несет в себе бесчисленные потенции, которые при известной комбинации могут оказаться родственными другой душе. Только сродные души и могут срастись, т. е. обрести себя в любви.

XVI.

Найти свою, родственную душу — трудно, — в условиях нашего земного неведения и нашей связанности материальными

узами. С другой стороны, ошибиться в найденной душе, т. е. признать ее за свою, в то время как вовсе не твоя — опасно уже потому, что совершенные на основании этих ошибочных мнений поступки могут в своих последствиях помешать потом и новым исканиям *своей* души и вообще новым молитвам к Богу. Отсюда — осторожность прежде всего, если бы только этот термин не был отягощен различными ассоциациями о мещанстве.

XVII.

Но и эта осторожность таит в себе глубины сатанинские. Ведь можно совершенно вытравить в себе то, что выше было названо тайной любви, если она была достигнута (впрочем, это означало бы только неполное достижение); можно не культивировать это в себе, если его нет. Тогда действительно будем осторожны. Но не это есть осторожность. Это есть отказ вообще от действия в любви, это есть отсутствие внутренней жизни этой любовью.

XVIII.

Истинная осторожность есть полнота (возможная, конечно, ибо абсолютная возможна только при исключительных условиях), есть полнота переживаний любви, но полнота, не пытающаяся строить объективного моста между небом и землей при первой встрече с женщиной, а остающаяся при своем созерцании и чающая жизни будущего века.

XIX.

Неизбежно, поэтому, личность, узревшая тайну любви, останется мечтательной и для нее многое будет противоположно, чем непосвященным. Неизбежно, это будет человек настроения. Неизбежно он будет символист — и в жизни, т. к. явления ее будут только символами высшей жизни (а конечно, женщины прежде всего), — и в искусстве — по той же причине.

XX. (XXV)

Для него мечта реальнее жизни.

XXI. (XXIII)

Мечта не нуждается в осуществлении.

XXII. (XXIV)

Женщина, как и все в жизни, издали кажется лучше. Поэтому будем смотреть на нее издали.

XXIII.

Мечта не нуждается в осуществлении, т. к. осуществление ее наполнило бы всю жизнь, а результат был бы все равно меньше, чем в мечте неосуществленной.

XXIV.

Издали женщина лучше. Ибо вблизи несущественные подробности разрушают впечатление от общего. И как бывает часто, что не видишь за деревьями леса!

XXV.

Мечта реальнее жизни, ибо она ощутимее, чем серость жизни. Ведь в жизни мы гораздо чаще ощущаем пустоту, чем содержание. Мечта же по существу своему есть содержание, т. к. мечтать о ничто значит не мечтать вовсе.

XXVI.

Мечта не только реальнее жизни, но и правдоподобнее ее, т. к. она несравненно лучше отражает высший мир, к которому мы стремимся, чем отражает его эта наша земная юдоль.

XXVII.

Любовь есть искусство — при каждом новом объекте чувствовать себя так, как будто бы это первая любовь.

XXVIII.

Любовь при множестве объектов может нарушаться только временными промежутками, самое же это множество объектов не нарушает единой любви.

XXIX.

Любовь есть стремление. Стремление есть познание. Значит, любовь там, где есть что познавать. Если объект исчерпан для тебя, то не надо притягивать познание за волосы. Любовь к тому объекту, в котором уже все исчерпано для тебя, есть или привычка или неспособность иметь самую обыкновенную фантазию.

XXX.

Идеализация в любви и даже те мимолетные грезы, которые слетают к нам при встрече с прекрасной девушкой, — едва ли это простое идеализация, т. е. простое выдумывание. Не есть ли это откровение мира иного. Может быть идеализирующий-то и увидел вещи в их настоящем бытии, которое не доступно всем прочим

людям с их привязанностью к житейской прозе и неспособностью к этой «идеализации».

4 мая 1914 г.

Жаркий день. Утром был у учениц. Хорошие девочки. Водили меня гулять в сад, где было много тюльпанов и зелени. Жень Гайдамович¹ была все время очень любезна. Ласковая и добрая она девушка, но мне не ее хочется... После урока поехал туда, чтобы узреть то, чего мне действительно хочется. Люси мне хочется? Увы, да. Вообще с ней дело что-то затянулось. Пора бы уж и со сцены. Правда, никто так быстро не сходил со сцены, как К. Ш. Но этого я и не хочу. А сошла бы просто поскорее. Н. Ув., правда, еще не совсем сошла, но хоть бы так уж была Елена, как сейчас Надежда Ув.

Так или иначе, а сегодня шел с вполне сознательным желанием увидеть свой предмет. И что же вы думаете? Прихожу, — нет никого дома, кроме Нины. Нина — это такой икс, который требует очень многих уравнений для своего решения. Сначала разговор не клеился, но потом кое-как наладился. Говорили об «Елене Евдокимовне», почему она перестала быть для меня «Люсей», говорили о моей прошлогодней характеристике, к которой Елене угодно было так грубо отнестись; говорил я о загадочности натуры Нины, об ее глазах и пр. Разговор перебила тетка Маша, которая пришла с детьми из Зоологического сада. Обедали. Потом я ушел. Грустно на душе. Теперь ведь Елену не увижу уже до осени. Легко сказать — «страданье в разлуке есть та же любовь»...

Не понимаю, чего надо этой моей бессознательной темной бездне. Я вот скучаю по Елене, хочу ее видеть. Можно сказать, это страданье. Но ведь сколько же раз было так, что девушка к тебе со всей душой, а ты... ты опять страдаешь, но страдаешь уже не от любви, а от скуки. Неужели красота любви только в искании ее, только в процессе преодоления препятствий?

Из своего опыта приходится выводить, что любовь обуславливается почти исключительно чисто-психологическими причинами. Неужели она диктуется только известной душевной организацией?

Грустно все-таки. «И будете два в плоть едины...»² Нет. Наша жизнь — сон³, и во сне-то мы все рвемся, все никак не можем успокоиться. Ведь опасно успокаиваться-то. Не значит ли это — умереть?

Берлин. 9 июля (26 июня) 1914 г.

Не писал в дневник еще с Москвы. С тех пор ушло много времени. Во-первых, увидел Берлин¹; во-вторых, познакомился с Хвостовской и фон-Бреннером. Эти 2 пункта я, вероятно, буду

очень долго анализировать, т. к. их сложность очень и очень велика.

Т. к. сегодня как раз произошел разрыв и, по-видимому, окончательный Софи и дяди Илюши, и мне пришлось вести с первой очень откровенный разговор, то я начну не с Берлина, а лучше с этой тифлисской пары.

Познакомился я с ними в вагоне, в который я сел в «Александрове». Т. к. мой голод до женщин продолжался и после Варшавы, то, увидевши в своем купе молодую девушку, я поспешил стать ближе к ней. Против нее (они сидели у окна) оказался какой-то господин, говоривший не то хриплым, не то басовым голосом, почти все время шутивший с своей собеседницей. Не знаю, с чего начался разговор. Но первые темы были по поводу немецкого начальства, которое приходило отдавать наши паспорта, взятые русской полицией на границе, и осматривать багаж. Все мы смеялись, изучая немецкие порядки и обычаи, и знакомиться было, конечно, очень легко. Кроме того, собеседник, оказавшийся потом дядей Илюшей, был очень разговорчив и любезен, как и всегда, так что мы с ним, сидя рядом, очень скоро разговорились о науке, об университете, об учительстве и пр. Я скоро узнал, что он учитель, директор коммерческих классов в Тифлисе, узнал, что он едет в Тифлис лечить глаза. Девушка все время была не очень разговорчива, отчасти уклончива. Я продолжал некоторый эксперимент. Уйдя как-то из купэ, я оставил на лавке эстетику Гамана². Девушка уж, наверно, думал, заинтересуется, ну, мол, и как же она потом со мной заговорит? Как потом сказал мне Илюша, она тотчас же бросилась посмотреть на книжку и была очень удивлена. Они оба приняли меня за комми. Завязавши потом разговор с ней, я не нашел следов знакомства с тем, что я читаю книги по эстетике. Она была очень осторожна. Потом она неоднократно говорила: «Я очень тактична». Я это понял в особом смысле и записал в свою записную книжку, где у меня для Софи особая графа.

Был интересный момент ночью. Заспорили мы с будущим дядей Илюшей о различии психологии и физиологии. У него оказался типичный материалистический взгляд, по которому что же и изучать-то в психологии, если выбросить из нее мозговые процессы? Я привел кое-какие аргументы против. Он стал извиняться. Я, мол, рассуждаю по своему крайнему разумению, и в психологии — профан. Софочка хотела вступить или нечаянно вступила одной фразой: «По-моему, тоже физиология нужна для психологии». Я постарался локализовать это замечание, разделяемое, конечно, и мною. Так прошло время до утра. Еще стоит отметить тот факт, что Софочка почему-то упорно не хотела воспользо-

ваться для спанья моим пальто, которое все время предлагали мы ей с дядей Илюшей. Упорно не хотела. Уже тогда воздвигалась «стена», о которой еще будет речь потом.

Утро принесло новые сведения о Софочке. Она оказалась «чудной музыкантшей» (по выражению дяденьки), оказалась понимающей музыку, знающей много из нее. Когда я с ней стал говорить о Вагнере, о Бетховене, о Скрябине, для нее это оказались давно знакомые имена. И сразу пришлось убедиться, что она в музыке кое-что понимает. Кроме того, узнал, что она окончила естественный факультет в Лозанне. Об Илье Яковл. нового не мог узнать. С этими знаниями о своих новых знакомых я лег в Берлине в *Alexandra-Hotel* и встал потом, через несколько часов, чтобы идти гулять по Берлину. Судьба устроила так, что я без всякого уговору встретился с ними в коридоре.

Так мы пошли втроем путешествовать по Берлину.

27 мая 1914¹.

Ходил в Институт и отдал ключ. Ходил к Павлову, который сегодня едет за границу. Он обещался меня встретить в Берлине. Посоветовал мне какого-то г. Риббентропа, который м. б. мне полезным при пользовании, напр., Кор. Библиотекой.

Ходил с ним в Соед. Банк. Оттуда приехал на Остоженку к тете Маше. Она, бедная, сидит одна в доме, хотя и, по обыкновению, в корсете. Детей, говорит, вчера отправила в деревню. Осталась одна с Авдошкой, которого, конечно, целый день нет дома. Ко мне она была очень любезна. Господи, когда же я узнаю, ам-плау это, или настоящая искренность.

В 6 1/2 час. урок у учениц. Последний урок. Я-то думал еще после занятий устроить как-нибудь одно заседанис, чтобы проститься с ними. Но они вероятно в этом не ощутили потребности. Расстались вчера довольно холодно. Хотя и любезно. Все дело в том, что можно быть любезным к человеку и — все-таки не прекреститься, когда узнаешь об его смерти.

После учениц — симфонический концерт в Сокольниках². 1 и 2 симфония Скрябина и 3 соната³. Вторая симфония меня очаровала. Это невероятная сложность. Хотя и чувствуются какие-то сверхъестественные нервы, какие-то потуги, нервные порывы. Это не бетховенский порыв и не вагнеровский. Для первого у Скрябина не хватает созерцательной сгущенности, для второго — определенной волевой целенаправленности. Дух человеческий витает в творениях Скрябина, или, лучше сказать, мечется по поднебесью, и, кажется, он еще не на небесах. Заключение второй симфонии говорит о каком-то примирении, это какой-то гимн, торжественный, законченный по своей устремленности к прославляемому

предмету, но дух попадает в эту просветленную и титанически-примиренную сферу как бы случайно. Он и сам об этом не думал. Посмотрите, как в последней части плачет флейта. Вот как будто все человеческое существо уже направилось к небу, вот оно его достигло, но если бы не эта флейта! Она звучит на тон ниже устремившегося целиком оркестра. Опять нет ни бетховенского созерцания, ни вагнеровской воли. Есть скрябинский мятущийся дух, который мечется по поднебесью, который порой, кажется, на своих нервах взлетает куда-то выше небес, но опять это все-таки не небеса, и с страданием узнаешь, что быть выше неба значит быть ниже его. Скрябин весь мечется, порой любитесь своим мятением, но чаще воюет решительно со всей вселенной, упиваясь борьбой, наслаждаясь головоломными скачками через препятствия, он весь — гроза, вулкан, бунтующее море, непрерывная прихоть обваливающихся скал. Едва ли для такого духа есть Бог и небеса. Нет, стремясь к Богу вечно, стремясь так головоломно, стремясь с таким всеразрушающим экстазом и с такими невероятными электрическими токами во всем своем существе, — он уничтожает Бога-Успокоения, Бога-Промыслителя. В конце концов узнаешь этого Бога. Его приходится писать с маленькой буквы. Этот Бог — человеческое «я», человеческий дух, для которого — вихрь его переживаний есть алтарь, а жертва — его связь с космосом и жизнью.

У Бетховена нет бога, у него есть Бог. Он его утверждает своим созерцанием, в котором могучие порывы духа гармонизированы слитостью с Божеством. У Вагнера есть Бог. Он Его утверждает грандиозностью и величием духовного подвига, духовного прорыва в небеса. Мы не видим, сливается ли у Вагнера человек воедино с Божеством, но мы видим, что ради этого Божества дух человека способен на всяческий подвиг. Дух человека у Вагнера самостоятельной, чем у Бетховена. У Скрябина нет Бога. У него есть дух — и вселенная, где этот дух мечется.

Когда покупал билет на концерт, то узнал, что продавщица билетов заметила меня на прежних концертах. Это хорошая барышня. Она мне очень внимательно говорила: «Тот билет, который был у вас в прошлый раз, теперь стоит 75 коп. Вы тогда сидели и хорошо было видно, возьмите и теперь».

Хорошее чувство проскользнуло у меня в душе. И пожалел, что 29-го надо уезжать и что этот концерт — последний, на котором я могу быть и видеть девушку, столь необычно (для меня) наблюдательную. Это-то и есть настоящая любовь, когда не думаешь ни о том, кто она и что она, ни о прошлом или будущем, когда хочешь только одного взгляда, когда счастлив от одного молчаливого пожатия руки. Может быть, это и есть та единственная, настоящая любовь, которая возможна на этом свете. Конечно

но, настоящая любовь, сращение душ, но что если она недоступна на земле? Тогда эта любовь, эта жажда одного взгляда, одного знака любви, — тогда это и есть единственная, благородная, воистину небесная любовь на земле.

Почему я должен ехать? И почему я не могу еще пережить этот огонек? В наших проклятых условиях этот огонек в моей душе все равно бы потух; я не надеюсь на вечность. Но почему же он должен потухнуть раньше, чем обстоятельства заставят его потухнуть. Я тушу его сам, уезжая из Москвы и переставая посещать Сокольники. Я вина этому. Я ли? Хочется сослаться на судьбу. Но... тогда судьба же и послала этот огонек...

После концерта встретился с Софьей Александровной, третьей ученицей (она не держит экзамена). Она была с отцом. Добрая девушка. В конце концертов она относится ко мне лучше всех учениц. В ней меньше поэзии, но больше искренности.

Приехавши с концерта — писал о феноменологии красоты, и произошло, кажется, откровение через Гуссерля⁴. Кажется, я понял его феноменологию. После стольких переживаний заснул уже утром, когда на дворе было совсем светло.

30 мая 1914. 11 час. вечера.

На железной дороге от Минска к Варшаве. Писал в записную книжку. Переписываю сюда в Берлине 13 июля (30 июня).

Нет, мне не суждено достигнуть той любви, к которой воздыхает душа моя. Нет, земная действительность против всего этого. И остается мне идти в учителя, учителя женской гимназии и нести туда святой огонь вдохновения, нести завет истинной любви и братства. Ведь жениться мне... Жениться? Нет, этому никогда не бывать! Нет, брак может быть только романтическим. На другой я не способен. Порой мне кажется, что в будущем как-нибудь представится возможность оправдать женитьбу на не-идеальной девушке. Но стоит только задать себе вопрос, как этот теоретический компромисс возможен и как он произойдет, — совершенно ничего не понимаю.

Пойду я куда-нибудь в глухую провинцию, в какую-нибудь захолустную гимназию, женскую гимназию, и буду там всю жизнь, всю свою жизнь, — большую или небольшую, — буду разделять с милыми девушками то, чего достиг мой дух в своем уединении, буду говорить о правде, о красоте, — и вот будет мое счастье и мое земное дело. Воспитать новых людей, впитать в себя их душу и вдохнуть в них свою, жить одною жизнью с ними, идти к красоте, к красоте уже действия, а не только созерцания, идти вместе с

молодыми, нетронутыми душами, у которых нет прошлого, у которых все в будущем. Кажется мне, что не для науки я создан, я создан для важного дела воспитания и перевоспитания человека. Пусть через несколько тысяч, сотен, а может быть и просто через несколько лет разрушится наш клочок в безграничной вселенной, пусть погибнет и культура, ради которой я, как это может показаться, и хочу работать в качестве учителя, пусть. Но не для видимых благ, не для материальной культуры я хочу работать. Я хочу и буду работать для того, что неразруσιμο, что дает жизнь о Духе Святе и что заставляет нас с воодушевлением восклицать: Горе имеем сердца! Вот эту-то искру заронить в сердца и вот тут-то поработать... Господи, даже голова кружится от той бездны дела, которая меня ждет. Прочь от всяких условностей, прочь от мнения толпы, и туда, туда, к этим невинным сердцам, молящим о защите, туда к этим далеким, провинциальным гимназисткам, к этим забытым культурою жизням. Видал я этих гимназисток во всех концах России, в Новочеркасске, в Москве, в Златоусте, в Минске, -- все они одинаковые, одинаково-наивные, и все еще светлые души. Надо иметь мужество и умение не потеряться в своих суждениях об их отдельных качествах, надо взглянуть на них сверху, издали, чтобы сравнить с другими людьми, посмотреть на них так, как смотрим мы на исторические эпохи, -- и они представляются в самых чистых и добрых сердцах. К этим же душам. Туда, туда. Только бы Бог помог.

Берлин. 11 июля (28 июня) 1914.

Сейчас пришел в Библиотеку, а на душе вовсе не наука. Сидя в трамвае, видел сейчас такую красоту, какой уже давно не приходилось созерцать моему утомившемуся взору. Чудная, дивная женщина... Она дождалась вместе со мной трамвая на Wittenbergplatz. Мы сели в вагон вместе. Красота была недалеко от меня. Повернувши голову, я мог спокойно видеть эту германскую фигуру, эту классическую строгость лица. Несколько раз я посмотрел на нее. Она была строга, горда, прекрасна. Что может быть лучше для женщины, чем строгость и гордость? Несколько раз посмотрела на меня и она... Но один раз... один раз я был пронизан ее взглядом, как электрическим током. Я до сих пор ощущаю эти глаза. Это была сила, прямо физическая. Я замер, буквально замер. Захолонуло, что называется. Все куда-то исчезло, и трамвай, и мои бумаги, и мостовая, на которую я стал бессмысленно смотреть. Забыл окончательно все, а был как будто погружен в какую-то невиданную атмосферу, в какие-то пронизывающие токи. Да, это вагнеровская красота. Это не красота наивных девочек, которых я тоже очень люблю. У милых девочек все так просто, невинно, поэтично. И с ними я люблю мечтать,

люблю созерцать их простые души, прозрачные детские души, не знающие ужасов и трагедий нашей жизни. Но сегодняшняя моя красота — другая. На красоте моих девочек и моих чувств к ним трудно построить жизнь. Строить жизненный корабль для житейского моря нельзя такими нежными, поэтическими ручками. Ими, этими невинными ручками, этими девственными грудями, этими милыми личиками можно упиваться, можно через них видеть подлинную красоту, красоту горнего мира, и мне, искателю жемчуга, конечно, это наиболее доступно и наиболее просто. Это тоже, конечно, трудно, т. к. и здесь, у этих милых девочек, уже иссякает красота, уже и они в наше время начинают мещански жить так рано и так безвозвратно. Сегодняшняя моя красота — другая. Сегодняшняя моя красота — красота Вагнера, красота, в которой мир спасается любовью и Бринхильда¹ добровольно и подвижнически возвращает кольцо Нибелунга Дочерям Рейна². Это красота подвига, это красота знания жизни, это та античная красота, которой не хватает только этих сегодняшних глаз, вырвавших меня из этой жизни, чтобы покорить каждого из смертных. Отчего я не сошел с трамвая и не пошел за этой красотой? Отчего я теперь никогда не увижу это воплощение вагнеровской мечты? Приди ко мне ты, неизвестная, ты, прекрасная! Освободи меня от плесени жизненной. Твои электрические глаза способны на какой угодно подвиг; мы с тобой вспыхнем яркой двойной звездой и осветим окружающую тьму. Прожить несколько мгновений вместе, полюбить до внутреннего прозрения красоты, полюбить и умереть вместе, умереть красивой смертью, умереть с дорогим именем на устах. Господи, голова кружится от того счастья, которое может быть. Мы явились бы перед нашим Божеством с твердым знанием того, что мы преодолели жизненный гнет, мы разорвали гнет предрассудков, гнет индивидуальных слабостей, что мы исполнили заповедь Христа и проповедь апостола о любви Христа и Церкви. Дивная, неповторимая красота... Жить хочу, любить, бороться, страдать, ярко пылать жарким огнем. Ах, любви, любви, подвига!

Берлин. 17 (4) июля 1914.

Многое затирается и замазывается жизнью. И мое трамвайное видение уже сглаживается. Теперь думаю, что способствовало тому, чтобы осталось такое сильное впечатление. Во-первых, эта девушка (или дама) была одета в костюм, совершенно ничем не выделяющийся, не кричащий. Это было белое платье, с нехитрыми складками. Шея была оголена, но немного. Безусловно оказали свое впечатление и белые туфли с белыми же чулками. В этом однообразии иногда, как здесь, таится свой стиль. Затем, на голове убор, мало того, что не кричащий, но как раз из тех, что мне

нравятся. Это не шляпа, не солома, не перья. Это что-то вроде чалмы, с околышом из глянцевой материи. У Валентины Поповой я видел нечто вроде этого. Такой фасон головного убора придает какую-то энергию всей фигуре. Здесь чувствуется что-то вроде сцены, но не в смысле игры, и потому неискренности, но в смысле незаурядности и напоминания о героичности, что, разумеется, видишь на сцене чаще, чем в жизни. Может быть это по новости так кажется, т. к. эти уборы гораздо реже обыкновенных шляп, и может быть новизна и есть разгадка этой героичности. Может быть... Я говорю лишь о том, что чувствую. И вот, моя красота оказалась с ног до головы соответствующей моим вкусам. Буквально, — с ног до головы, потому что середина тоже не кричала о себе; ничего, кроме чуть-чуть заметной подвижности форм. Ни о каком таране или верблюде не может быть и речи. Это тоже ведь надо отметить. Стенобитных машин сколько угодно, а поди-ка в Берлине сыщи античный бюстик, — днем с огнем не сыщешь. — Надо отметить еще вот что. Когда она сошла с трамвая и направилась за угол, я смотрел за ней, пока позволял трамвай. На углу она упустила из рук какую-то связку. Быстро наклонилась и быстро подняла. Потом пошла дальше... Все это трудно передать, но это вот почему важно. У меня получилась мысль (осознал ее я уже потом), что вот есть красота, которая освещает твой мир. Но не думай, что это красота для тебя только. Она живет своей собственной жизнью. Вот она здесь, вот она двинулась дальше; ты остался, а красота сама собой движется и существует. Некоторая эпичность получилась.

*И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!*

Берлин. 19/6 июля 1914.

В прошлый раз, когда написал эти четыре пушкинских стиха, то задумался не над своей дамой, а над тем эпическим мироощущением, которое так дивно запечатлелось в этих стихах. Затем, мысли эти как-то связались с мыслями об Эсхиле¹ и об его мироощущении. Думал очень много и напряженно о том, какие формы приобретает иногда эсхилоское мироощущение, как он иногда приближается к Вагнеру и пр. и пр. Т. к. результаты этих мыслей будут помещены в статье об Эсхиле, то о них я здесь не пишу.

Буду продолжать о даме. Собственно говоря, это ведь психологизм. В своем дневнике, разбирая впечатление от дамы по косточкам, я ведь психологизирую, свожу все на субъективно-обусловленные, чисто-психологические процессы. Пусть так. Прямого намерения я не имею. Скорей, я, кажется, даже немного забавля-

юсь самым собой, видя перед собой этот яркий образ и созерцая его нездешние связи и -- в то же время делая вид, что я психологист. Впрочем, это особая штука, и о ней стоит писать особо. Перейду просто к «даме сердца моего».

Из внешности я не отметил еще то, что она была брюнетка. Это удивительная вещь --- черные глаза! Тут какая-то тайна есть. Какая-то глубокая загадка. Ведь общее убеждение, что брюнеты и брюнетки «опасны». Даже Минна, которой я сказал о своей даме, заметила: «Solche Leute sind gefährlich!» Gefährlich! Но почему? Какое объяснение этому таинственному влиянию черных глаз? Мне кажется, что эта дама даже что-то внушила мне своим взглядом. Нет, это черт знает, какие тайны хранятся в этой, казалось бы, такой элементарной и несложной трамвайной жизни. Влияние одной души на другую!.. Да ведь в этом вся суть нашей жизни. А как наши психологи чужды всему этому. Впрочем, положим, это и не их дело. Но если такая психология особая наука, то где же ее специалисты. Впрочем, и такого вопроса ставить не следует. Специалист в этой области — был бы покорителем умов и сердец, ибо знать в этой области — значит уметь применить.

Да, удивительная дама. И что она думала, что у нее творилось на душе, когда она находилась с моей душой в таком интимном соприкосновении?

Надо отметить еще одно важное обстоятельство. Мне кажется, в том общем устремлении души к определенной цели, которое разделила бы со мной эта красота, участвовало бы также и тело. И оно было бы объято пламенем и так же проявляло бы свою мощь, как у Зигфрида.

Странное, чудное, неповторимое видение.

Берлин. 26/13 июля 1914.

Жизнь души и жизнь сознания -- это удивительная вещь. Ощутивший эту жизнь, ну, разве удержится от того, чтобы заклеить всех этих людишек страшным словом: мещанство. Уже давно собираюсь записать сюда одну вещь, которую я упустил в прошлый раз. Это о возбуждении жажды к жизни в те необычные для меня дни, когда «трамвайная красота», с одной стороны, инцидент с г-ном и «г-жой» фон Бреннер — с другой, заставили меня приобщиться к той жизни, которой я лишен благодаря науке. Боже, как торжествовал бы Илья Яковлевич, если бы он прочел эти строки! Увы, бедный дядя Илюша! Это было бы Вашей ошибкой, так как от этой «жизни» я взял опять-таки не то или не только то, чего Вы вообще ждете от подобных случаев. Именно, в один из тех дней (было воскресенье) я вышел на улицу с твердым намерением всматриваться в человеческие лица, в человеческие фигуры; что таят они и что кроется под этими летними сюртука-

ми, белыми платьями, под этими тирольками и дамскими шляпками? Вышел с этим намерением, которое, кажется, еще никогда не было пережито так сильно. На Tauentzienstrasse набрел на какую-то фотографию. С жадностью стал рассматривать вывешенные карточки, ища в них обобщений, ища то дурное и то хорошее, что так плохо изучено психологией и к чему не чувствует позыва научная совесть наших официальных ученых. Какая интересная вещь физиогномика! Надо в Москве пробраться к Россолимо¹ и поучиться у него. Вечером (тоже в один из тех дней) встретились мне каких-то две девицы. Одна из них ударила меня по руке (так, как со стороны мужчины можно было бы назвать «дружески») и сказала: о, mie Leid sie². Я, конечно, ничего не ответил и даже не обернулся. Но так хотелось идти с этими женщинами, так хотелось узнать их жизнь, обсудить, найти точку приложения для своего вмешательства и вообще для воли. Человеческая жизнь! Что может быть интереснее, глубже, содержательнее? Даже мечтанство — и эту штуку, кажется мне, я мог бы изучать, мог бы вмешиваться в нее. Что мешает?

Мешает, прежде всего, трусость. Да, самая простая, элементарная трусость. Под сознанием, там, в глубине, не всегда доступно для анализирующей мысли, копошатся мысли: а что если ввяжешься в какую-нибудь историю, а что если общество осудит, а что если нарушится 'спокойная жизнь? Это раз. Но есть и два. Это то, что Лосский, очевидно, тоже хорошо почувствовал, создавая свой интуитивизм и помещая свое Предисловие, в котором говорится об ограниченности человеческого познания, о том, что нельзя в одно время в Москве слушать Шаляпина, в Петербурге смотреть Парсифаля³, в Берлине присутствовать в клиниках. Да! Ведь предаться этой «жизни», — это же значит забросить науку. Возможно ли это? — Приходит на ум Вагнер, Гете.

*С природой одною он жизнью дышал⁴,
Ручья разумел лепетанье,
Была ему звездная книга ясна
И с ним говорила морская волна.*

Да, только поэты и философы способны причаститься к подлинному бытию, совмещающему в себе все сущее. Мы же, бедные пасынки природы, — мы только должны вслушиваться в звуки этих созерцаний Гете и Вагнера, и куда там нам до жизни! Червяки — и жизнь!

Однообразен я. По крайней мере кажется, что здесь в дневнике все довольно-таки однообразные чувства. Сейчас я в Каменской. После пережитых волнений и после такой невозвратимой потери, я — опять в Каменской. Вот уже третий год приезжаю я в К. усталый, оборванный, нервный, без любви, без удачи в науке. Первый год Университета, оказавшийся столь непохожим на золотые годы в гимназии, окончился скверно. Сдал какие-то несчастные три экзамена, провалившись предварительно на психологии, т. е. по той самой философии, которой занимался всю жизнь. Приехал тогда, помню, очень рано, 2-го или 3 мая, приехал больной, с простуженной грудью. Простудился еще, помню, как сейчас, 4-го марта. Был первый весенний день. Я сидел тогда у открытого окна и писал дневник под нежные звуки заходящего солнца. Ну, и простудился. Разве же тут можно безнаказанно заниматься поэзией? Ну, вот и отдыхал в Каменской, читая «Снегурочку» Островского, письма Пушкина и т. д. Как раз Николай страдал тогда по П. У-ой, и мы оба с ним вслушивались в грустные и мечтательные (по-своему) звуки марша «Дни нашей жизни». Он — вздыхая о Н., а я — тоскуя по «половине», предсказанной Платоном¹. — Уж я не говорю о том, что случилось потом, после поездки на Урал.

И второй год тоже закончился для меня плоховато. Неудавшийся роман с Еленой, непрестанный, изнурительный, но мало ценимый научный труд, неудавшаяся поездка за границу, — все это оставило очень много, правда, поэтических воспоминаний, но тоже взвинтило нервы и тоже заставило искать отдыха и утешения в Каменской.

Наконец, теперь вот и третий год кончился. Собрался же за границу. После 1 1/2 месяца трудной жизни в Берлине вернулся в Каменскую 18 июля. Нервное настроение последних дней и исчезновение рукописей моего сочинения, мобилизация и все связанные с нею неприятности — все это только благодаря может быть философии, выручающей меня в трудные минуты, не оказало на меня своего разрушительного влияния. И третий год вернулся в Каменскую разочарованный, без успеха в любви, ибо после Елены ничего не пришлось пережить равного или похожего, без успеха в науке, ибо только что обрисовавшаяся в общих чертах кандидатская работа исчезла вместе с множеством ссылок, выписок, переводов, заметок, уже написанного текста, списков литературы и пр. и пр. Можно сказать, что эта работа была целью жизни этих студенческих лет. И вот эта цель оказалась не удобной природе.

Судить не мне. Значит, так Богу угодно. Запишу сюда, как шли эти злосчастные дни перед отъездом из Берлина и как прошел сам отъезд.

25/12 вечером пришел ко мне хозяин и сообщил, что между Сербией и Австрией прерваны дипломатические сношения и что Россия тоже, вероятно, вмешается в войну. В воскресенье, 13, и понедельник, 14, пришлось быть свидетелем необычайного возбуждения на улицах Берлина, вызванного войной, и злостных манифестаций против России и Сербии. Жить становилось уже трудно. Кроме того, в случае войны, мое положение в Берлине, без денег, без знакомых, было бы не очень завидно. В понедельник 14-го я был на Friedrichstrasse и купил свой злосчастный костюм, верхнюю сорочку и еще кое-что. Все было уложено в небольшую чемоданчик, куда я сунул и папку с рукописями. В 5 часов дня я еще думал, что поеду 15-го, но в 5 1/2 — я уже спешил на поезд, чтобы выехать из Берлина в 7 час. веч. Опротметью прискакал домой, и тут начались денежные испытания, приведшие меня к полному краху. Во-первых, хозяева взяли с меня 11 марок вместо предполагаемых мною 5-6. Уложивши кое-как книги и платишко, сел на автомобиль, чтобы заехать в Библиотеку отдать русские книги, а оттуда на Friedrichsbahnhof. Народу оказалась тьма. Носильщиков найти не было никакой возможности. В результате метался почти целый час по вокзалу, рискуя, что украдут вещи, которые ведь нельзя же мне таскать за собой, и окликающая каждого проходящего чернорабочего. Наконец, нашелся какой-то, но было поздно, поезд ушел. Пришлось остаться до 11 1/2 час. ночи, когда шел еще один поезд на русскую границу. Пошел бродить по Берлину, прощаясь с Friedrichstr. и со всем городом. Наконец наступил 11-ый час. Носильщиков опять никого. Попался какой-то молодой человек, русский, который тоже искал носильщика. Мы решили с ним сами взобраться на платформу. Но при входе на платформу нашелся какой-то хулиганчик, который и втащил на плац наши чемоданы, а потом и в вагон. Еще одна минута — и моего чемоданчика с новым костюмом и с рукописями не стало. Где я его оставил, — я знаю великолепно, несмотря на то, что мне говорили сочувствовавшие мне пассажиры. И не видел я своего чемоданчика не больше, как только одну минуту. Впрочем, была такая суматоха и такие нервы, что можно удивляться, как голова осталась целой на плечах. Целую ночь искал по вагонам, волновался, но...

Попытался призвать на помощь философию. Ведь и в самом деле. Что такое настроение? Все это зависит от нас. Начни себя утешать; смотришь, и в самом деле утешился. Эх, душонка! Как можно владеть тобой! И как ты бессильна! Вот и говорят, что

никакой трансцендентальной стороны в нашем «я» нет. Глупцы, дети, мещане!

*17 июля 1914 г. в вагоне поезда из
Москвы в Каменскую в 6 ч. 50 м. веч.
Переписываю сюда 2 абз.*

Заход солнца. Великолепный заход солнца. Только что проехал «Старожилово». На душе очень много и все как-то сгущенно, туманно; что именно, не знаю и не умею сказать, но знаю, что на душе много и сильно.

Столько пережито за эти дни! Голодный, раздетый, разбутый, без своих драгоценных и милых рукописей, забытый и прогнанный Берлином, неожиданный и никем не зовомый в Каменской, еду я сейчас с смутными мыслями то о войне, где я мог бы сложить свою усталую голову, то о той чистой и прекрасной девушке, которая когда-то промелькнула у меня на глазах, исчезнувши на станции «Старожилово». На что надеюсь и чего я жду? Без любви, неудачный ни в науке, ни в капитале, рассорившийся с родными и ненавидимый ими, безумно любящий Вагнера... Вагнер? А, да, да! Вагнер. Вот мое утешение... Но... Но что такое Вагнер? Ведь это все та же будущая жизнь, в которую я привык верить с детства, ведь это же опять все не здесь, не здесь, не на земле, не в России, не в Москве, не в Каменской. Вагнер -- ведь это же только средство забываться. Ведь это же еще не жизнь, это только предчувствие жизни, только порыв в нее, но доступна ли она нам, эта настоящая, подлинная, истинная жизнь?

На пути в Берлин думал о милых девочках, к которым тянет меня моя неудовлетворенная личная любовь и которым хочется посвятить свою жизнь где-нибудь именно вдали, где-нибудь в Минске, в Златоусте. Сейчас же возвращаюсь из Берлина если не с мыслями о тех же милых девочках, то во всяком случае опять и опять далеким от мыслей, связанных с призванием к науке или с возможностью быть счастливым в личной жизни. А солнце сейчас все заходит, все заходит эта красота, эта надежда на мир иной. Вспоминаю Фламариона, про которого Хвостовская¹ кощунственно сказала (она и вообще много кощунствовала), что он наивен. Эх, ответил бы я Вам, Софья Герасимовна, да не хочется возиться с вашей несамостоятельностью и вашим бессилием. Эх, мещанка. У Фламариона заход солнца — преддверие ночных звездных откровений. Это при заходе солнца сошлись Георг Сперо и Иклеа, это при заходе солнца наслаждались истинной жизнью и поэзией Рафаэль и Стэлла². Счастливы вы, Рафаэль и Стелла. Как я хотел бы быть таким, как ты, Рафаэль, жить такой жадной к истине и такой жадной к любви. Истина и любовь... Как обыденны и незначащи эти слова для тех, кто не пережил ни

того, ни другого, и как полны они значения для того, кто хоть чуть-чуть их почувствовал. А Фламарион живет этим. Господи, как сделать, чтобы передать свои настроения и свои чувства так же и другим людям, чтобы если уж суждено жить одним созерцанием, то передавать это созерцание и другим, не самому только жить им.

Заход солнца! Какие чудеса кругом нас и как мы не обращаем на них внимания. Заход солнца. Какая-нибудь станция, вроде «Старожилово». Недалеко от станции «дача». На даче живет она. Она, святая, чистая, непорочная девушка. Она выходит вечером гулять на берег реки и смотрит на заход солнца. Милая, родная девушка. Ведь я смотрю вместе с тобой на этот заход солнца. На нем встречаются наши взоры. Хочешь ли быть моею, хочешь ли дать мне свою красоту и возродить меня к жизни иной. Возьми меня к себе, умрем вместе, будем подвижниками...

Устал жить один. Один, один, один. Может быть, так и надо? Я верую в Бога. И Он меня спасет. Он не даст погибнуть мне. Господи, помоги.

Каменская.

Четверг 21 августа 1914 года.

Опять долго не писал в дневник. Причины разные. А сейчас хочется записать о чувствах, возникших по поводу известия о том, что сгорел наш милый карточный домик, новочеркасский театр¹. Сегодня прочел в «Приазовском крае» (21 авг. 1914 г. № 218) небольшую заметку, озаглавленную «На пожарище» (мысли вслух) и подписанную «Аесте». Здесь как раз мои чувства и я с чувством такой же грусти переписываю ее сюда, какая была и у автора ее.

«Только теперь, перед грудой, и то небольшой, обгорелых бревен в полной мере обрисовывается та опасность, какой подвергалась публика, десятки лет посещавшая театр и создавшая ему крупную славу на театральном рынке.

В несколько минут эта шестидесятилетняя деревянная руина представляла громадный костер, а через час от нее остались одинокие трубы да грудки обгорелых обломков и скрюченные листы железной крыши.

На пожарище толпится народ. Одна за другой, поддаваясь усилиям пожарных, падают и рассыпаются трубы, с шумом вырываются клубы шипящего пара из поливаемых груд мусора, под которыми тлеют остатки балок, а кругом обгорелые деревья тянут свои скрюченные сучья, и страшный шелест высохших листьев навевает грустные думы.

Как никак, а жаль этой сгоревшей, недопустимой, нелепой, деревянной руины.

С этой подслеповатой, покривившейся, подпертой бревнами театральной хижинкой связаны были лучшие традиции, над ней веяли тени корифеев русской сцены, из которых для многих эта хижина была колыбелью славы.

Ее небольшой зрительный зал видел бури восторгов, неподдельных слез и самого искреннего смеха целого ряда поколений, в нем одном находивших огромные богатства чувств и мыслей.

В нее шли, забывая об опасности, в ней учились, в ней черпали силу и бодрость, в ней отдыхали от повседневной пошлости и непереносного труда.

И ее, эту хижину, любили и новочеркасцы, и актеры, и забывали об ее страшной уязвимости от огня.

Мало этого, над ней в этом отношении шутили: — Она окаменела и ни за что не сгорит, — говорили новочеркасцы приезжим, пугавшимся ее ультрадеревянного, обшарпанного вида.

Увы, окаменелость была счастливой случайностью. И теперь всякий, со вздохом облегчения, может только сказать: — Хорошо, что это случилось сейчас, а не во время сезона. Старая руина сгорела, но не сгорели с ней традиции, носительницей которых она была.

И пусть новое роскошное театральное здание, которое должно возникнуть на этих кучах мусора, с благоговением примет эти традиции и несет их с честью, напоминая потомкам о тех временах, когда святое и чистое искусство сияло ярким светом со скрипучих подмостков ветхой деревянной руины».

Прощай, мой милый картонный домик. Ты пошел вслед за своим долголетним хозяином С. И. Крыловым². Воспитавший меня и вскормивший мою незрелую, младенческую мысль, — память о тебе не умрет в моем сердце и в сердце любивших тебя. Что бы теперь почувствовал Володя Микш³!

Вторник. 7 октября 1914 г.

Не писал полтора месяца в дневник. И конечно потому, что нужно было писать очень много. Прежде всего не записал встречу с Капочкой Волошиновой, с которой пришлось ехать до Москвы от Каменской. Очень миленькая девочка. Она прельстила меня своей простотой и наивностью. С первого же разу стала называть уменьшительным именем, все время бросала в меня скатанные шарики бумаги, и вообще относилась ко мне, как к своему другу детства, с которым можно побегать, пожалуй, побаловаться. Скоро дело дошло до некоторой интимности. Она стала писать мне в записную книжку, а я стал ей отвечать. Первое, что она написала, было: «Вспоминайте 24-ое августа 1914 года». Вот эта переписка.

Я: «Нет, правда, Капочка. Напишите что-нибудь на память. Я человек одинокий и мне будет приятно вспомнить о Вас среди

науки. Отчеркнутые слова показывают, что мы с Вами в одно время захотели написать один другому».

Капочка: «Ведь я уже написала. Много написанного иногда бывает не так интересно, как [2 сл. нрзб.]»

Я: «Правда. Но 1) это, как Вы сами говорите, иногда; 2) так бывает, если в немногом сказано действительно многое. А Вы больше ничего не хотите от меня, как только воспоминаний о 24 авг. 1914 г.?»

Капочка: «Нет. Чем больше хороших воспоминаний будет о Вас, тем лучше. Может быть, моя память для Вас так... неинтересна? Тогда зачем писать?! А что можно дать кроме воспоминаний человеку, которого видел два дня?»

Я: «Согласен, кроме второго пункта (о неинтересности памяти). Мне никакого «интереса» не надо. Я знаю и чувствую одно: что с Вами промелькнуло у меня что-то светлое и хорошее. Ну, и больше ничего. Так как еще

«Смертной пыли не дано

«Дышать божественным огнем», —

то приходится жить воспоминаниями о метеорах, мгновенно вспыхивающих и мгновенно отлетающих, чтобы осветить другие миры. В этом мой «интерес». Впрочем, уже этой переписки достаточно, чтобы был сувенир, который бы освежал воспоминания. Спасибо и за это, Капочка!»

Капочка: Вот я Вам хочу предложить переписку. Вы напишите мне, а я отвечу и т. д. Если, конечно, Вы ничего не имеете против. Наверно, у Вас хватит времени, чтобы написать письмо и так же это Вас не затруднит».

Я: «Ура! Да здравствует переписка! Но куда же писать?»

Капочка: «Петерб. сторона. Б. Зеленина, 9, кв. 77. К. М. Волошиновой».

Так провел с милой Капочкой почти целых три дня, т. к. в Козлове сидели 10 часов и в Москве дожидались поезда весь день.

Вечером провожал всю компанию на Николаевск. вокзал. Встретил в вагоне какого-то священника, который знает Челпанова и просил передать ему визитную карточку и привет. Так расстался с доброй Капочкой, которой на другой же день написал письмо, в котором по обыкновению жаловался на свое одиночество и искал утеху у чистых женских сердец. Она мне ответила нескоро, и ответила очень мало, перед сном, видимо испугалась моей философии, которую я посылая ей из своего филологического рога изобилия. Долго ей не отвечал. Но потом вдруг получил от нее вторичное письмо с упреком, что я ее забыл. Ответил. Но ответил тоже с упреком, что она не захотела ответить на мою философию, а ответила так мало и холодно. До сих пор нет от

нее ничего. Надо ей написать. Все-таки добрая и сердечная девушка.

Суббота. 11 октября 1914 г.

Сегодня закончился, наверно, последний этап в сношениях с Евг. Ант. Я ничего не писал в дневнике за этот месяц, но случилось очень многое и притом со многими довольно необычными компонентами. Изложу все, как было. Евгении Антоновне не посчастливилось в смысле моего дневника, и я не писал о ней, кажется, и весной. А потому начну вообще с прошлого года и изложу всю историю знакомства с ней.

Свел нас Вагнер 13 декабря 1913 года на «Золоте Рейна». Сначала я не обратил на нее почти никакого внимания. Привел ее Александр Позднеев, которого она очень просила устроить ее на Вагнере. Да, забыл. Еще в знаменитый для меня день 1 декабря 1913 г., после которого я целую неделю бредил шубертовской h-moll, эту последнюю я как раз слушал в Рабочем доме, сидя в одном ряду с Евг<снией> Ант<оновной>. Мы переглянулись, я заметил ее интеллигентность (а кругом были серые рабочие и их жены)¹ и больше ничего. Придя 13-го в Большой театр я узнал, что это как раз та самая соседка на Шуберте. И второй вагнеровский спектакль прошел сухо. На третьем выяснилось, что она хочет брать у меня уроки латинского языка. Устроил это все тот же Александр. Я записал ее телефон и тут впервые узнал ее имя и отчество. Потом у меня оказалось целых три ученицы. Начались занятия по-латыни. Вскоре узнал много симпатичного. Евгения Антоновна оказалась чрезвычайно мыслящей, начитанной, остроумной и простой девушкой. В те дни я был занят своим поэтическим романом с Еленой и как-то слабо и тупо воспринимал милую Женю. В конце концов стал с ней сближаться. И еще больше убеждался в ее необыкновенных свойствах. Ее любовь к поэзии, ее проникновение в Вагнера, ее сердечность, соединяющаяся с образованностью (филологичка, говорит по-нем. и по-фр., играет на рояле) — все это обвораживало меня. Она внимательно вслушивалась в мои парадоксы и философию, и отвечала на все это с наименьшей парадоксальностью и философичностью. Как сейчас помню один вечер, когда я задержался у своих учениц после урока. Болтал в этот вечер в особенности много и, кажется, благодаря Уайльду довольно живо. Все четверо заразились настроением полуэстетическим, полусимволическим, полумечтательным, и наперсрыв острили в течение двух-трех часов. На другой день Евг. Ант. говорила мне по телефону: «расставшись с нашей компанией, я все время, лежа, улыбалась».

Так шло время. Наступил май. В мае я несколько раз гулял с ней по Кремлю. Иногда чувствовалось нечто вроде скуки. Нельзя

же вдвоем в продолжении 3-4 часов говорить одними афоризмами. В результате пришлось послать ей листиков в 10 письмо, где трактовалось на тему о красоте как ощущении и красоте как подвиге. Первую я считал языческой, другую — христианской. Первую приписывал ей, вторую — себе. «Вы добры, но добры ко всем»... Основная пружина этого письма была та, что Женя, такая милая и умная, мила и умна для многих, может быть, для всех. Я только из числа этих многих. Попов смеялся, прочитав это письмо: «что же это, А. Ф., огонек-то, а?» А я писал, что в вас, мол, Евг. Ант., блеснул для меня огонек, да вот-де красота-то языческая ваша мешает мне. На самом же деле под этими словами крылась просто все та же жажда моя светлой и чистой женской души, жажда насытиться этой нетронутостью и в то же время сложностью. То и другое безусловно в сильной мере было, именно, у Евг. Ант. Даже теперь, когда я с ней поссорился, я признаю за ней эти исключительные особенности, образованность, простоту, поэтичность и сложность переживания. Так прошел весь май. Эти удивительные майские вечера и поэтичные майские ночи! Как живо представляю я их сейчас. Вот 7 часов вечера. В вестибюле Общежития какой-то особенный свет, сзади, со стороны лестницы. И грустно, и сладко в этом странном свете. Вспоминается Почтовая улица в Новочеркасске, по которой я иду часов в 8-9 вечера из Александровского сада, иду один, одинокий, без любви, без товарищей, с надеждами, с разочарованием. О, удивительная эта моя Почтовая улица. Такая грусть, такая тоска и такая жажда по чистому счастью... Вот как раз и здесь, в моем милом Общежитии, которое я так люблю и к которому привязался больше, чем к университету. А войдешь после вечернего чаю к себе наверх, — там заход солнца, великолепный и прекрасный, опять воспоминания, смутные и сладкие, о Рафаэле и Стелле, о Георге Сперо и Иклее, о чудных звуках, которые в Каменской были для меня целым откровением: «Заря потухает, звезды мерцают на синеве небес. В порыве страсти, грусти, молчанья, о милый друг, приди, приди!» Сладко и грустно, тоскливо и радостно на душе. Какой-то легкий зуд по свежей весне, настоящей весне, по любви и правде о Господе Иисусе. Тут бы обнял сейчас Женю, отдал бы ей всю душу, взял бы себе ее душу, соединился бы «союзом любви», для славы Христовой, для Имени Господа. Но не было ни такой Жени, ни такой совершенной жизни, ни я сам, наверно, не был, как следует, подготовлен к этой подлинной, истинной жизни. Наступает вечер. Темнеет. Заря остается всю ночь, и восток сливается с западом чуть заметной белой полосой. Сажу в своей милой комнате и читаю. Против меня сидит Александр Попов, единственный человек, с которым я сходил в во всем принципиальном, сходил бессознательно, «неконкретно», с противоре-

чиями и спорами в словах, но с глубоким пониманием друг друга. Сидим. Я читаю Сперанского или Розанова², а он какую-нибудь свою математику (милый Александр Федоров). Он только что пришел из своей комнаты, в которой сильно пахнет куличом, который прислали ему на Пасху родители. Мы сидим. А из открытого окна дует свежий воздух и доносятся звуки оркестра из Зоологического сада, те звуки, при которых опять мне рисуется провинциальная гимназистка, какая-нибудь Женя Воробьева и опять милая, родная, недалекая и даже полумещанская провинция, девочки из Златоуста, которым тоже хочется отдать свою душу, свою жизнь и силы. Солирует кларнет, и Попов говорит: «да, ишь как разделывает. У него хороший тон»... Так сидим, читаем, мечтаем, слушаем. А в душе у меня бьется странное имя Евгении, и вся эта волшебная весна, с свежим утром, которое так удивительно выявил Шуберт в том романсике, который я слышал в тот же знаменитый день 1 декабря, с упоительным днем, когда я, идя из университета, встречаю милых девочек, идущих с уроков или экзаменов, и вспоминаю и свои гимназические годы, весна с тоскливым вечером, с волшебной ночью — все это тесно сплетается в памяти моей с Женей Гайдамович; обе они и весна и Женя зовут меня к иной жизни, блаженной и вечной, и ждут, чтобы я внутренним подвигом своим соединил их обе и себя самого в едином сердце моем. А эти чудные ночи! Просидел до часу, а на дворе уже светает, уже начинается день, жизнь, свет. Да, начинается день, а ты, усталый от своего трудного дня, должен идти спать, ты чувствуешь себя негодным и усталым перед этим грядущим днем... странный намек на мою усталость почти перед каждой светлой красотой! Это символ моих стремлений, изнуряющих мою земную оболочку, символ моей постоянной усталой энергии и энергичной усталости перед каждой дивной и свежей девичьей душой, взять которую я не в силах, и которая так отделена от меня непреходимыми препятствиями. Но ах, чудны вы, милые ночи, чуден ты, чуть брезжащий свет, чудно, свято, божественно, небесно!...

Да, проходила весна, а Женя была язычницей... Милая, добрая, сердечная, но... милая и добрая ко всем, решительно ко всем, и в результате... в результате я опять одинок. Опять весна и опять одинок. А тут надвигался мой неудачный Берлин... Встретивши на концерте в Сокольниках Соню, ученицу свою, и впервые почувствовавши от нее ласку и привет, я опять получил сладкую иллюзию. Ведь когда еще мало знаком с человеком, или после когда встречаешься после долгой разлуки, то более живо и непосредственно чувствуешь его ласку. Здесь еще не знаешь или не можешь знать того, что этот человек не может быть всегда ласковым, и что, может быть, он вовсе не для тебя. Относительно Жени

к концу мая пришлось прийти к выводу, что эта чудная, необыкновенная девушка вовсе не для меня, и я не для ней, ибо тысячи препятствий к тому и у нее и у меня, как внутренних, так и внешних. А 28 мая я вновь почувствовал свежесть, повеявшую еще с непочатого источника -- Сони. И вот, на другой день, прощаясь по телефону с Евг. Антоновной, я ей сказал, что хотя она и поэтичней Софьи Александровны, но С. А. добрее, ласковее, и поэтому ближе. А на вопрос: «ну что вы скажете мне на прощанье?», я строго сказал: «ничего». — «Ничего?» — «Ничего». Разговор прекратился. Я уехал за границу злой и с досадой на душе, что не мог жить этой красотой Жени и не мог Женю приобрести к той красоте, которую сам привык проповедовать.

Так закончился май в моих отношениях к Евг. Ант.

Воскр. 12 окт. 1914 г.

Хотя уже половина второго ночи, но хочется продолжить свой рассказ. Лето прошло бурно. Мало вспоминал об Евг. Ант., но, когда вспоминал, то по-вагнеровски, с нежностью и с «мотивами спасения». Приехал в Москву. Мимолетное видение красоты через Капочку, конечно, мало того, что не мешало по существу, но не мешало уже и по одной своей мимолетности. Сначала был какой-то дурацкий план — не звонить к ней первому, — план, о мотивах которого подробно я уже и вспомнить-то едва ли могу. Но, как всегда, конечно, не удержался и позвонил первый. Еще раньше этого, от Александра Позднесва узнал, что она выдержала экзамен на сестру милосердия и дежурит где-то в лазарете. Разумеется, от нее можно было ждать именно чего-нибудь такого. Милая девушка, идейный человек, она не могла отнестись спокойно к тем мировым событиям, которые сейчас разворачиваются по почину Вильгельма II. Звоню. Опять пахнуло майской свежестью и опять пережил несколько святых мгновений. Помню и тогда, весной, было несколько таких вечеров, когда мы говорили по телефону по полтора часа, испытывая сладкий зуд от взаимного соприкосновения душ, от примеривания, не окажутся ли они родными... Именно, как сказано у Платона о философской любви, зресе, что она зуд... Тотчас же я постарался и устроить свидание. На 12-ое сентября у меня были билеты на «Сказку о царе Салтане»¹ в Большой театр и я предложил их моим ученицам, Жене и Соне. Дни перед этим свиданием проходили в очень ощутительном ожидании «Сказки», а в особенности самый день 12 сентября. Скажу об одном событии, которое меня очень порадовало, хотя в начале я, по привычке, связывал его не с Женей Гайдамович, а с Женей Воробьевой. Дальнейшие события сентября показали, что это было для того времени ошибочно. Событие вот какое. Шел я как-то из кассы Большого Театра утром, где я покупал билеты на

«Сказку». Подходит какой-то цыганенок с попугаем и предлагает «купить счастье». Я вею попугаю достать билет, даю цыганенку пятак и спешу прочесть, что там написано. К своему немалому удивлению читаю там след.: «Всякий удивляется вашей красоте; жаль, если бы вы попались в руки неблагодарных; но вы должны наказать их только строгим взглядом, который для них будет чувствительнее выговора».

Вторник. 21 окт. 1914 г.

Как не окончил оракула попугая, так и не взялся за него в течение целых полутора недели. Потому ли, что Женя совсем отошла от моих грез? Мне кажется, что она не отошла. Но буду пока продолжать о попугае.

«... выговора. Будучи сострадательными, вы всегда будете платить добром за зло и слишком откровенно высказывать свои мнения другим. Когда будете брать билет в лотерею, то выиграете, но не должны при этом рисковать. Планета говорит, что вы не знаете умеренности ни в ваших желаниях, ни в горе, и забываете при этом, что время сглаживает и заботы и радости, что каждое мгновение, как бы ни были вы молоды, отнимает у вас час вашей жизни, что все исчезает в бездне прошедшего, откуда никогда не возвращается. Помните это — Наслаждайтесь выгодами вашего положения, и с терпением выносите страдание; счастье, которое вас ожидает, зависит также от поступков. Вы жалеете об одном предмете, который потеряли, но, кажется, ваше сердце заменит эту потерю».

Переписавши это неудачное попугайное предсказание, я начал перечитывать все, что успел до сих пор написать сюда в дневник. И странное было какое-то ощущение: Как будто это было писано Бог знает когда, т. е. только воспоминания и только они одни. Неужели сейчас для меня уже нет Евг. Ант.?

Продолжу рассказ. После 12-го виделся с ней, кажется, числа 22 или 24 сентября опять в Большом Театре на «Майской ночи»¹ с Собиновым. И опять была Соня. (Тогда были, между прочим, в ложе: Александра Николаевна, успевшая к этому времени выскокить замуж, декан² и его мамаша). Опять великолепнейшее настроение. Браслетка все болталась, Женя была все время милой, Соня тоже. Опять провожал их до дому.

Письмо 7 окт., посланное 28-го октября и переписанное сюда 28-го же.

Опять к Вам, но уже не с тем. Да, не с тем, Женя. Не удалось. Единственный раз думал о жизни я так реально и так близко к тем формам, которые случаются у людей постоянно, хоть и редко

когда с хорошим содержанием. И вот чувствуется, что не для меня эта реальность, что не в силах я устроить ее, устроить в жизни, в этой вот временной и пространственной жизни, в Москве. Последние разговоры мои и письма, полные самого отчаянного символизма, показали мне, что не стоит быть таким символистом для реальных форм жизни, не стоит тратить время и душу на символизацию того, чему все равно не суждено произойти. И я прошу Вас, Женя, простить мне все мои вольности, допущенные как в разговорах, так и в письмах, а в особенности в мыслях моих, которые на крыльях мечты были, как говорят мещане, далеки от жизни и непрактичны. Все, что услышали Вы от меня, было очень маленькой долей того, что переживалось. Об этом я не умел сказать Вам, а теперь уже сознательно не скажу.

Есть две формы отношений таких людей, как мы с Вами. При одних отношениях совершенно не учитываешь человека во всем его объеме, не интересуешься его частной жизнью, а так, только чувствуешь себя приятно, когда встречаешься с ним. Тут можно и помечтать и поболтать, но никогда здесь не покидает сознание того, что все это только шутки, афоризмы, парадоксы, что жизнь есть нечто совсем другое, и строить ее надо независимо от этих встреч, этих намеков, этих вздохов. Таковы были наши с Вами отношения в прошлом году, вплоть до моего первого письма, когда я почувствовал уже иные мотивы для этих «шутков», парадоксов и вообще встреч. И тогда же пришлось убедиться, что это иное не по силам мне, отчего и пришлось расстаться с Вами так зло и досадливо-больно.

Но есть другие отношения. Хочется жить не только шутками и парадоксами. Хочется знать человека ближе, чем это доступно на случайных встречах; хочется узнать всего его, хочется строить жизнь вместе с ним. Эти чувства — увы! — мучили меня постоянно три недели. Я знаю, что у меня были раньше порывы сильные, но не помню, чтобы в них так близко сходились и небо, как чаемая радость, и земля, — как радостное средство к этому небу. Да, верилось в небо и верилось в половину души моей, предсказанную Платоном, но никогда я и в мыслях не имел воплотить мечту в жизнь, в эту реальную, земную жизнь. Ведь если и думалось когда об этом, то тотчас же поднимались и возражения: нельзя же строить корабль для житейского моря хрупкими, алебастровыми ручками тех немногих девушек, которые, — большую часть сами не зная о том, — согрели мое сердце на протяжении всей жизни моей. В Вас я в первый раз увидел тот фундамент, без которого я все равно никогда не стану строить реальную жизнь. Ваша любовь к Вагнеру, к Тютчеву, Ваши слова о прекрасном, Ваши многочисленные, иногда мимолетные, замечания о человеческой

жизни, о человеческой мечте, Ваше внимание к моему филологическому рогу изобилия; наконец, Ваша простота и ласка (хотя и направленная на всех, но не миновавшая и меня), — все это заставляло задумываться, все это кружило мою мысль и уносило за собой в туманные выси платоновского идеализма... Уже напрашивался вопрос: не прекратить ли здесь свои искания, не кроется ли здесь то женское, то мое женское, с чем можно выйти на жизненный подвиг?

Мне кажется, я как раз из числа тех, у которых чувства и настроения, а главное, и мысль могут меняться в противоположную сторону и тогда, если ничто во внешнем, видимом мире не изменилось. Ничего не изменилось и 12 сент. 1914 года, кроме того, что случилось свидание в театре; ничего, по-видимому, не меняется и сейчас (в телефоне Вы надеваете маску незнания о существовании посланных Вам писем), а я — изменяюсь и отвечаю на только что поставленный вопрос безусловно отрицательно. Может быть, это колебание в середине сентября и в начале октября зависит от моей глупости, может быть — от моего ума. Не это важно. Важно то, что эти колебания чувствуются, и что они есть. Мы ведь иначе-то и не можем судить об истине, как пользуясь чувством отсутствия ее или присутствия. Сейчас я чувствую, что с Вами не суждено мне построить объективного моста с земли на небо, — и для меня это высший критерий.

Делать жизнь так, как все, не читая вместе Фета, Гете, Шиллера, Вагнера, не вдохновляясь вместе Бетховеном, не исповедуясь вместе перед одним священником, не любя вместе православной древней Руси, которая еще теплится в Чудовом¹, в Успенском, у Иверской, не уметь вместе совместить Вагнера и славянофилов... нет, скучно будет жить с таким человеком, скучно и жутко думать о таком «вместе»; тогда и в одиночку я сделаю больше, чем «вдвоем»... Я даже и не знаю, чего это я последние три недели так захотел вместе идти к своим целям. Ведь для такой любви нужен же с той стороны подвиг, а не ощущение, нужна жертва, а не спектакль, нужно «иго Христово» и бремя Его, нужно ощущение легкости этого бремени. О, нет! Если не отнимет Господь разума, ни за какие блага не свяжу свою жизнь с чужой без этих родных, святых целей. Они мне родные, это к ним я стремился мальчишкой 4-го класса гимназии, когда плакал над Лизой Калитиной, когда снились мне чудные образы Рафаэля и Стэллы из Фламариона. Это они привлекли меня к философии в университете, к покрову Пречистой, покрывающей нас, немногих, одиноких верных, сходящихся под праздник в Кремлевские соборы. Это они заставляют искать и находить в древней Руси порывания к Невидимому Граду, в женщине — одяние духовного брака, в музыке

-- то первобытно-единое, которое, по слову Вагнера, существовало бы и тогда, если бы даже не было самого мира. — Нет, для этих целей надо быть одному. Надо выстрадать свой жребий, ибо в нем же и спасение. Простите, Женя, меня. Отныне Вы не услышите от меня манящих символов и слов, зовущих в голубую даль совместного несения креста. Нет! Мы будем такими, как были тогда, в марте, в апреле, будем с нашим словопрением, шутками и парадоксами; будем жить каждый по-своему, я — знаете как, вы же... Вы? Впрочем не спрашиваю о Вас. У меня нет на этот вопрос права. Будьте счастливы. Пигмалиону² не только не следовало бы ехать в Сицилию, не следовало бы даже и оживлять свою статую. Правда, у него не было Христа, и ему трудно было бы жить одной мечтой. Но нам не трудно. «Да не смущается сердце ваше, да не устрашится. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много есть»³. Веруем, веруем в Твою обитель, где не будем одиноки, и где воссоединимся с женским, что есть наше духовное восполнение, воссоединимся по завету Христа и Церкви, Небесного Жениха и Невесты. Не нам, не нам, но имени Твоему!⁴ Ваш, Женя, Ваш А. Лосев.

27 окт. 1914 г.

Нет, Женя, не могу. Кренился целые сутки, не писал. Сейчас пришел в голову какой-то странный вопрос: да почему это собственно не писать, для какой цели? И ответом на этот вопрос было движение рукой, чтобы открыть стол и взять почтовой бумаги...

Итак, пишу. Опять все туда же, к тем чистым звездам, что светят мне и указывают нравственный путь мой. Женя! Порой кажется, что мы очень и очень близки к цели нашей. Уж нечего скрывать там. Есть у нас с Вами общая цель и к ней мы оба стремимся. Что в этой цели идеального и что реального, -- трудно сказать, т. к. в ней очевидно сплетется и жизнь земная и жизнь небесная. Т. е., мне кажется, что Вы ощущаете ту же правду, что и я; мне кажется, что Вы -- и сознательно и чаще всего бессознательно (что еще вернее) -- стремитесь и стремитесь так, чтобы мы были рядом, к этой правде, к этой жизни, которую услышали мы с Вами вместе в себе. Порой кажется, говорю, что мы уже совсем близки к этой цели, когда уже явно (а не только тайно, как сейчас) пойдем вместе к нашему Богу, к нашей красоте. «Наступит день, когда мы будем говорить уже без символов»...

Я теперь уже не заспорю, что у нас нет общей цели. Но все эти сутки, как и вообще в минуты наибольшего ощущения Вашей близости, мне все как-то не верится своим глазам, все кажется, что это сон, и что мне суждено целую жизнь быть одиноким. Да

неужели же это правда, что я не один? Неужели это правда, что родственные души есть тут, на земле, да не только на земле, а в России, в Москве, у Красных ворот?.. Это же ведь чудо, это немислимо, непостижимо. Смотрю все это время и не верю своим глазам. Неужели это обман зрения?..

Женя, милая, родная! Чувствуете ли Вы, что я перестаю смотреть на Вас как только на мечту? Чувствуете ли Вы, что с каждым днем что-то в нас усиливается, что-то воздвигается, незаметно, медленно, но непрестанно? Вот она где разгадка того относительного спокойствия, которым сопровождаются все мои чувства к Вам, начиная с 1 дек. 1913 г. Вы посмотрите мои дневники: Вы найдете там за несколько лет десятка четыре женщин, по которым я вздыхал и которые вызывали во мне высокие и красивые фейерверки, горевшие ярко, но мгновенно. Из этих четырех десятком женщин, согревших мое сердце, не больше десятка знало о том, что во мне фейерверк, и уже совсем не знаю, понимал ли из этого десятка кто-нибудь вечную тоску мою по *Ewig Weibliches*¹. Как я Вам говорил вчера, в этих фейерверках или «звездах» для меня был залог моей жизненности и живости души. Но ведь это же только самозащита; это только ein Gleichniss² той, настоящей жизни, когда будет не фейерверк, а двойная звезда на высоком небе, имеющая свое общее движение и представляющаяся с земли в виде одной яркой звезды... Когда я задавал себе вопрос о том, как случится такая встреча двух звезд, и как взаимное тяготение их обусловит им совместное движение во вселенной, я не шел далеко в предположениях. Я просто отлагал эту встречу до Марса, до светлого Сириуса, где может быть меньше перегородок между душами, и где телесная оболочка будет не так груба и непрозрачна, как у нас³. Но вот задаю себе этот вопрос теперь... И в ответ копошится новый вопрос: Если там были фейерверки, никому неведомые и б. ч. поверяемые дневникам и непосланным письмам, то не будет ли здесь как раз не взрыв фейерверка, а спокойное и постепенное воздвигание фундамента, незаметное и невидное, а только осязаемое в те минуты, когда начинаешь ближе вслушиваться в человека, и осязаемое каждый раз все больше и больше? Ответьте сами себе на этот вопрос. Я, как уже сказал Вам раньше, боюсь этого и подчиняюсь всецело Вам. Вы — умны (придется-таки выбрать из той дилеммы ума и кокетства — первую возможность).

Значит, поэтому-то я и не плаю фейерверками, а рассуждаю, как в сочинении об Эсхиле? Значит, поэтому-то и произошел временный разбор некоторых кирпичей, неправильно положенных в фундамент, и заставивший от 12 окт. до 26-го заниматься поправкой фундамента, чтобы идти дальше? Женя, значит все это указа-

ние на то, что невидимый строитель нашего счастья очень осторожен и умен — соответственно серьезности возводимой работы?

Чудо, чудо...

Слушайте, но неужели же это правда Вы так гениальны? Ведь это же гений, ведь это же невообразимо, когда Вы так терпеливо и кропотливо строите, когда Вы так тщательно кладете каждый кирпичик, не обращая внимания на то, что покажется мне самому? Неужели у Вас та цель, что и у ... Нет, это непостижимо...

Женя! Целый день сегодня наполнен Вами; Вы везде, и на лекции, и дома у меня, и в библиотеке... Или нет: Вас нет, не думаю о Вас, но я полон Вами, полон нашим вчерашним свиданием, когда вдруг почувствовалось опять, что я же привык к Вам, что мы даже ругаемся и уже не обижаемся, как будто и правда свои люди... Милая Женя, простите меня, что «меня трудно заставить верить». Не трудно, не трудно, т. к. уже верю, уже знаю.

Мы живем с Вами на земле — в этом вся суть. Тысячами нитей связаны мы с Вами с материальными условиями, с нравств. условиями среды, где мы воспитались и жили, и где живем. Все это надо побороть. После вчерашнего вечера мне показалось, что уничтожение символов совпадает как раз с этой нашей свободой ото всего, что нас сейчас разъединяет и делает пока несамостоятельными подмостками.

Женя, поручаю себя Вам. Вы сами знаете или узнаете, когда наступит пора отмены символов и когда... Святая, чудная девушка, ты ли pomoжешь мне нести крест мой, ты ли будешь невестой для Моряка, — Скитальца⁴ по океану наук без любви и искусства без сочувствия?

Женя, молись, молись!

Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего и всем твориши спастися в державный Твой покров прибегающим: всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнях обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душою и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя избавлением всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси божественный покров рабом Твоим.

Я молился за нас, когда писал эту молитву Казанской, которую мы слушали с тобой в церкви 22 окт. Была ли ты в церкви? Твой А. А.

22 декабря 1914 г., понедельник.

22-ое декабря! Два месяца не писал в дневник — это ведь что-то необыкновенное. Да. Необыкновенное. А может быть такое, что будет целую жизнь?

Последний мой отчет об Евгении был писан 21 октября, где я давал историю с ней до середины сентября. Так как с тех пор я погрузился в нирвану и стал забывать людей, включая и себя, то забыл сейчас решительно все отдельные этапы наших отношений, начиная с середины сентября, и только помню, ибо чувствую, самый главный смысл и характер всех этих событий.

Когда я почувствовал (Господи, помоги быть искренним перед самим собою; устал я от сознательных и бессознательных самообманов!), когда я почувствовал, что Женя и я не можем создать единую индивидуальность, о которой скорбит душа, я погрузился в свою науку, забывши и ее и себя. Был такой промежуток времени, когда мы не разговаривали по телефону по крайней мере две или три недели. Я совершенно не помнил себя. Это удивительное состояние посетило меня, только в ином виде, — с просветами любви к Елене, — и в прошлом году, в ноябре. Совершенно ничего не помнишь, ни себя, ни других. Сидишь за работой совершенно машинально, бессознательно. Я пишу сейчас в кандидатской работе о чистом сознании¹, которое по существу своему всегда непознано. Вот именно я жил все время этим чистым сознанием. Утром спешишь на лекцию, оттуда спешишь в Институт, в Библиотеку. Потом опять-таки спешишь домой обедать. После обеда, чуть отдохнешь, садишься за какую-нибудь работу, которую, того смотри, завтра или послезавтра надо подавать или сдавать. Бессознательная жизнь, сон в настоящем смысле слова. Ничего ведь не помнишь, ничего не чувствуешь; о чувствах и вообще только вспоминаешь в это время, а вовсе не переживаешь их. Ни о каких дневниках не может быть и речи, т. к. в дневнике опознаешь себя, анализируешь свои поступки и чувства, а это-то как раз и недоступно бывает в такие дни. Никому не писал никаких писем. Матери писал, — надо сказать правду, — по обязанности. Попов прислал два очень хороших письма, и вот уже два месяца ждет от меня ответа. А я... да где я? Ведь чтобы отвечать на письма, надо существовать, а где же, где я? Не ходил ни на какую музыку. Кусевицкий был месяц в провинции, а кроме него никуда не могло быть желанья затратить энергию на доставание билетов и на слушание. Сквозь сон написал два малюсеньких и пустыньких письмеца тете Жене, в которых не было ни на грош правды, кроме признания в том, что настоящая жизнь моя — сон.

И как всегда, проснулся (если только проснулся) с какой-то болью в душе, с каким-то мучительным ощущением жизни, точь-точь как у Тютчева:

*Тени сизые смешались²,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движение разрешились*

*В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!...
Все во мне, — и я во всем...*

*Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Перепохни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!*

Последнее время и вообще это дионисийское ощущение каким-то странным образом врывается в мою душу и наполняет ее. Несколько дней назад я прочел «Тристана и Изольду»³ Вагнера, и это сыграло странную роль в моих настроениях. Неужели наша жизнь, или нет, не наша, а настоящая, немецкая, одна только осмысленная и достойная человека, неужели она будет этим обречением себя на смерть, этим отказом, самозабвенным отказом от всего земного и жизнерадостного и погружением себя в какой-то сладкий мрак, «и невыразимо-тоскливый», и «благовонный»? А после нескольких телефонных разговоров с Женей я чувствовал именно эту дионисийскую стихию мира, и в ней уже не раз начинал сходить с обыкновенного ума. Да... ведь сойти с ума так просто... У сошедшего с ума ведь главное то, что он действует как бы бессознательно; не отдает себе отчета в своих действиях и поступках. Ну, а у меня?.. Я же ведь тоже теряюсь... Опять эта проклятая мысль о сумасшествии, как и в прошлом году. Это ведь так легко и просто...

Есть и просветы... Так, позвонила ко мне Вера Начеткина, после чего я хотел писать «о Вере Николаевне и о добрых душах»; прочитал «Парсифаля»⁴. Да, это родные мне настроения, это мой Христос, успокаивающий и освещающий нашу жизнь. Христос, светлый, очищающий, возвышающий и... дионисизм, темный, мучительно-сладкий, тянущий куда-то вниз, в мрак, в тоску... Что истина? Куда пойдет моя жизнь? А когда вспомнишь о чистых девственных сердцах, когда услышишь голос Веры Начеткиной или стоишь в храме, — как чуждым мне кажется этот дионисизм и как странным представляется то, что я мог ему поддаться.

А наступит минута -- и опять сумасшествие, опять смерть и мучительно-сладкий сумрак...

Занятия в Университете и Институте кончились, и в Общежитии в целом коридоре я да Смирнов⁵. Один, один... И сколько переживает у меня настроений, сколько переживаешь и передумаешь за день, за один только день. Так, сказала однажды моя новая ученица Софья Николаевна, узнавши, что я на Рождество буду один: «бедный мой мальчик!» И от одних только этих слов у меня целый день было хорошее настроение, скажу — христианское настроение, ибо просветленное оно и успокаивающее.

Когда сел сегодня за дневник, то хотел писать на тему «о Вере Ник. и о добрых душах». Но во время писания пришла мысль: не обдумать ли для печати что-нибудь из моих теперешних настроений. Наконец, в последнюю минуту захотелось писать о моих сношениях с Евгенией Антоновной. Не знаю, куда деться и с чего начать. Пока же воспользуюсь наиболее простым выводом: ничего не буду писать. А похожу-ка по комнате, да подумаю.

29 декабря 1914 г., понедельник.

И все-таки я люблю тебя, Женя, люблю всем своим нутром, люблю как-то незаметно, спокойно, тихо. Вчера много занимался Гуссерлем, и вдруг, около 2-х часов ночи, оторвавшись от Гуссерля, я как-то сразу почувствовал свою любовь к Жене, почувствовал ее мягкую женственность, ее ласку, ее милое, доброе сердце. После этого, т. к. было время ложиться спать, я лег, но лежа все время думал о Жене, об ее мягком характере и о доброй душе. Не спал до 5 часов утра, и, наверно, все мысли о ней не давали спать, т. к. точно так же не дают иногда спать Гуссерль, Вагнер и «чистое сознание». Все время думал о ней. И странно, в эти минуты наибольшей близости ее ко мне, я менее всего думал, а если думал, то менее всего стремился к тому жизненному воплощению нашей с ней любви, о котором скорбит моя душа. Когда у нас зайдет речь (конечно символически) о «жизненном» выполнении нашей любви, то Женя как-то закрывает глаза на эту «реальность». Так, она писала мне: «Вы захотели какой-то непонятной реальности»... Ну, а вот в эти минуты, когда я вчера думал о Жене и о нашей любви, я не хотел «реальности». Или нет; я, может быть, хотел ее больше, чем когда-либо; но я не страдал видя ее отсутствие. Я все время сознавал то, как трудно нам устроить с ней счастливую, совместную жизнь, как она требует от меня и от ней многих жертв. И все-таки я почти вслух повторял много раз в своей пустой комнате, что люблю тебя, Женя, люблю твою женственность, и люблю не умом только, не чувством только, а всем своим нутром, всем своим существом. Если бы мы действительно захотели пожениться, к этому создались бы бесчисленные препятствия. Я совершенно не обеспечен материально; необходимый кусок придется зарабатывать самому, не рассчитывая абсолютно

ни на чью помощь. А жить в Москве, жить с семьей да еще при моей библиомании и меломании — разве возможно на какие-нибудь две тысячи рублей? Но этого мало. Ведь жениться на ней, — значит оторвать ее от родной почвы, значит навязать ей, еще в сущности ребенку, жизненный подвиг, значит лишить ее радостей девической жизни. Посмотрите, как она танцевала 25-го декабря и как забавлялась, подавая руку грубому солдату, распевая песни вместе с этими ранеными и радуясь всей своей детской силой непосредственности танцам, елке и празднику. Взять ее отсюда, оторвать от почвы, вскормившей ее, увести на тяжелый и тернистый путь жизненной борьбы и жизненного подвига, заставить ее делить со мной мою суровую философию и одиночество, когда ей теперь так сладко и приветливо, так мило и уютно живет под крылышком любящих и лелеющих ее родителей — вправе ли я делать все это, могу ли решиться на такое дело и не будет ли это страшным преступлением? Обо всем этом думалось всю вчерашнюю ночь и, думая так, я опять повторял: и все-таки люблю Вас, милая Женя, люблю всем своим существом. И еще много препятствий обдумал я вчера, и не становилось почему-то тяжело, хотя обыкновенно, эти-то мысли о препятствиях к полной любви и заставляют предаваться вагнеровскому дионисизму.

Не знаю, может быть, в глубине души я убежден, что Женя уже моя, что рано или поздно мы соединимся союзом о Христе для вечной любви? И может быть поэтому-то я и не беспокоюсь за будущее?

Не знаю. Но почему-то легким представлялось мне то наше свидание, которое в мае месяце будет последним, и после которого я уеду в провинцию, чтобы никогда, вероятно, уже не появляться в Москве. Я думал, что или вовсе не будет такого свидания, которое мы с ней устроим в качестве последнего, и я уеду для нее неожиданно, или же, если будет, то будет такое милое, простое и нежное, без экстазов, без клятв, и так же мягко и женственно, как женственна и сама Женя. А возможно, что я побоюсь этого последнего свидания и не устрою его. И тогда придется написать ей прощальное письмо, в котором уже надо будет перейти от символов к реальным словам, и в котором я просто и отчетливо расскажу всю нашу историю с ней, но только в обыкновенных и несимволических словах. Я скажу, как устал от одиночества и от женщин-мещанок, как в мае прошлого года промелькнул во мне образ чистой и нетронутой Жени и как захотелось связать свою судьбу с ее. Я скажу, как ее девическая и даже детская наивность мешали мне сказать ей правду о ней и о себе, как осенью этого года я стал опять верить в возможность нашего земного союза перед Церковью, как потом опять много раз приходилось убеждаться в невероятной величине тех жертв, которые

нужно было бы принести нам обоим, если бы мы захотели пожениться. Наконец, я скажу ей, что ее красота и женственность не может еще создать рабочие руки для постройки жизни, что, несмотря на нашу чистую и святую любовь, мы должны расстаться и строить свою жизнь каждый по-своему. Впрочем прибавлю ей: Милая Женя! Память о вас не умрет в моем сердце, где бы я ни был и что бы ни делал. Жить наукой и остаться живым человеком может только тот, у кого есть жизненная, дающая энергию любовь; не имея такой жизненной любви, т. е. не соединившись с Вами узами брака, я теряю и вообще возможность получить поддержку для своей науки со стороны женщины. Ведь если и с Вами не устроилось мое жизненное дело, то что же говорить о прочем мещанстве, из которого состоят все эти «курсистки» и пр. Но уходя от Вас, я сохраняю свою любовь к Вам. Живя и работая в провинции, что для меня, одинокого, легче, чем тяжелый научный путь, я никогда не изменю Вам и останусь чист перед Вами до конца дней моих. Нельзя же вообразить, что бы я нашел среди окружающего мещанства еще одну идеальную девушку, которая была бы выше Вас и сильнее меня, и которая смогла бы создать со мной красивую, христианскую жизнь. Ведь это же было бы чудо, которого все равно не видать таким грешникам, как я. Уйдя от вас, не изменю Вам, буду хранить в душе моей память о чистом и добром сердце Вашем, приласкавшем меня и согрешившем.

Так думал всю ночь о Жене, и ложась «спать» молился о ней.

*Среда 31 декабря 1914 г.,
11 ч. 35 мин. вечера.*

Во всякой женщине, если она не мещанка, есть свой стиль, в то время как мужчина-немещанин далеко не всегда выявляет собою какой-нибудь определенный стиль. Любопытно то, что этот стиль проявляется у женщины в пустяках на столько же, как и в главном. И замечательная эта вещь — стиль, и именно женский стиль. Как бы ни влияла на нас женщина, она всегда влияет по-своему, по-женски; и женский стиль, значит, тоже влияет и как стиль просто, и главное, как женский стиль. Я много раз думал о том, какую бы это выдумать классификацию женских стилей, чтобы можно было легко обозреть все многообразие и разнообразие ощущаемых мною женщин, как в жизни, так и в искусстве. И всегда мысль моя колебалась относительно принципа классификации; я не знал, что важнее и шире в женском стиле, тот ли эротизм, которым так бесстрашно и жестоко наделяет Вейнингер каждую женщину и который во всяком случае допускает бесконечное разнообразие стилей, начиная от проявления животных инстинктов и кончая высшими, утонченными, поистине «стильными» формами любовных чувств, или же ограничиться здесь

обще-эстетическими мерками, применивши хотя бы мои понятия аполлинизма и дионисизма с их последующими разделениями. Пожалуй, эти два принципа и не противоречат один другому, поскольку формы проявления женского эротизма тоже вполне допускают к себе обще-эстетический подход. Не знаю. Но что касается той женщины, о которой я сейчас хочу писать, то если возможно по отношению к ее «стилю» совмещение эротизма и общих эстетических норм, это будет, если эротизм, то какой-то в роде скрябински-вагнеровского, а если эстетические нормы, — то шопенгауэровские.

Объект моего внимания довольно необычный. Мой декан вечно откапывает какие-нибудь штуки. Сегодня он откопал два портрета Вел. Кн. Ольги Николаевны¹, которые оказались настолько содержательными и «стильными», что я не замедлил их отобрать у него, чтобы подробнее всмотреться в это удивительное лицо и посвятить княжне одну-две странички моего дневника. Это было около 6 часов вечера, когда я впервые увидел Ольгу Николаевну. И после этого времени, вплоть до того момента, когда сел писать эти строки, ощущал в себе странные приливы дионисизма, в котором «эротизм» и «стильность» буквально отрывали меня от Гуссерля и заставляли ходить по комнате и думать об этом удивительном видении. Такое же видение посетило меня в Берлине, после чего тоже не мог заниматься и все думал, думал; думал о той таинственной и страшной глубине, которую скрывает в себе эта спокойная оболочка внешнего мира; думал о тех тайнах, которых не лишена и наша серая трамвайная жизнь, о тех экстазах и восторгах, которым есть место даже за этими незаметными, бессодержательными и бледными фигурами, лицами, словами. И тогда, в Берлине, я был пронизан одним взором, который подействовал на меня с такой силой, которую можно назвать только физической. «Все куда-то исчезло», писал я, «и трамвай, и мои бумаги, и мостовая, на которую я стал бессмысленно смотреть». Я был пронизан этим электрическим током глаз, и всего себя ощущал в какой-то невиданной и нежданной атмосфере электрических токов. Вот каковы бывают женщины. И к ним принадлежит Ольга Николаевна.

Это женщина, которая никогда не может остановиться на полдороге, быть нерешительной, чего-нибудь не договорить, не доделать. Она не знает «больше», или «меньше», или «немного», или «много». Она знает только одно: «есть» и «нет». Она никогда не знает того, что мещане называют «мерой»; для нее не существует никаких законов, кроме нее самой. И вся эта удивительная энергия, удивительная полнота и цельность, которую Ольга Ник. может при случае проявить, — все это подчиняется какой-то одной

страсти, самозабвенной и роковой. Для многих страсть есть удовольствие; для Ольги Николаевны страсть есть прежде всего страдание; это какое-то мучительное наслаждение страстью, какой-то сладкий мрак, покрывающий очи и отдающий все ее существо самозабвенному мигу переживания. Ее цельность и отсутствие «меры», о которой выше было сказано, есть следствие этой страсти. Она отдается ей вся; неудержимо она тянет за собой каждого, кто хоть немного вкусил от этого темного, млеющего яства мучительных наслаждений. Она не отдается этому наслаждению только когда-нибудь, в порывах страсти и во время внезапных вспышек своих инстинктов. Огонь страсти горит в ней постоянно, горит неизменно. Это не ярко пылающий луч страсти, не светлый фейерверк сильного, но мгновенного эротического экстаза. Это — невидное, неяркое горение, подобное накаленному металлу, и накаленному не добела, не до светлых и определенных форм, но накаленному докрасна, чуть-чуть заметно для глаза; это горение непрерывное, неугасающее, хотя и не бросающееся своим видом. Его трудно заметить издали, ибо чуть-чуть заметное изменение в цвете от накаливания вовсе не выделяет этот горящий предмет от других предметов. Но попробуйте подойти поближе и попробуйте прикоснуться к этому предмету; — вы с ужасом от неожиданного электрического тока, с криком внезапного страха отдернете руку, и вам трудно будет потом залечить ожог. Такова Ольга Николаевна. Это непылающее, незаметное горение, но в нем такие сладкие муки и такие мучительные наслаждения, такойжигающий электрический ток, что нельзя быть около нее и остаться невредимым.

Она вас тянет к себе невидимой и неведомой силой. Если вы раз претерпели на себе прикосновение ее руки, которую она так спокойно и властно держит у себя на первом портрете у колена; если вы хоть раз взглянули на это гордое и уверенное в своем поведении лицо, слегка приподнятое на втором портрете; если вы, наконец, всмотритесь в этот первый портрет, где она сидит как бы в промежутке между самоотданиями своему жизненному назначению, и где легкое, обвисающее платье так отчетливо рисует сладострастные плечи и отсутствие девственных грудей; если, говоря, всмотритесь вы во все это, — вы почувствуете себя как раз в этом тумане мучительного и тоскливого наслаждения, в этих сладких электрических токах, которые и доставляют вам невыразимую боль и сильнейшее наслаждение.

В обоих портретах нет ни тени колебания и сомнения. Это поразительно усиливается еще необычайным спокойствием лица и фигуры и там и здесь. Вот портрет, где она сидит. Если мы сначала обратим внимание на общую фигуру, то она неотделима чисто-

психологически от того платья, которое на редкость поразительно ярко гармонирует со всей Ольгой Николаевной. Легкость и воздушность платья выше пояса, равно как строгость и прямолинейность его ниже пояса одинаково резко характеризуют общие контуры этого «женственного», хотя и выносливого, быть может, даже поэтому и грубоватого тела. Это тело, чуть-чуть прикрытое таким воздушным (до пояса) платьем, постоянно зовет к себе, неуклонно манит к своему тоскливому наслаждению; или, нет, оно не зовет и не манит, оно само собой, без вашего согласия, тянет к себе, влечет к этим откровенным плечам, к этим изящным, оголенным рукам, к этой сильной шее, имеющей такой наклон по отношению ко всей верхней фигуре, который у двадцатилетнего может быть или от непрестанной работы мысли или от сложной мучающей страстности. Очень показателен в психологическом отношении тот характер этого платья Ольги Николаевны, который заставляет его виснуть, скатываться свободными и ничем не наполненными формами, так что остается большой промежуток между самими телесными формами и этим платьем. Выгодно обрисовываются при таких платьях, конечно, только плечи, потому что чем тоньше и воздушнее фасон платья, тем, разумеется, виднее и формы, к которым это платье непосредственно и вплотную прилегает. Но там, где оно вплотную не прилегает, там и вовсе становится трудно судить о формах, если они не замечательны каким-нибудь выдающимся свойством. О плечах уже было сказано, что в них много сладострастия и мления. Это и вообще характерная черта Ольги Николаевны. Она — музыка Скрябина с его бесконечным экстатическим и диссонирующим млением, с его темно-красным, мрачным и мучительно-сладким горением страсти. Но еще выразительнее, может быть, эта самая грудь, которой, собственно говоря, даже не видно, и вместо которой имеем только нависающие складки платья. Я сказал, что если платье не вплотную прилегает к телесным формам, то о них нельзя судить определенно, если в них не скрыто каких-нибудь замечательных особенностей. Все дело в том, что у Ольги Николаевны как раз скрыты эти замечательные особенности передней части фигуры и платье, нависающее и не вплотную к ней прилегающее только еще больше усиливает общий дионисийский эротизм этого млеющего, но сильного тела. В чем состоят эти замечательные особенности, — помогает узнать второй портрет. Когда всмотришься к этому последнему, ясно, что поверхность собственно *таппа*² начинается очень низко — это раз; во-вторых, сама *таппа* не может иметь девической упругости и пышности. Первое свидетельствует о том, что Ольга Николаевна и от природы назначена к длительной и мрачномлеющей страстности; второе — о том, что этим

природным склонностям не было поставлено никаких преград, так как у женщины после первого же физиологического акта матка теряет упругость, становится мягкой и получает своеобразную округлость, как бы наполненную какой-то жидкостью, что и позволяет даже без помощи осязания, одним взглядом отличить девственность от тронутости.

Вообще говоря, формы женских грудей можно делить на эпические, лирические и драматические, причем в зависимости от преобладания логичности или экзотичности в каждом из этих трех рядов, можно получить целых шесть видов женских грудей. Какие груди у Ольги Николаевны. Безусловно тут мало лирики, так как в лирике всегда есть созерцание собственного настроения, а это если и налично в том портрете, где она сидит, то только созерцание в промежутке между самозабвенными экстазами. Это — груди, говоря вообще и неопределенно, — драматические; говоря же точнее, это груди трагически-роковые, это трагедия без действия, трагедия без сознательной воли, это трагедия рока, покоряющего всего человека, возбуждая его страсти и неуклонно ведя в эту бездну наслаждений. Ольга Николаевна редко бывает веселой. Она никогда не хохочет, и едва ли когда-нибудь смеется. Она только иногда улыбается, и улыбка ее настолько же печальна, насколько и кратковременна. И все это благодаря тому серьезному и сложному содержанию страсти, которое наполняет всю ее душу и возбуждает все ее тело. Страсть это ее рок, — это ее трагедия. И вот груди Ольги Николаевны, так незаметно и низко начинаясь, и будучи такими неупругими (что видно еще и от некоторой смещенности их в стороны от центра), как раз и говорят об этой трагической предназначенности ее к страсти и об ее покорном и серьезном выполнении этого рока.

Каждый из этих двух портретов по своему характеризует особенности лица Ольги Николаевны. Там, где она сидит, лицо оставляет с первого взгляда довольно невыгодное впечатление. И только когда увидишь другой портрет, только тогда лицо на первом портрете приобретает совершенно иную окраску, выявляя массу совершенно неожиданных черт. Иначе же про первое лицо только и можно сказать, что оно много всяких видов видело. Поэтому всмотримся сначала во второе лицо.

Если бы это было лицо человека восточного происхождения, или если бы вы не знали, что Ольге Николаевне 20 лет, то, может быть, ничего особенно замечательного вы и не нашли бы. Но надо все время помнить, что это русская девушка, и что ей всего 20 лет. А помня это, мы открываем массу любопытных черт. К сожалению, очень плохо виден лоб. Но насколько можно судить, это довольно энергичный, мыслящий лоб, на что указывает некоторое

углубление в центре, как это можно при некотором усилии заметить на второй фотографии. Если так, то ясно, что страстность Ольги Николаевны не мешает ее уму, а наоборот, способствует ему, хотя, разумеется, только в своих целях. Одно можно заметить довольно хорошо: этот лоб довольно высокий, хотя и кажется, будто он низкий, так как спущенные волосы сильно скрадывают расстояние от корней волос до бровей. По всей вероятности, Ольге Николаевне не чужды некоторые познания в науках, и если бы не страсть, которая отнимает у нее время и внимание, мы, пожалуй, были бы вправе ожидать довольно мыслящий рассудок, может быть, даже имеющий значение в науке, и главное, холодный рассудок. Впрочем, его и теперь можно характеризовать как холодный, т. к. в нем нет самостоятельной самородной инициативы; он — холодный слуга и угодник страсти. Глаза довольно тяжелые, едва ли подвижные. Мягкость и какая-то нежная дряблость мест между веками и ресницами, а также и области непосредственно прилегающей к глазу со стороны виска и ниже — все это, вместе с начинающимися образовываться кругами под глазами, — все это опять надо отнести опять все к той же характеристике многих бурных почей и изысканных наслаждений, к каким предназначена Ольга Николаевна. Сюда же относятся и очень худые для 20-летней девушки щеки, свидетельствующие об отсутствии нежных чувств и успокоительных аффектов. Бурные переживания и роковой гнет страсти делает лицо испитым, придает ему затаенную и лишь с трудом улавливаемую неимоверную силу страсти. Худые щеки переходят в нижней своей части в довольно развитые челюсти, что в особенности видно если смотреть на правую линию, очерчивающую лицевой овал (правую — со стороны нас). Здесь в особенности ярко выделяется некоторая хищность природы Ольги Николаевны, некоторое коварство и нравственная неразборчивость, что впрочем развилось в Ольге Николаевне не самостоятельно, а под влиянием все той же основной черты ее природы. — К сожалению, не виден нос в профиль. Что же касается en face носа, то о нем трудно сказать что-нибудь положительное, если не считать некоторого довольно иррационального перехода боковой поверхности носа в темный круг под глазом. Можно с уверенностью сказать, что эта часть лица, если смотреть на Ольгу Ник. в натуре, доснится, что в совокупности с указанной иррациональностью указывает или на долгую бессонницу или о твердой решительности к повинению своему року. У Ольги Николаевны может быть и то, и другое.

14 января 1915 г.

Мироощущение русской частушки.

18 января 1915 г.

Какую массу писать, Боже мой, какую надо массу писать в этот постоянно забываемый мною дневник? Не знаю, что описать, свой ли так стремительно подвинувшийся роман с Е. А.¹ или о музыке, об этом Боге, который лечит меня и от жизненных треволений и дает новые откровения высшего мира. Как ни хотелось бы выкинуть из головы всякие мысли об Е. А., все-таки попробую здесь в двух-трех словах сказать, что именно произошло. Судя по моему теперешнему настроению, — особенных словесных самогипнозов бояться мне нечего.

Как уже было писано, целое Рождество Е<вгения> А<нтоновна> пропадала из Москвы, и о себе, конечно, ни звука. Софья Алекс. довольно прозрачно намекала на то, как она провела праздник. Живя все время один своими иллюзиями и не получая малейшей поддержки для этих иллюзий со стороны Е. А., я в сущности все время мучился, будучи поставлен в полную неизвестность относительно своего «предмета» и вращаясь в кругу своих же собственных иллюзий и мыслей. Надеялся на 7-ое января, когда был назначен концерт Кусевицкого. Правда, в этот вечер она подошла ко мне, но все время была довольно холодна и видимо была занята гораздо больше своими собственными ощущениями. За праздники даже похудела и постарела, сгорбилась. Идти со мной не захотела, а пришлось ехать с ней на трамвае. Ни единого слова ласки или хотя бы чуть-чуть ободряющего привета. Так закончилось это давно жданное мною свидание. Терпел я еще 2 дня. Наконец, 10-го сам позвонил ей, ибо ждать ее (а я именно ждал) было уже бесполезно. В начале разговора холодна. Т. е. не то, чтобы именно «холодна», т. е. намеренно холодна. Пожалуй, я готов верить в ее искренность и отсутствие ампула как на концерте 7-го, так и тут. Потом выяснилось, что она чего-то ждет, намекала на свою литературную деятельность, которая через полтора месяца «должна критически оцениться» и пр. Но потом стала намекать на то, как она не препятствует, когда кто-нибудь сидит с ней в комнате и жмет ей руку; стала говорить, что она теперь нервничает, что надо «все пережить», что она ничего не знает, что от душевной тревоги молится в уединенной части храма Христа Спасителя и пр. Несмотря на мои униженные и почти слезные просьбы сказать мне, что именно ее ждет, — абсолютно никакого ответа: «Я не смею этого сказать». А главное то, что она подняла в шуточной форме вопрос о «нашей дружбе», есть ли она или ее нет; при этом беззаботность и незаинтересованность (в моем смысле) была настолько очевидна, что нужно было быть слепым, чтобы не видеть ее подлинного отношения ко мне. Так как во время такого равнодушия ко мне, никогда очевидно не переходившего в подлинно любовное отношение ко мне, я пере-

жил, Бог его знает, какие чувства и понастроил всевозможных теорий о браке с ней, любви и пр. и пр., и так как мучиться и ждать было уже не по силам, то я сейчас же после телефона сел и написал такое письмо, каких я еще никогда не писал. Главное в нем то, что я прямо, без символов говорил о браке и о любви, которые рисовались моему воспаленному воображению. Я говорил там о своей любви на все те лады, на которые она когда-нибудь действительно во мне существовала и на которые писалось о ней. Говорил, что, бросая меня, она разрушает мое счастье и едва ли создает его для себя. Кто больше сумеет ее настроения, кто глубже поймет ее поэзию, тот захочет большей красоты и духовности в своих отношениях к ней, как я, как я, одинокий, заброшенный, никем не любимый. Ты, не сумевшая заставить меня оставаться даже в письмах ровным к тебе, ты, не нашедшая в себе сил даже в конце сказать честное «нет», когда внутренне уже его произнесла, ты ли мне еще будешь говорить о какой-то любви и нежности? Вспомнишь меня, но будет поздно. И все в таком роде. Просил вернуть письма и фотографии. Писал искренно, с глубоким душевным подъемом, с страданием в возбужденной душе. И после этого, 10, 11, 12, 13, 14 января чувствовал себя совершенно по-новому. За эти четыре дня создалась целая философия в духе Вагнера и Шопенгауэра², но с истинно-христианским Богом и с молитвами. Страдание --- что может быть выше, возвышеннее, совершеннее? Жизнь наша страдания; и надо уметь находить в этом мире страданий Бога, надо уметь по достоинству оценить те немногие минуты спокойных аполлонийских созерцаний, которые выпадают на нашу долю. Они указывают на мир иной; они не характеризуют его вполне, ибо уже один факт (и нередкий) случайности этих созерцаний в жизни --- заставляет все же остерегаться от абсолютной их оценки, а тот иной мир мы как раз мыслим в абсолютных формах. Но они, как просвет среди этого самозабвенного страдания, среди этой жизненной жути дионисизма, как перст указующий на горную страну, они должны нами цениться и почитаться. И ценя их, мы получаем эту странную формулу, которая даже пугает своей откровенностью: мучительное наслаждение бытием. О, нет, не Скрябин, не «без цели», не так головоломно. Но именно мука, и именно наслаждение. --- А себя в эти дни я чувствовал, говорю, особенно. Так как единым взмахом я свалил с себя ношу, тяготевшую надо мною целых полгода (если не считать еще прошлогодней весны), то было и какое-то облегчение, как будто бы вся мука и все страдания, исполнявшие раньше всю душу, — сгустились, собрались в одну непроницаемую кучу, отделившись от прочих областей души и освободивши их. В груди чувствовалось какое-то место, где этот сгустившийся шар страда-

ний находится; а прочая душа, кажется, возрождалась к новым переживаниям, освободившись от гнета любви и постоянных мучений, невысказанных, неразделенных. Нужно было, таким образом, удалить этот шар, и тогда я был бы совсем свободен.

К своей полной неожиданности я избавился и от этого «шара» — 15-го января, да избавился еще так радикально, что раньше и предполагать не мог. Именно, к полной своей неожиданности получил ответ от Е. А. Пишет, что она вовсе не выходит замуж, что она и не воображала о такой определенности моих мыслей и настроений, о моем намерении назвать ее своей женой и пр. Пишет, что и она меня любит, что может быть, будет не только «Ваше», но и «наше» счастье и т. д. Не понравилось мне это письмо. Литературно, обдуманно, а главное — писалось оно целых три дня; это верный признак неискренности и «опосредованности». Да кроме того, оно и противоречило многочисленным фактам, о которых не хочется писать тут подробно. Ни слова не сказано о том, что она понимала под «раскрытием символов»; не говорится о тех надеждах, которые она могла подавать только при мысли о браке; не опровергаются фактически слухи об ее замужестве; и уже ни слова не сказано о «нем». И т. д. И т. д. Вот, что я ей написал.

«Опять извиваешься и ползешь ко мне, как змея, чтобы я пригрел тебя на своей груди и чтобы ты снова ужалила меня в эту грудь. Несчастливая, целых три дня думала, и потом вдруг разрешилась своими литературными нежностями. Не обращая внимания на мои теперешние страдания, ты все еще хочешь иметь меня в запасе. Слушай, если ты еще будешь лезть ко мне со своими нежностями, я лучше пойду в Сибирь, я тебя, проклятую сатану, застрелю в той самой комнате, где ты являешься мне ангелом. Когда ты перестанешь меня мучить? Когда ты перестанешь меня мучить?»

На это уж едва ли что-нибудь она ответит. Так вот это ее «признание в любви», моя оценка этого признания, ее длинное письмо и мой ответ на него — все это вырвало у меня из души тот клубок страданий, о котором я выше говорил. Чувствую сейчас необычайное облегчение. Е. А. как будто виделась во сне, в театре. И весь роман мой, такой необычный, — представляется мне какой-то пьесой, которую я только что прочел. Сегодня даже звонил 74-00, а до сего времени ведь боялся каких-то распросов. Ничего не боюсь теперь. Не прочь «поощушать» милых, невинных девушек. Это тоже показатель того, как я отхожу от реальности, от желания воплотить свои грезы в реальную действительность, которое в первый раз так сильно ощутилось в отношениях к Е. А. Возвращаюсь опять к прежним оптимистическим и аполлинийским созерцаниям, и чувствую здесь свои родные места. Опять дело

попроще и поэтичней. С Е. А. все было чрезвычайно сложно, и Вагнер мой был близок к осуществлению. Нет, это не мой удел. Мне только быть таким, каким я был, напр., в 8 классе гимназии, или на первом курсе университета, когда целые вечера уходили на то, чтобы писать десятки страниц Кочетковой, Лурье, Алексеевой и пр. Мечты, прекрасные, возвышенные мечты, а не тяжелое выполнение их в жизни. В жизни, в реальной жизни — труд, как это было у меня всегда. Все остальное в мечте. «Мечта», скажу я опять, «не нуждается в осуществлении». Господи, благодарю тебя за благополучное перенесение ниспосланного Тобой испытания.

А Е. А.! Боже мой, какой она кажется далекой! Ну, просто это в романе я о ней прочел. Разве она была в действительности!

Удивительна жизнь и роскошны ее эксперименты! Я благодарю судьбу за этот эксперимент. Вчера, лежа, думал, как под влиянием романа с Е. А. я опять начинаю интересоваться этической проблемой³, заброшенной после гимназии вследствие психологии и университетских формальностей. Да. Жизнь есть школа.

29 янв. 1915 года¹

22 марта 1915 года. Светлое Христово Воскресенье.

Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах: и нас на земли сподобит чистым сердцем Тебе славити¹.

Переживши мировую трагедию Страстной недели и встретивши светлое Христово Воскресение, не имеем слов высказать многострунную песнь души нашей. Мы даже не радуемся, как и не скорбим; мы уже коснулись тамошнего мира, мы уже вкусили от божественной трапезы. Высшая степень радости уже перестает быть радостью, ибо она растворяет в себе, погружает в домирный океан божественного естества, от которого отпал мир. Нельзя радость нашу о Христе Иисусе называть радостью, ибо это так мало звучит и так мирски-обворовывает. Не радуемся мы Твоему преславному воскресению, Христе Спасе, но соучаствуем Тебе и через Тебя зрим свет неприступный, за который Ты пострадал. Нет ни одного человеческого чувства, с которым бы можно было сравнить радость нашу. Нет ни одного смутного и ясного движения души нашей, из которого можно было бы составить радость о воскресшем Спасителе. Больше того. Вслушиваясь в эти далекие и близкие звуки, возвещающие нам бытие высочайшее, мы чуем всю основу, наиболее глубинную и сокровенную основу и всех прочих наших вздыханий к горнему миру. Мы чуем религиозную основу высших художественных созерцаний. Мы чуем религиозный смысл нашей нравственной деятельности. Мы чуем религиозный поток наших чувств к любви и к единению душ. Это же и есть та религия, та святая жизнь о Господе Иисусе,

которая зацветает в православной церкви столь грандиозными и величественными символами Страстной недели. И все это не есть только радость. Все это есть основа всей нашей вообще разумной жизни, не просто радость, которая предполагает и свою противоположность — страдание, а то всемирное радование, которое онтологически характеризует собою бытие высочайшее, бытие вселенское, и потому не допускающее себе никакой реальной антитезы.

Наблюдаемая нами природа являет тайные знаки своего отпадения от первоначального цельного Естества. Мир разорванного пространства, мир опространственного времени, мир разъединенных душ — ты ли хочешь быть самостоятельным и вечным. О, как заблуждаются те, которые чтут под наблюдаемыми непреложными «законами природы» подлинное выражение сущности природы, как не видят их очи и уши не слышат тайного голоса природы, стенающего по своей прежней жизни и стремящегося к обожению! Воскрес Христос, -- и чувствуем этот разодранный и злой мир. Воскрес Христос -- и чувствуем жизнь бытия, высочайшего, от которого отпали. Воскрес Христос, -- и чувствуем основу всех наших горних воздыханий. Такова радость наша и такова воля на земли чистым сердцем Тебе славити.

23 марта 1915 г. Понедельник.

В эти дни проникновенных чувств высшей жизни во всякой даже мелкой черте жизни видится ее глубокий смысл и далекая ее перспектива. Так, вчера вечером, когда я поздравлял по телефону Киру Михайловну с праздником, между нами завязался разговор, может быть и ничем особенным не отличающийся, но такой, в котором мы оба почувствовали струю интимного понимания, пробежавшую между душами нашими. После приветствия и разговоров о предстоящих постановках в нашем абонементе, я сказал ей: «Хотите, К. М., чтобы я Вас обидел?» — «Хочу». — «А Вы очень будете обижаться?» — «Нет, говорите. Ведь раз вы это хотели сказать, то наверно это не обидит». — «Ну, так слушайте. Вы тоже еще невзятая крепость. Чтобы взять вас, надо иметь проникновенную душу и сложную массу переживаний. Обыкновенно женщины любят нахалов, клоунов и банкиров. Для Вас все это слишком достижимо, чтобы вы действительно могли этим удовлетворяться. Вы еще невзятая, невзятая крепость». — Я был удивлен и даже поражен, когда она согласилась со мной... Мало-помалу разговор принял довольно интимную форму и в конце концов я отошел от телефона с пылающими щеками. Да и она, видимо, почувствовала многое. «Меня это даже волнует... Вы так просто и без лишних слов поняли меня и коснулись того, над чем я сама много думала. Именно, крепость еще не взята. Взяты толь-

ко первые форты, а кремль, середина еще остается нетронутой...» Так вот что таится под этой изящной фигурой светской дамы! Всегда такая веселая и разговорчивая, такая светская и обходительная, — она еще не вкусила настоящей любви, и супруг ее, овладевший первыми фортами, не сумел и не смог взять самого главного... Да и что такое этот супруг?.. Это какая-то странная фигура. Елена когда-то намекала на его какую-то болезнь. Да оно и правда странно: живут зимой на даче, он никогда не показывается в свете, не ходит он и в театры. Кира Мих. на концерте и в театре всегда одна. Можно о чем угодно говорить с Киной, но никогда ни одного слова об ее супруге. Странно все это. Но неужели же Кире это доставляет еще и страдание? Ведь думать-то об этом она еще может, но страдать, повинувшись этой жизни, — это ведь нечто совершенно другое. Неужели у Киры нет внутреннего, душевного спокойствия, неужели ее постоянный смех и веселость есть только маска, из-за такта и светского приличия надеваемая, чтобы не показать свою душу нескромным очам? ...

Все это еще для меня тайна. Но не тайна то, что вчера между нами пролетела искра нежного и интимного понимания; не тайна то, что Кира, по ее словам, приобретает во мне даже друга, без лишних слов подошедшего к ее тайне; не тайна, наконец, то, что Кира относится ко мне нежно и ласково, и что вчерашний разговор наш был целым событием в истории наших отношений с нею. Неужели я призван быть ее помощником?.. Но ведь она же замужем, у нее же маленькая девочка...

Да будет воля Твоя! Радуюсь тому, что вчерашнее проникновение душ наших, хотя и начальное, хотя и частичное, ясно ощущается мною, как принадлежащее к тому же порядку единения душ в любви, ради которого страдал и воскрес Христос. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гресех живот даровав. Даруй живот и нам, Господи!

11 июня 1915. Переписываю сюда 2 июля 1915.

Сию в халате, на больничном дворе¹, а в душе волнуются неясные звуки, вдруг возникшие и вдруг напомнившие о счастье и о прекрасной, полной жизни. В жизни нет более тонкого наслаждения, как то, которое создается радостью взаимного проникновения душ, и даже не проникновения, а только намеков на него, только одного устремления к нему; все равно, — осознанного или неосознанного. А на этих днях судьба мне вновь послала пережить эту радость и это ощущение высшей жизни, к которой в обыкновенное время только стремишься. Ольга Эмануиловна — вот имя той красоты и девственности, которые явились мне в этот приезд в Новочеркасск. Опять ощутился этот зуд счастья, это щекотание, которое испытывает душа, созерцающая другую душу и

опять хочется счастья, хочется отдать свою душу этой другой душе, а ее вобрать в себя, слиться с ней. Такая нежная и простая душа, такой здравый смысл и такая в то же время девственность и женственность, — как все это находится подле такого неяркого и бледного по душе человека, как ее муж! А она была так откровенна, что чуть ли не в первое наше свидание сказала мне, совершенно незнакомому ей человеку, всю правду о своем «счастье». Она была так проста и откровенна, что я мог совершенно свободно заметить все, что только может быть для нее характерным. Милая Олечка! Вы не замужем, нет! Вы еще нетронута, чистая девушка; Ваше сердце еще ждет любви, еще ждет красоты, которая откроет Вам глаза на всю глубину жизни и мысли. С Вашей нежной душой может быть вблизи только такая же нежная и простая душа, и не Вашему мужу дано быть Вашим мужем и перед Богом². Чем дальше Вы живете, тем более Вы сознаете свое одиночество и тем более жаждете настоящей любви и истинного счастья. Ваш муж понимает Ваше превосходство над ним, и ради этого он дает Вам большую свободу. Это единственно, чем ценен для Вас муж, живущий сейчас с Вами. Не будь же его, Вы оставались бы чистой и прекрасной девушкой, — и к Вам даже сейчас трудно отнестись иначе, как к девушке, такой же милой, невинной и очаровательной, как и Ваши две сестры. Иначе бы я говорил с Вами, если бы Вы не были замужем, и другие бы песни полились из моей помолодевшей души навстречу к Вашему чистому, нетронутому сердцу. Но теперь мы с Вами далеки один от другого, и препятствия, хотя и чисто внешние, но все же такие, которые мы с Вами едва ли сумеем одолеть, — мешают нашим душам породниться больше и узнать то сокровенное ядро в них, которое, как я верю, тождественно и в Вас и во мне. Мы расстанемся с Вами, и может быть уже никогда не увидимся. «А счастье было так близко, так возможно!...» Прощайте, милая, добрая, Олечка, и не поминайте лихом «профессора», который был близок к тому, чтобы полюбить Вас и связать свою одинокую науку с Вашей нежной помощью.

25 июня 1915 г.

Нет, надо купить Вейнингера¹ и опять его перечитать. Женщина это сама сексуальность. У нее постоянно чешется, щекочется, зудит. Это я по поводу О. Н. Умна, в высшей степени сознательна, часто далека от мещанства, даже, можно сказать, много страдает и терпит от жизни, но... никогда она не перестает быть женщиной, той самой женщиной, которую так гениально изобразил Вейнингер. Раньше я писал дифирамбы О. Н. Не отказываясь от них, теперь буду писать то, что надо добавить на основании фактов. Прежде всего укажу на факты из ее жизни, которые она мне

с странной откровенностью, граничащей с мольбой о пощаде, сообщила несколько дней тому назад в Алекс. саду. Ее молоденькая фигурка, сознательное и потому пренебрежительное отношение к «супружеским обязанностям» и многие другие признаки заставили меня тогда в госпитале написать о ней несколько вдохновенных строк. Впрочем, это было в значительной мере и просто реакцией на больничную животную жизнь. За исключением этих реактивных элементов было многое от чистого сердца. Вот к этому-то я и делаю сейчас добавления. Операция, про которую она имела смелость мне сказать, оттолкнула меня от нее, хотя бессознательно она рассчитывала на жалость. И оттолкнула прежде всего тем, что тут мне представилось во всей наготе это проклятое «Ж», которому посвящено много верных мыслей у Вейнингера. Да, и она, этот в высшей степени сознательный человек и даже причастный к страданию очищающему, и она — увы! — «женщина» в той же мере, что и все прочие, и она хочет удовлетворения похоти, не желая иметь детей. Этот развал и ужас, который захватывает наши семьи, — в создании его участвует и эта женщина; и она не могла удержаться от этой чесотки, от этого «непрерывного щекотания», по терминологии Вейнингера. Но нужно сказать и еще больше того. Однажды после ужина до моей комнаты донеслись звуки поцелуев (руки, как она потом утверждала). Что же, значит? На словах: он мне не нужен, я живу с ним только для него, они мне все противны... А на деле — спать и целоваться продолжает с ним?.. О низкое, жалкое, слабое, похотливое существо! Она настолько цинична, — да, скажу прямо, цинична, — что однажды довольно резко выражалась против «домовитости», понимая этот термин, конечно, очень широко. — Я содрогнулся, когда услышал поцелуи. Я стал ее презирать, когда узнал об операции...

17 дек. 1918 года.

1. Одно из двух: Или все сыты, все равны, все одинаково счастливы и — тогда полная справедливость, абсолютная; Или не все сыты, а некоторые, не все равны и счастлива только часть и притом, как вообще, небольшая, И тогда — нет «справедливости», тогда неравенство и деспотизм.

2. А главное, вот что еще одно из двух: Или справедливость, и тогда — никто ничего не станет делать, все будут делать только для себя, и прости-прощай тогда, вся хваленая, изысканная культура; или пусть будет культура, пусть будет электричество и пар, трамваи и аэропланы, и тогда — прости-прощай, справедливость.

1. Социалисты ошибаются. Никакого человека не заставишь выполнять черную работу, если у тебя не будет в руках пулемета или вешалки. Дай всем свободу, — все откажутся и от трам-

ваев и от железных дорог, все заведут натуральное хозяйство, и культуры не станет в несколько десятилетий.

2. Но социалисты правы. Ибо социализм только и возможен при монархизме. Помилуйте, в стране жуликов и нищих — какой же социализм будет без пулемета? Коммунисты думают: «Ага, вы не хотите быть социалистами, ну так мы пулеметом вас! Ну, конечно, все сразу делаются социалистами. Вот и скажите мне теперь по совести: это ли не монархизм? Все дело, господа, в одном: кто у кого на шее сидит. А уж сидение на шее — это — извините, это — религия и онтология. Социалисты — правы!»¹

2.²

2 янв. 1919 г. нов. ст.

Артист.

Великое, священное слово. В артисте — красота, сошедшая на землю осветить наши тоскующие пути. Красота игры, божественная сладость отрыва от всего полезного и утилитарного, святая незаинтересованность, наслаждение в океане Жизни, идущей ввысь, идущей долу, стонущая и ликующая Страсть Мира, неизреченная полнота восторга и существенная красота Хаоса, — все, все в Артисте, и Хаос, и Радуга, и Мятёж и Успокоение. Струны натягиваются, звенят. Волшебник ликует, он прорвался, и Мировая Воля, страстно волнуемая и мятежно наслаждающаяся, широким морем, без берегов, без горизонтов, все заливаает и сравнивает, весь Мир погружает в дрему, в сон, в грезы. Как бы оглушенный, стоит недвижим раб судьбы. К мировой артерии, к мировой магистрали прильнул я, страстный и пьяный, сонный и безумный, и услышал бисение Жизни, Той, что за всем. Артисту — моление наше, восторг, артисту — все, он — Бог и Творец, он — Пророк и Царь.

Концерт Листа (ф-п). Es-dur., Компанелла — его же.

Какая-то манящая, ласкающая нежность. Какая-то утонченная, интеллигентная красота, умная и изящная грусть. Это именно искусство, и притом верх его. Вагнер — уже не искусство. Это что-то выше искусства, выше творца и творцов. А Лист все еще артист, все еще художник, все еще погружен в любование звуками и переливами их. Воспевший сладость тонкой грусти, в простоте познавший наслаждение от познания Мира, таящий в себе чуткое, наивное, близкое-близкое и родное, что-то детское, из далеких воспоминаний сотканное, что-то интимное, теплое, умное и красивое, не от преизбытка животных сил красивое и сильное, но от тонкой, интеллигентной усталости и чуть заметной грустной дымки красивое и нежное, — к тебе, великому Артисту, слезы мои, к тебе вся радость и тоска моя. Возьми у меня мою последнюю рубаху, мой последний кусочек хлеба. Я все отдам и все оставляю. Только бы слушать тебя, только бы быть с тобой.

ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ТИПЫ МОЕЙ ПАМЯТИ

12-ое ноября 1909.

Мне вспомнился один отставной офицер. Затем пришли на ум товарищ прокурора, один старичок, бывший бухгалтер и наконец образ одной девушки, который прежде всего всплыл у меня в сознании, когда я сел писать и который вспомнил еще, когда батюшка диктовал эти вопросы.

Когда я вспомнил отставного офицера, то прежде всего у меня получился образ его седой бородки. Почему-то изо рта у него торчит папироска, а на столе, за которым я с ним сижу, лежит книжка — приложение к «Ниве» и коробка с папиросами, табачком и пр. Затем припомнились часто употребляемые им звуки: «эээээ... тово, тово, тово, ээээээ...» и наконец загадка, которую он дал однажды мне и брату: «почему луна не из чугуна».

Вспоминая товарища прокурора, я представляю себе его высокий лоб, добродушные как будто подмигивающие глаза. Моя первая с ним встреча и его вопрос: «Вы к моему сыну?» Почему-то вспоминаю его длинный белый скюртук, в котором он был на станции железной дороги однажды летом нынешнего года.

Третий субъект, ставший предметом моих воспоминаний, уже преклонных лет, старичок, когда-то служивший в казначействе, представляется мне прежде всего сидящим в углу одной светлой и чистенькой комнатки своего небольшого дома. Он только что принес из соседней комнаты свои газеты и журналы и сидит, разговаривая со мной о Толстом. Худощавое лицо, небольшие серые, немножко плутоватые глазки. Лето. На дворе яркий солнечный день. Светло и тихо. Новгородская речь моего знакомца.

При воспоминании девушки мне прежде всего предстали глаза, мягкие, как бархат, глубокие, как безбрежное море, иногда живые, как у орлицы. Затем брови, затем румянец на пухлых щеках, а потом и вздутые, свежие губки. — Но этот пример едва ли подойдет для моего испытания, потому что глаза упомянутой мадемуазель, я думаю, непременно прежде всего другого припомнятся тому, кто их видел, даже если он и не принадлежит к зрительному типу.

Во всех этих случаях, за исключением последнего, слуховые образы возникают параллельно с зрительными. Но интересно, что появляются прежде других почти всегда зрительные образы. Что я вспоминаю, произнося слово «праздник»? Мне прежде всего

вспомнился концерт, который был в одной станице 2-го января 1909 года, т. е. на святках. Я вспоминаю, как одна мадам гипнотизировала собаку для живых картин. Мне живо представляется, как я выбежал на улицу, когда в здании, где был концерт, вспыхнул пожар. Последний скоро прекратился, порядок был быстро восстановлен. Я помню, что после довольно интимного разговора или лучше сказать после интимной сцены, я вернулся домой, не спал целую ночь и приехал на другой день в Новочеркасск. Вторым предметом воспоминаний была громадная комната, наполненная гостями, сидящими за столами. Они кричат «ура!» и опрокидывают себе в пасть рюмки разноцветных жидкостей. Это были именины, все тогда же, все на то же Рождество. Это пожалуй и не припомнилось бы мне, если бы на предыдущем уроке психологии при слове «праздник» — батюшка не упомянул бы о бутылках, которые, как известно составляют необходимость каждого праздничного стола. Учить стихи и пр. я могу только вслух или по крайней мере, двигая органами произношения. Учить про себя не пробовал, да едва бы что-нибудь и вышло. Когда, по каким-либо обстоятельствам я не могу читать вслух, то приходится довольствоваться тем, что только двигать губами и языком. При таком условии время, необходимое для запоминания стихотворения, несколько увеличивается. При чтении же обыкновенных уроков по истории, физике, психологии и пр. движение губами и языком является необходимым только в тех случаях, когда урок труден и требует большого напряжения внимания. Что касается вопроса о том, легче ли мне заучивать с чужих слов или читать своими глазами по книге, то я думаю, что наверно бы лучше усвоил лекцию профессора, которую я слышал в читальне, если бы дома прочитал только раз ее текст. Снов, вообще говоря, я вижу мало. Впрочем возможно, что я их не помню. Обыкновенно я вижу что-нибудь, двигаюсь меньше, а еще реже слышу звуки. Я сейчас даже не припомню ни одного сна, чтобы я что-нибудь слышал. Резюмируя, можно сказать, что зрительные образы оказываются у меня господствующими перед другими. Я не принадлежу начисто зрительному типу, потому что зрительный образ у меня всегда так или иначе соединяется с слуховым, но все-таки сказать, что преобладающим видом памяти у меня является зрительный вид, гораздо вернее на мой взгляд, чем думать о преобладании какого-нибудь другого вида.

Непонятным остается только то, почему при моем плохом зрении как раз зрительные образы являются преобладающими.

А. Лосев

О РЕЛИГИИ

I. Подход к религии,

- 1) наивный, непосредственный, как результат известного душевного голода;
- 2) несущий с собою всю сложность и противоречивость современной умственной и нравственной жизни.

Двойное рассмотрение религии:

- 1) Фактическое -- а) историческое, б) психологическое
- 2) По сущности -- рассмотрение непосредственной данности.

II. О непосредственной данности вообще и в религии.

1. Сознание и его органическое устройство.
2. Общие типы сознания:
 - а) разделение по стройности (оформленность) и
 - б) разделение по качественности.
3. Градация от качества минус форма к форме минус качество.
4. Зависимость взаимная между формой и качеством.

III. Непосредственная данность в религии.

1. Чистое качество (настроение) и переход к оформленным состояниям.
2. При философском освещении это вскрывается как постоянный переход от одного противоречия к другому.
3. 1. Непримируемые противоречия и
2. Их необходимый характер в религиозном сознании.

IV. Иллюстрация основных противоречий религиозного сознания.

1. Бог -- абсолютное добро и существование зла.
2. Бог -- создатель всего и свободная воля человека, ответственность.
3. Сотворение мира и всеблаженство Бога.
4. Бог -- Личность и Бог-Мир.
5. Бог -- бесконечность и наши атрибуты Божества.

V. 1. Религия там, где эти противоречия затронули всю душу.

2. Враги религии -- абсолютная ясность и абсолютный скепсис.

VI. Тот же антиномизм характеризует религиозную жизнь и в практической жизни. Примеры: Катерина в «Грозе». Антигона. Царь Эдип.

VII. Иллюстрации жизненных противоречий религиозного сознания: самоубийство, уход в монастырь.

VIII. Стихотворение в прозе Уайльда: «Чертог Суда». Жизнь есть ад. О рае мечтаем, но и вообразить-то его не можем.

IX. Отношение так понимаемой религии к науке.

1. Величины это несравнимые. а. Религия есть внутреннее беспокойство при переломе от нашего мира к невидимому. б. Наука же есть спокойное и методическое разрешение вопросов нашего земного мира.
2. Если же под наукой понимать жажду знания вообще, то и тут вопрос не меняется.

X. Отношение религии к искусству.

1. Сущность — совершенно одинакова.
2. Форма — тоже (мифомышление).
3. Что не мифомышление, то не искусство, хотя несомненно -- творчество.

XI. Отношение этого зерна религии к конкретным формам религии.

1. За всяким догматом — целая история этого антиномизма и беспокойства.

Примеры:

2. а. Культ матери-земли и культ Богоматери.
3. б. Догмат о воскресении плоти.
 1. Цель аскетизма.
 2. Бессилие идеи и слепость материи. Материализация и одухотворение.
 3. Недостроенная обитель богочеловеческого духа.
 4. Всеобщее Воскресение и восстановление всяческих.

XII. Общий вывод: святое беспокойство и тайный мир.

Отрывки из поучений старца Зосимы у Достоевского¹.

«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и утлое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и болес, на всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелою, всемирною любовью».

«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и взошло все,

что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным».

«Не бойся ни знатных, ни сильных, но будь премудр и всегда благолепен. Знай меру, знай сроки, научись сему. В уединении же оставаясь, молись. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным».

Тютчев:

*«Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!»²*

Лермонтов:

*«А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!»³*

1912

О МОЛИТВЕННОМ НАУЧЕНИИ*

Самое трудное, это — добиться первого сдвига в молитвенном научении. Человек, живущий в миру, настолько обрастает материей и овеществляется, настолько прилепляется плоти, что ему непонятны самые первые и самые первые правила аскетической жизни. Как трудно новонаначальному простоять хотя бы полчаса на молитве! А между тем стояние на молитве должно быть долгим, очень долгим, и надо приучить себя просто не замечать многочасовых молитвенных стояний и бдений. Необходимо добиться первого сдвига при помощи простейших средств, памятуя о том, что Господь, рано ли, поздно ли, откроет истину, и ты поймешь свой мрак и свое неведение, в которых находился в миру до молитвы.

Как добиться этого первого сдвига?

1. Одно из первых условий молитвы, это — частое и внимательное посещение церковных богослужений. Все проповедники и наставники всегда советовали это, но редко кто понимал всю действительную силу и значение для личной и тайной молитвы церковного богослужения. Не дай Бог, если ты скажешь в сердце

* Заглавие условное. Дано составителем (А. А. Т-Г.).

своем: я хочу молиться наедине и тайно, а церковь для меня слишком шумна и хлопотлива. Сказавший так находится в некоей прелести, которая может разрастись в неисцелимое бедствие, и не избежать гибели такому человеку. Я не говорю о таинственном действии храма Божия на душу молящегося, продолжающемся и после храма в его личной и тайной молитве. Об этом должен быть особый и длинный разговор. Я говорю здесь об одном только дисциплинирующем действии храма. Если ты хочешь приобрести навык в умной молитве, ты должен ходить часто в церковь и ходить не просто, но с рассуждением, должен научиться ходить в церковь, ибо это тоже наука и притом наука, требующая выучки и как бы дрессировки. И рассуждение это должно заключаться, прежде всего, в следующем.

а) Необходимо приучить себя к безболезненному выстаиванию многочасовых церковных служб. Выбери себе какой-нибудь монастырь или несколько монастырей, где служба повнимательнее и поподробнее, и поставь себе за правило приходить к началу службы и уходить не прежде иерейского отпуска. Поставь себе за правило во что бы то ни стало выстаивать всю службу целиком, сядясь только в положенные сроки (паремии, кафизмы, поучения, хвалитны) и не уходя из храма даже при крайнем напряжении сил. Я знаю, как это трудно делать в особенности новичкам в деле молитвы, и знаю, как слаба наша воля, в особенности, когда захотим выполнять сие церковное послушание в обстановке городской и семейной суеты. Но и для этих случаев есть выход. Лучше тебе поехать куда-нибудь в загородный монастырь, хотя бы на день, на два, на какой-нибудь большой праздник. Приедешь ты на монастырскую гостиницу, и дела твои будут далеко от тебя. Гостинник, хочешь, не хочешь, разбудит тебя весьма и весьма заблаговременно, и из церкви-то спешить тебе будет некуда. Стой и стой себе всю всенощную или всю литургию, и, пожалуй, стыдно тебе будет уходить из храма, когда все присзжие будут стоять до конца и никто не будет спешить из церкви в гостиницу. Волей-неволей приучишься и ты, с помощью Божией, стоять все службы до конца, и не будет болеть у тебя ни спина, ни грудь, и ноги будут у тебя свежие после многочасового стояния. Истинно говорю тебе, что если не приобретешь этой телесной выучки в храме Божиим, трудна тебе будет молитва, и никогда не сумеешь ты добиться сосредоточенного и внимательного хранения ума на молитве. Всякий, кто стоит без труда в церкви по несколько часов, скажет тебе, что только самое первое начало в этом деле трудно, и что чем дальше, тем легче становится для тела многочасовое молитвенное бдение.

Конечно, для врага нет ничего более опасного, как твое намерение и решение работать Господу душой и телом. Враг наплет на тебя разные болезни, якобы препятствующие тебе подолгу стоять в церкви. Доктор строжайше запретит тебе такое стояние. Сам ты также будешь чувствовать бесполезность и вредность этих бдений. И т. д. И т. д. Но мужайся, брат! Надо преодолеть это первое препятствие, и — первый сдвиг будет сделан. А дальше уж будет легче. Бывало, в молодости приеду я в какой-нибудь монастырь на несколько дней, после шумной и деловой Москвы. Первый день, бывало, стоишь в церкви плохо. Лезут разные мысли, продолжающие обычную сутолоку и оставленные в городе дела; в тебе чувствуешь усталость, неохоту к подвигам. Хочется спать, есть, пить, ходить, говорить, писать, — все, что хотите, но только не молиться. Но уже на другой день начинаешь вставаться. Суетные мысли, не находя пищи, гаснут. Ноги, которые вчера еще ломились и подкашивались в начале и в середине службы, сегодня уже стоят твердо. Проходит усталость и голод, и тело как бы пересает быть телом. Я не помню ни одной Страстной, чтобы после ночной утрени на Великую Субботу я выходил из церкви усталым или разбитым. Еще на Светлой заутрени, при большом народе и недостатке воздуха, можно иной раз чувствовать себя нетвердо или даже плохо. Но на этой чудной субботней утрени я никогда не чувствовал себя усталым, хотя не пропускал ее никогда с отроческих лет. И стоишь по 5-7 часов подряд на монастырских службах, и — усталости нет никакой, если, конечно, не болен какой-нибудь обессиливающей болезнью. Вот и моли Господа, чтобы он укрепил тебя на эти долгие церковные стояния, и памятуй, что все это пригодится тебе для молитвы, когда захочешь упражняться молитвой специально. Иисусова молитва потребует от тебя больших трудов, и если не приобретешь навыка в стоянии на церковной молитве, — трудно, очень трудно тебе будет при обучении молитве Иисусовой.

Чудно и сладко долговременное стояние в храме на молитве. Если не можешь всегда, постарайся хоть иногда, хотя бы в большие праздники выдержать послушание, которое тут тебе дается. И ты получишь чудные и благодатные плоды молитвы церковной. В особенности благоуханны и глубоки ночные молитвы в церкви. Если не сможешь встать в 3-4 часа утра на богослужение в городе, — поезжай, повторяю, ради Господа в какой-нибудь недалекий монастырь, поезжай и поживи там несколько дней, отдавши себя в волю гостиннику, который бы будил тебя утром заблаговременно. Как чудно и тихо, торжественно и благостно на душе, когда стоишь когда-нибудь в посту в монастыре на утрени, которая началась в 2-3 часа утра, когда начинают пробиваться первые светлые восходящего дня в темные окна храма, и когда свечи и

лампады начинают чуть-чуть бледнеть, уступая место нарождающемуся свету. В теле сладкая усталость и как бы тоже молитва, а в душе умирительно и тихо; и кажется, что это не земной день начинается, а какой-то другой, вечный, что из этой ночи мы переходим прямо как бы в вечность и расцветает заря уже тамошнего дня и вечной жизни. Самое дорогое и близкое сердцу христианина — храм Божий и молитва в нем. И потщися, брат, о ночной и утренней молитве. Не поленись встать один-другой раз пораньше. Чудные плоды этой молитвы не заставят себя долго ждать, и ты ощутишь в душе своей небывалые силы и небывалую решимость. Всякий подвиг облегчится тебе, и телесный и умный. И облегчится тебе Иисусова молитва. Душа и тело твои закалятся, и тысячи соблазнов окажутся бессильными и отпадут. Конечно, это не единственный и не последний подвиг; и существует бесчисленное множество других соблазнов, против которых необходимо бороться бы и другими средствами. Но ведь я говорю тебе о первом сдвиге, а для него первейшая и необходимейшая основа, это — тщательное и внимательное посещение храма Божия и выстаивание всех служб в нем, несмотря ни на что. Дисциплинирующее (в смысле молитвы) действие церковных богослужений — удивительно и поразительно. Казалось бы, молитва Иисусова ставит совсем другие задачи, чем молитва церковная, и наружное поведение во время молитвы Иисусовой совсем иное, чем в церкви. А на самом деле, как кажется моему скудоумию, нет и не может быть никакой молитвы Иисусовой без молитвы общецерковной, и кто не умеет предстоять Господу на псалмопениях и канонах, кто не научился забывать об усталости на 5-7 часовых богослужениях в церкви, тот будет плохим молитвенником в молитве Иисусовой и тому лучше совсем не браться за это дело.

б) *

* Рукопись обрывается (Прим. А. А. Т.-Г.).

X Y D O X E E M B E H H A D
Π Ρ Ο Ζ Α

МНЕ БЫЛО 19 ЛЕТ

1.

Мне было 19 лет. Ей — самое большее 30. Я был студентом второго курса. Она — певицей и актрисой, имевшей большую известность в России и Европе. В течение целого сезона я не пропускал ни одного ее выступления и в деталях изучил ее манеру петь и держаться на сцене. Я был, как говорится, влюблен в нее и, как водится среди молодежи в этом положении, искал случая с ней познакомиться. Но как это было сделать? Она — известная актриса, редкий сценический талант, любимец и баловень публики, я же — скромный студент, к тому же занимавшийся своими науками гораздо больше того, что требовалось от студента. Я долго думал, что мне предпринять. Она мучительно волновала меня, и я решительно терял голову, с каждым днем все больше и больше ожидая — чего? Никто мне не мог бы объяснить, чего я, собственно, ждал. Нужно было что-то делать, но я не знал, как приступить к этому важному делу.

Скоро, однако, подобный случай представился. В Москве, где я учился, был устроен в Благородном Собрании какой-то благотворительный вечер, на котором должна была выступать Потоцкая (фамилия моей любви) и на котором предполагались танцы, где возможно было ее участие. О, эти чудесные колонны большого зала Благородного Собрания! Сколько вы слушали чудной музыки и какую только красоту вы не лицезрели! Случай был прекрасный. В самом деле, вечер был «благотворительный». Значит, там не могло быть той строгости и холодности, которая обычно царила там во время симфонических концертов. Кто бывал в старину на этих благотворительных концертах, тот помнит эту непринужденность, эту простоту, семейственность и даже какой-то интимно-провинциальный характер, действовавшие на публику, которая, кстати сказать, и собиралась уже по определенной симпатии к целям данного вечера. С другой стороны, эти концерты имели все свойства больших столичных концертов. Тут выступали виднейшие солисты, связанные так или иначе с данными благотворительными организациями, и можно было получить настоящее художественное удовольствие. Что уже совсем прида-

вало провинциальный характер этим вечерам, это то, что после концерта обычно устраивались танцы, в которых мог всякий принять участие, но которые возглавлялись какими-нибудь важными чинами или известными людьми и в которых нередко участвовали и выступавшие перед этим исполнители.

Вот один из таких вечеров и был объявлен однажды к полной моей неожиданности, и он сулил мне огромные возможности в смысле сближения с Потоцкой.

Однако, все это надо было заранее обдумать, чтобы не попасть впросак; я же находился все время в полупьяном состоянии и с трудом собирал свои мысли.

Стояла дождливая и гнилая осень. Резкий ветер и дождь делали мое существование совершенно невозможным, отвлекая от всего внешнего и насильно погружая в мутную и мучительную стихию напиравших и бушевавших чувств. Я вставал поздно, с единственной мечтой дожидаться вечера, чтобы можно было идти в театр или на концерт, а день, этот дождливый, серый, слякотный день, с нависшими тучами и непрерывными сумерками, шел неминуемо медленно, вытягивая душу в какую-то бесконечную нудную нитку.

Потоцкая выступала не часто. Но нечего и говорить о том, что ее образ окутывал в мучительно-сладкое марево всякую музыку, всякое театральное представление, где ее не было среди исполнителей, но где были хоть какие-нибудь намеки на подлинное искусство. Это невыносимое томление чем-то должно было кончиться, но оно ничем не кончалось и не кончалось.

Я стал готовиться к назначенному благотворительному концерту и обдумывать план своего поведения. Во-первых, надо было хорошо одеться. Я вообще любил хорошо и изящно одеваться, хотя, вспоминая свою жизнь, вижу, что это почти всегда оставалось только голой теорией. На этот раз, однако, дело обстояло весьма удачно. Недавно перед этим я заказал себе визитку, которая, по отзывам моих товарищей, сидела на мне исключительно хорошо, и я успел ее надеть перед этим только один раз. У меня были и другие костюмы, вполне подходившие под мой стиль, но не было ничего равного этой визитке. Надевая ее у себя дома перед зеркалом, я чувствовал, что сам становлюсь гораздо изящнее, артистичнее, и я начинал кого-то заочно любить, испытывая тонкую и ажурную музыку своего обновленного существования. К этой визитке полагались черные с серой полоской брюки, а черный жилет имел в разрезе белую пушистую оторочку, придававшую мне богато-избалованный вид.

Я любил свои костюмы бескорыстно, чистою, счастливою любовью. Я их менял в связи с своими настроениями. В те редкие минуты, когда из темного хаоса человеческого бытия всплывали

чьи-то страдающие и зовущие глаза, и я начинал ощущать неизъяснимо-трепещущий артистизм мира, я надевал какой-нибудь лучший костюм, и брызгал себя тончайшими духами, сберегавшимися мною на этот случай. Я никуда не шел, а садился за фортепиано или брал стихи и прозу великих художников и погружался в общение с их гением. Часто, просыпаясь поздно утром в дождливую скверную осень и чувствуя в душе холодный погреб одиноких бессильных порывов, я надевал старые засаленные пиджаки, стоптанные и непочиненные ботинки и садился за какую-нибудь скучную и деловую работу.

Так вот, новая визитка и черные с полоской брюки были вне сомнения. Также не было сомнения и относительно обуви. Последней модой тогда были ботинки с широчайшими носками, и они у меня имелись. Много заботы и рассуждения вызвал вопрос о воротничках и о цепочке для часов. Тут легко было впасть в вульгарность, и я решил совсем не надевать часовой цепочки и прочих украшений, но вопрос о воротничках мучил меня очень долго. Странная вещь! Какое все это могло иметь значение для меня? Если рассудить здраво, то все эти приготовления и рассуждения были просто глупы. Ну, надо было прилично одеться. Однако, что это значило перед трудностями знакомства с Потоцкой и хотя бы минимальным сближением с нею? Я же все думал и думал и мучительно долго выбирал фасон воротничков и цвет галстука. Наконец, я решил надеть отложные стоячие воротнички, отклонивши просто стоячие, стоячие с отвернутыми углами и пр. Цвет галстука также оказался в конце концов довольно простой, — самый обыкновенный черный, потому что и* уводящая вдаль темная синь, и* равнодушно-равновесная легкая зелень, не говоря уже о прочих, нелюбимых мною цветах, были отброшены с самого начала, найти же какой-нибудь другой цвет я не сумел, несмотря на большие усилия. Я допустил только один момент в цвет галстука: я решил взять не матовый черный, но атласный черный, так что чувствовался едва заметный и очень деликатный глянец, придававший более роскошное и слегка играющее впечатление.

После долгих мучительных исканий костюм был обдуман, и я с трепетом ждал назначенного концерта.

2.

У меня было несколько вариантов возможного знакомства с Потоцкой.

Проще всего мне казалось, что после концерта, когда начнутся танцы, кто-нибудь из моих знакомых представит меня Потоцкой и оставит с нею хотя бы на несколько минут. Это было тоже, соб-

* В рукописи «ни»... «ни».

ственно говоря, глупо. У меня не было ровно никаких общих знакомых с нею. Странное дело, этот простой факт совсем не приходил мне в голову, и я всерьез считал такой вариант одним из самых удачных и естественных.

Другой вариант казался мне тогда более глупым, хотя теперь он мне кажется в той же мере «основательным», что и первый. Он заключался в том, что в антракте или после концерта я пойду в артистическую и передам ей благодарность за выступление на вечере — от кого? Ни этот вопрос «от кого?», ни вопрос о том, как объединить это официальное приветствие с чисто личным знакомством (а меня, конечно, интересовало, главным образом, последнее), — никаких подобных вопросов у меня и не возникало, и я считал этот второй вариант также весьма подходящим, хотя и менее естественным.

Все случилось совершенно иначе, чем я ожидал и предполагал; да размышляя о происшедшем теперь, после многих лет, я думаю, что я и сам не отдавал себе отчет, чего я, собственно, ждал и к чему стремился.

День рокового концерта оказался все таким же отвратительным дождливым днем, с холодным пронизывающим ветром, с каким-то тяжелым не то туманом, не то какой-то изморосью. Густые свинцовые тучи ходили над самой головой; и хотелось сидеть у камина, в теплом и светлом месте, и не думать об этой холодной злобе надрывной плачущей поздней осени.

Концерт был назначен в 8 1/2 час. вечера. Ровно в 8 часов я вышел, чтобы сесть в трамвайный вагон, и приехал в Благородное Собрание задолго до начала. Вопреки обыкновению, с утра я почувствовал какую-то спокойную холодноватость в душе, и проснулся с чувством некоего значительного душевного спокойствия. В этот день я уже не вынимал открыток с театральными изображениями Потоцкой и не рассматривал их: это занятие показалось мне слишком ничтожным по сравнению с тем, что должно было произойти вечером и ночью.

Обыкновенно я подолгу всматривался в эти открытки, и это было для меня единственной формой общения с Потоцкой кроме присутствия на ее выступлениях. Обычно я не сразу лез в стол и не сразу вынимал эти открытки. Когда вставишь ключ в ящик стола и отодвинешь ящик, — тут еще теплота в груди не началась, а проявляется только легкая дрожь в членах и чуть-чуть не хватает воздуха, как будто бы находишься в жаркой бане. Но как только вынешь альбом с этими интимными открытками, — сразу начинаешь ощущать резкую и горячую струю, как от выпитого крепкого вина.

Было у меня и две открытки с изображением Потоцкой в натуре. Оба изображения изучались и рассматривались мною тогда целыми часами, и о них, пожалуй, стоит упомянуть.

Одно из них было фотографией молодой женщины, до бюста, с игривыми, но несколько мясистыми губами, с детски наивным взглядом с едва заметными чертами капризности и беспредметной шаловливостью в извилинах несколько широковатого носа. Лицо в общем было довольно худое, даже, может быть, чуть-чуть вытянутое, но глаза поражали детской наивностью, беззаботной светлой счастливостью и уверенностью в том, что все кругом абсолютно благополучно, что кто-то все устроил и устраивает так, как надо для беззаботного и легчайшего самочувствия. Только капризы носовых очертаний и недетская игривость губ свидетельствовали об опасностях, трудностях, даже частой безвыходности и напряженности некоторых сторон этой непонятной артистической души.

Другой портрет более говорил о Потоцкой как об актрисе. Тут она была изображена сидящей в глубоком мягком кресле в каком-то торжественном и величественном виде, с властно положенной рукой на изящном столике. Здесь ей можно было дать гораздо больше лет, и фигура казалась более массивной, чем на то уполномочивало лицо. На лице не было ни детской наивности глаз, ни игривости губ. Но зато была выражена и почти била в глаза капризность носа, которая в соединении с властно сжатými губами производила определенно деспотическое впечатление. Лоб казался здесь значительно шире и выше, чем на первой фотографии, и от него веяло молодым умом и свободным размахом. И едва прищуренные глаза кололи тончайшим намеком на некую неопределенную пустоту и, казалось, вызывали на интимный, но смертельный бой с этой обманчивой и жестокой бездонностью души. Портрет, вообще говоря, производил бы, вероятно, сильнейшее впечатление неженственности, если бы не истинно детские локоны, скрученные на висках в два нежных колечка и заставляющие меня не раз смахивать с своего лица выкатившуюся слезу, — слезу страстного желания, когда все желанное так близко и так недоступно, так холодно и тупо не дается, несмотря на твою мучительную дрожь и жажду.

В описываемый мною день я, повторяю, уже не вынимал этих открыток и не занимался их рассматриванием. Ни одно из этих мучительных чувств, укоренившихся у меня за последние месяцы, не волновало меня, и я был поразительно спокоен и ясен, как озеро, похоронившее на своей глубине тяжелый и бесценный клад.

Не волновал меня и знакомый в течение многих лет несколько спертый воздух больших театральных зал, которого не избегал и

Колонный Зал Благородного Собрания, хотя там и старались тщательно проветривать помещение. Я вошел в фойе Благородного Собрания спокойным как никогда, купил программу концерта и стал с беззаботным видом просматривать ее содержание.

В программе стояла из крупных вещей увертюра Чайковского «Франческа да Римини» в первом отделении и «Приглашение к танцу» Вебера в концертной обработке Меттля во втором отделении; была, кроме того, в программе 1-ая часть Крейцеровой сонаты для скрипки, что-то фортепьянное, и все остальное — пение и декламация. Потоцкая должна была петь несколько песен Шуберта и какие-то романсы Чайковского.

Вся эта музыка в тот вечер не имела для меня никакого значения, так как страстно хотелось не слушать музыку, но самому стать музыкой, хотелось жить теми страданиями и теми наслаждениями, которые в музыке были только изображены, а не присутствовать там со всей своей жизненной тяжестью и черноземом.

В голове и груди шумели каскады мыслей и чувств, и только в самый день концерта водворилась какая-то зловещая ясность и спокойная холодноватость духа. Я чувствовал, что во мне произошло какое-то внутреннее решение, но я не знал, как не знаю и теперь, на что я тогда, собственно, решился. Я как бы уже обладал Потоцкой и — не это ли внушало мне такую ясность и спокойствие. Нет, не это! Не только до обладания ею, но просто до солидного, не компрометирующего меня знакомства с нею было так далеко, так далеко!

3.

Первые звуки увертюры пронеслись как дуновение с того света. Я был погружен в недоумение, и спокойствие дня сменилось легким удивлением, причем совершенно было непонятно, чему я удивлялся. Тому ли я удивлялся, что музыка вообще существует на свете, тому ли, что в ней до смешного реально была изображена человеческая жизнь, тому ли, что я уже переживал себя обладающим, как бы превратившим эту музыку в свое повседневное существование? Не знаю, не знаю! Помню только, что удивлялся я и недоумевал в течение всей этой длинной увертюры; и это удивление сменилось только тогда, когда наступила очередь номеров Потоцкой.

Тут случилось то, из-за чего я и решился записать эти далекие воспоминания.

Потоцкая вышла в черном муаровом платье с какими-то пышными, многоэтажными оборками, с умеренно оголенной шеей и с многочисленным золотом на груди. Костюм и фигура были, в общем, строги, но во всем сквозила какая-то пышность и избалованность, какая-то загадочная и зовущая, этакая шикарная мяг-

кость форм. Что-то ласковое и приятное веяло вокруг этой женщины, такая нежная бархатистость души, в которую погружаешься как в мягкую, траву. И хочется спрятаться в недрах этой бархатной ласковости, забыться в ней так, как погружаешься в огромную кучу сена, погружаешься почти с головой, и никто тебя не видит, где ты тут находишься.

Увидевши Потоцкую, я вдруг понял, что я уже обладал ею давно-давно, что только в силу досадного и кратковременного недоразумения я сейчас отделен от нее, что это-то давнишнее обладание и есть самое естественное и простое, что только может существовать между нами. Я как бы с трудом припоминал виденный давным-давно интимный сон и уже верил тому, что я до сих пор даже не знаком с нею. Припоминал-припоминал и — никак не мог припомнить, где и когда я был с нею знаком и где и как протекала наша с нею жизнь.

В одно мгновение оказалось, что я вечно жил так, как эта женщина, жил тем же, чем и она, и жил с нею вместе долго-долго, всю вечность.

Но не успел я очнуться от этого припоминания настоящего, как я был потрясен арией, которую я давно уже не мог слушать равнодушно. Потоцкая пела какие-то номера; я даже забыл и едва ли знал — какие. Но вот она запела (кажется, на бис), арию Розины из «Севильского цирюльника», запела с своими чистейшими колоратурными пассажами, которые редко когда слыживала музыкальная Европа, — и ощутил себя летящим над какой-то бездной, в широкой и безбрежной голубой пустоте. Только легкие содрогания в области груди и тонкое, едва ощутимое головокружение, какое бывает при взгляде вниз с высокой скалы, напоминали о том, что я все еще сижу в зрительном зале, что я еще не потерял свое тело и что это тело начинает играть и жить, как старинная скрипка Страдивария.

Этих напоминаний хватило не надолго. Я скоро забыл себя, свое место в кресле, забыл весь зал и концерт, забыл даже виновницу всего этого мистического и сладкого, но отчаянного и бурного хаоса моей души. Я превратился в сомнамбулу, в лунатика, творившего чужую волю (чью же?) и выполнявшего невероятные предприятия — вопреки всяким правилам, законам и обычаям.

В тусклом тумане прошли остальные номера концерта. Электричество Колонного зала потемнело и стало тусклым, как жалкие керосиновые фонари в глухом провинциальном городишке, в туманную и дождливую осеннюю полночь. Я смутно видел, как после концерта публика стала живее и разговорчивее, и как чем ближе к танцам, тем больше разгорались лица и тем непринужденней становилась речь.

Наконец, начались танцы — традиционным вальсом. Но это был не вальс, а какое-то светопреставление. Когда-то в старину, нашим не столь еще далеким предкам вальс казался развратным танцем, чем-то вроде современного фокстрота. Правда, вальс никогда не изображал полового акта со всеми его реалистическими подробностями, но все же представьте себе: кавалер подходит к даме в самой интимной близости, они берут друг друга за талию и почти обнимаются, близко приникая один к другому головами; и в таком виде начинается круговая пляска, в которой это взаимное круговращение может продолжаться до бесконечности. Не удивительно, что в старину это казалось верхом эротичности, подобно тому, как арии Гайдна казались раньше верхом сексуальности, в то время как мы их воспринимаем в виде чисто религиозной музыки.

Вальс, которым начались танцы, мучил меня целую вечность. Тут уж не просто верх эротизма, как это было когда-то, а просто какое-то столпотворение, бурное и мрачное, как бы море, кишащее страшными чудовищами. Потоцкая танцевала в первой паре с пожилым генералом, — вероятно, одним из шефов устроенного благотворительного концерта. Это обстоятельство почему-то меня весьма удивило и разозлило. Почему? Я сам весьма дурно и мало танцевал еще подростком и с тех пор несколько лет не танцевал совсем. Неужели я мог надеяться танцевать с Потоцкой в первой паре. С другой стороны, кому же танцевать с нею в первой паре, как не самому видному, самому солидному мужчине из всех строителей этого концерта?

И несмотря на естественность всех этих обстоятельств, я был ужасно разозлен, и злость эту едва сдерживал, не говоря уже о том, что с момента арии Розины я начал буквально летать в высоте, на которой захватывало дух. Я бегал с места на место, когда следил за первой танцующей парой, не будучи в состоянии дожидаться, когда эта пара обойдет весь зал и вернется на прежнее место.

Я не хотел и не мог выпускать с поля моего зрения Потоцкую, — и хотя при условии постоянного кружения пары почти невозможно было рассмотреть ни лица, ни фигуры, я бегал за ней и ее генералом вокруг залы, пытаюсь уловить выражение лица и ажурные нюансы ее гибкой фигуры.

Помню, как под влиянием той же Потоцкой, почти год тому назад, я стал испытывать нестерпимое желание, прямо какую-то страсть, рассматривать и изучать человеческие лица и фотографии, впиваясь в них с сладчайшим вожделением и с трепетным искательством. Одно время я буквально не мог выйти на улицу или сесть в трамвайный вагон, чтобы не начать кого-нибудь преследовать своим анализом и ловлей мельчайших черт физиономии. Я не мог преодолеть себя, попирая всякие элементарные правила

приличия. Остановившаяся около витрин фотографических заведений, я нередко испытывал сразу и наслаждение и ужас от темных и непроглядных бездн человеческой души, открывающихся на этих фотографиях, и с какой-то сладострастной жестокостью впивался в это дебелие тело страстно-трепещущей жизни. Чудилась мне мировая самка, вселенское излияние самопорождающейся и самопожирающей стихии, изводящей из себя бесконечные лики жизни, уводящие в страстную бездну премирных зачатий. Какая режущая сладкая боль! Какая крепкая и чреватая тайна!

Я бегал за танцующей Потоцкой, усиливаясь заглянуть в лицо и уловить его выражение, но это не удавалось ни на одно мгновение. Что-то скользило и исчезало как тень, как дым, и не давалось в руки как воздух, как пламя.

Еще задолго до окончания вальса Потоцкая, раскрасневшись, перестала танцевать и села вместе с тем же генералом недалеко от танцующих. Однако и здесь я ничего не добился, так как очень скоро она встала и скрылась в дверях в артистическую.

Вальс шумел и бурлил еще очень долго, и танцующие пары в этом темном и спертom воздухе Колонного зала сливались в темное, единое и огромнос, дрыгающее своими мускулами живое существо.

Я выскочил в фойе и в изнеможении свалился на один из стоявших там мягких диванов.

4.

Кто-то ходил около меня, — даже как будто кто-то здоровался. Музыка продолжала играть с небольшими перерывами; и я заметил, что прошло уже несколько танцев.

Я сидел или не знаю, что делал, — вероятно, довольно продолжительное время.

Наконец, новые звуки неизвестного мне танца заставили подняться меня с места и вернуться в зал, потому что я вдруг понял, что в этом танце обязательно должна была участвовать Потоцкая.

В этих случаях редко кто ошибается. Потоцкая действительно шла в первой паре, но уже с другим, не менее солидным кавалером.

Новый танец поразил меня странной ритмикой, совмещавшей в себе какие-то хромые и неуклюжие размеры с частыми диссонансами и постоянно наплывавшим и вдруг исчезающим напряжением. Можно было подумать, что танцуют неуклюжие, хромящие и толстоногие карлики, кружась в откровенно похотливых и цинических позах.

Что похоть дает наслаждение, это та вульгарная истина, о которой все знают, знают больше, чем надо. Но есть наслаждение

от цинизма, что испытывают очень и очень многие, но почему-то боятся формулировать и даже называть по имени. Есть наслаждение в том, чтобы обнажить свой порок и смачно рассказать о нем, вопреки и назло всякой благовоспитанности. Приятно и сладко надругаться над самым высоким и святым, над самым нежным и невинным, и потом — самому же рассказать первому встречному и даже всякому своему другу и знакомому. Я знал одного человека, который испытывал радость в мгновенном обнажении своего полового члена и показывании его случившимся около него мужчинам и женщинам.

Это рыдание цинизма восставало из недр музыки, являвшейся новым танцем, обратившим на себя мое внимание. В этой музыке что-то вихлялось и кривлялось, что-то хрупкое рассыпалось и вновь восставало из клокочущей пучины страсти. Извивные фигуры и капризная взрывность чередовались с мучительными и длинными паузами, во время которых, кажется, можно было задохнуться. Что-то колело и резало в этой музыке, и что-то медленно и тяжело ухало, отзываясь в груди и в животе как во время сильного раскачивания на качелях. Мелкие серебристые точки то взмывали на темном пространстве музыки, сплетаясь в отвратительные размалеванные фигуры, то вдруг пропадали, заменяясь тупыми, серыми и грязными стенами, о которые разбивалось всякое живое стремление.

Потоцкая вихлялась и кривлялась в первой паре, но скоро оставалась только она одна, и я мог узнать ее только по фасону платья, потому что и самый цвет ее черный, уже давно перестал быть черным, а черным сделался Колонный Зал, в котором электрические лампочки превратились в слабейшие сальные свечи, ничтожно мигавшие в тусклом тумане зала. Я стал чувствовать тошноту и головокружение, потому что Потоцкая стала менять цвета своего платья, и фигура ее извивалась как бешеная гадюка. И на тусклом, мрачном, а местами просто черном фоне Колонного Зала Потоцкая мелькала то в ярко-красном, то в ослепительно-белом платье, и только общий вид фигуры, неимоверно корчась и как бы над кем-то издеваясь, еще продолжал напоминать ту Потоцкую, которая еще так недавно выступала на эстраде.

Она была похожа на подвижную, <извиваю>щуюся греческую букву «кси», так что почти уже нельзя было разобрать временами, где была голова и где ноги.

Прочая публика не исчезла, но осталась как бы несуществующей. Она превратилась в непрерывно изгибающуюся спину тысячеголового чудовища, на которой Потоцкая выделявала нечеловеческие фигуры, гонимая и поднимаемая чьим-то повелительным, но циническим оком.

У меня мелькнуло в раскаленном мозгу: «Вот где можно ею овладеть!» И я стал осторожно приближаться к ней, чтобы схватить ее в наиболее неожиданный для нее момент. Я почувствовал в себе что-то кошачье и, как кошка, стал выслеживать свою жертву. Но Потоцкая была совершенно недоступна. Она так извивалась и вертелась, что никак нельзя было не только протянуть руку, чтобы схватить ее, но даже и просто приблизиться к ней.

По-видимому, она не заметила меня, хотя в зале были только она и я и что-то еще, что не имело никакого имени и не поддавалось никакому наименованию, как не могу подобрать я соответствующего имени и теперь.

Вероятно, мое выслеживание продолжалось бы целую бесконечность, если бы не случилось то, чего я никак не ожидал.

5.

Во время одного приближения к ней, когда я уже протянул руки, чтобы крепко схватить ее за талию, я вдруг заметил, что она начинает двигаться все медленней и начинает обращать внимание на меня.

После нескольких кругов она внезапно остановилась и вперила в меня свои глаза. Только одно мгновение я мог выдержать этот взор, после чего меня охватил такой ужас и смятение, что я бросился бежать от нее прочь, в невероятной панике замечая, что она погналась за мной с целью поймать.

Этот страшный и отвратительный, но в то же время пронизывающе-страстный взгляд стоит с тех пор у меня в душе в течение целой жизни. Я увидел вместо изящной и породистой головки оперной артистки какую-то волчью, не то собачью морду, — во всяком случае, нечто длинное и как бы конусообразное, направленное вершиной вперед. Глаза дико торчали вверх, хотя и сама морда была направлена несколько вверх, так что глаза были устремлены как бы к потолку, напоминая своим диким и свирепым выкатом две летящие стрелы, пущенные в черную пустоту неба. В довершение всего эта морда представляла собою открытую пасть, из которой болтался огромный огненно-красного цвета язык и, казалось, что этот зверь готов был сию же минуту меня проглотить.

Была тьма, смрадная, душная тьма, и — ничего кроме этих дико вытаращенных кверху бессмысленных глаз и яркого пламени длинного болтающегося языка. На фоне тусклого мрака зала этот язык сиял еще зазорнее, еще свирепее.

Вот это-то чудище и погналось за мною, так неожиданно перейдя в дикое наступление и преследование.

Я бежал по фойе прямо на улицу, бежал по улицам Москвы неизвестно куда, в своем парадном костюме, без шапки и галош,

не будучи, конечно, в состоянии взять у швейцаров свое верхнее платье.

Дождь лил довольно сильной струей, и погода стояла та самая, как и все последнее время. Завывал холодный, дождевой ветер, и была неимоверная слякоть. Уже было около полуночи, и я скоро очутился среди полной тьмы, где исчезли последние фонари.

Я мчался, что есть мочи, постоянно чувствуя неослабевающую погоню.

Ужас и сладость быть гонимым охватили меня с головы до ног, и я бежал как бы куда-то и на смерть и к наслаждению сразу. Вот-вот Потоцкая догонит меня, и я уже ощущал ее страстные шупальцы, ожигавшие мое тело, как раскаленные угли. Вот-вот она поймает меня, и — что-то случится с землей и с небом, какая-то полоса пройдет по всему миру, и небо разорвется на несколько частей, обнажая свою тошнотворную и пронзительную тайну. Вот-вот я буду схвачен, убит, уничтожен, утоплен в мрачном и огненном море бытия. И эта сладкая жуть, музыка и смерть, любовь и самопожирание охватывали судорогами все мое тело.

Толпа думает, что можно есть что-то, а оно, это «что-то», не может в то же время пожирать того самого, кто ест его. Толпа думает, что можно пожирать другого, но нельзя пожирать самого себя. И толпа уверена, что если что-нибудь пожирается, то тем самым оно именно пожирается, а не создается и не рождается вновь, что если что-нибудь пожирает себя самого, то тем самым оно не создает и не рождает себя.

Бедная толпа! Глупость и мещанство не уничтожаются в тебе, даже когда ты стихийна, когда ты сильна и когда ты прекрасна!

Вспоминая теперь свое дикое состояние в те минуты бегства от Потоцкой, я вижу, как Потоцкая сразу пожирала и меня и себя и в муках, в сладких и отвратительных муках, хотела заново родить и себя, и меня и еще кого-то третьего. К ужасу своему я жаждал в те минуты своего уничтожения, и тогда — зачем же я бежал от нее? И вождедел убить ее, Потоцкую, и — почему же не убивал ее, а убежал от нее как испуганный ребенок?

Не знаю, не знаю. Ничего не знаю.

Наконец, я стал замечать, что Потоцкая как будто несколько отстает, а потом как будто и совсем погоня прекратилась. Куда она делается, не знаю, но знаю, что и я стал замедлять свой бег и в конце концов остановился, совершенно не соображая, в какое место я попал.

Были какие-то большие деревья, — может быть, лесок или парк, и ни одной живой души. Ветер продолжал стонать и рвать все непрочное, и дождь неумолимо и непрестанно проливался в холодном и мгlistом воздухе.

Я стал всматриваться в едва видные контуры деревьев и с некоторым удовлетворением заметил, что я нахожусь в глубине Сокольнического парка, почти на берегу глубокого пруда, — в нескольких верстах от Благородного Собрания.

Под проливным дождем, без пальто, без шапки и без галosh, я опустился на скамейку, случайно оказавшуюся недалеко от меня. С трудом собирая свои мысли и считая, что невозможно же, в конце концов оставаться в таком положении, я сидел очень недолго и поднялся, чтобы идти, но — куда и как?

Мой изящный костюм превратился в обвисшие и оборванные, забрызганные грязью тряпки, а галстук размотался и висел на шее скрючившись как веревка. Вместо своих туго накрахмаленных воротничков я ощупал у себя на шее какую-то мокрую рвань, которую сейчас же стал срывать с себя, но никак не мог этого сделать, потому что какая-то запонка упорно сопротивлялась, и я не мог ни распутать этого досадного ошейника, ни разорвать его.

Все на мне висело, путалось, рвалось, болталось; можно было выжимать воду из всего. Вода была даже в карманах.

Я начинал стучать зубами от холода. А извозчика совсем нельзя было достать в Сокольниках. Было далеко и до трамвайной остановки, да и трамвай, вероятно, уже прекратился в этот поздний ночной час.

Положение было бы безвыходно, если бы я не наткнулся на какую-то жалкую избушку, в которую и решил войти, чтобы немного привести себя в порядок.

На душе был у меня камень.

6.

Войдя в сени избушки, я заметил небольшое окошечко в главную комнату, из которого светился огонь. Но то, что я увидел в это окошечко, когда заглянул туда, — превзошло все мои ожидания.

Я увидел огромный и роскошный зал с длинным обеденным столом, за которым сидело масса народа, — по-видимому, каких-то гостей, — и ряд небольших столиков, стоявших вокруг главного зала и уже занятых гостями. Столы были уставлены всевозможными закусками, из которых многие имели совершенно необычный и странный вид, так что можно было думать, что это какие-то деликатесы, у нас никогда не употребляющиеся.

Мягкий электрический свет разливался по всему залу, придавая всем очертаниям приятно-желтоватый и слегка затененный и матовый оттенок.

Был богатый ужин, и официанты все время сновали туда и сюда, разнося по гостям бесконечные кушанья, для которых я даже не имел названия в своем лексиконе. По-видимому, ужин в основном кончился, и шел уже изысканный десерт, чем и объяснялось разнообразие и обилие подаваемых яств.

На столе красовались небывалой формы сосуды и вазы, подобные которым я встречал только при изучении искусства Древней Греции. Они были переполнены янтарными кистями винограда разных сортов, шафрановыми и анисовыми яблоками, желтыми, мягкими сочными грушами, пахучими мандаринами и т. д. и т. д. Посредине стола шла целая батарея бутылок, содержимое которых не было мне известно ни по вкусу, ни по названию.

Публика, по-видимому, была приглашена со специальной целью. К удивлению своему я заметил, что хозяином этого необычайного пиршества является тот самый генерал, который начинал с Потоцкой вальс в первой паре. Да позвольте! Вот и она сама, Клавдия Ивановна Потоцкая, в том же самом черном муаровом платье, в котором она выступала сегодня на концерте.

Было ясно: это — ужин после благотворительного концерта, и тут присутствовали все, кто имел отношение или к концерту, или к благотворительным целям, ради которых он был устроен. Но что уже совсем было странно и непонятно, это то, что среди этой публики я увидел самого себя — в том самом изысканном и тщательно обдуманном костюме, в котором я пришел на концерт. Впрочем, я не так уж этому удивился. После первой минуты изумления я вдруг почувствовал, что это очень даже хорошо, что так и должно быть, что тут ровно ничего нереального, выдуманного, что иначе даже и не могло быть.

Многие успели подвыпить, и разговор шумел на самые разнообразные темы. Потоцкая уже оставила свое официальное место за столом, так как, за окончанием ужина, и многие другие стали менять свои места, рассаживаться и разваливаться на многочисленных диванах и креслах, и десерт продолжался наполовину уже не за столом.

Около Потоцкой увивалось много разных мужчин, и молодых и старых; и трудно было уловить какую-нибудь определенную нить разговора. К тому же все собрание довольно громко шумело и галдело, и среди этого пестрого и полупьяного гама я мог слышать только отдельные фразы и даже только слова.

— Кабинет Асквита иначе и не мог кончиться. Асквит — дурак. Уверяю вас, дурак!

— Нет, вы представьте себе: младенец сосет, извините за выражение, материнскую грудь. Вы думали, он и взаправду сосет и питается? Сосет-то он сосет, да только что-то, брат, странное. Набрасывается это он на грудь как голодный и хищный зверь на

добычу, глотает как заправский алкоголик; щечки это начинают у него краснеть да надуваться. И наконец, по окончании сего вождения откидывается он в сторону со счастливым и удовлетворенным выражением лица, отваливаясь и разваливаясь как старый кот. А мать — тоже не менее счастлива. У нее ведь так сладко трепетала матка во время кормления ребенка! И после этого говорят, что родители не совокупаются с детьми!

— Хе-хе-хе! А это мне нравится. Родители с детьми! Хе-хе-хе! Тут что-то есть. Да нет — правда. Тут что-то такое этакое, знаете ли, клубничка, так сказать, родительская-то! Хе-хе-хе!

— Господа! Вы — мистики. Ну, ее, мистика. Вы удивитесь, а я вам скажу: самое главное в жизни, это — хорошие щи, борщ, здоровая жена и кругом это ребятишки разные... Знаете ли вы, что такое хороший борщ? Нет, вы не знаете, что такое хороший борщ со свежими овощами. Ежели овощи только с огорода, да в меру перчику, да в меру маслица, да сама хозяйка-то здесь, эдакая толстая да добрая, земляца, можно сказать, тепленькая, — так тут брат, что твоя мистика! Ребятишек эдак — штук десять, — да все эдакие толстенькие, пухленькие, крепенькие, как грибные стволы, — пищат да смеются, хохочут, кувыркаются. Это, брат, кишочки мои тут, пуповинушка! А благоухание-то какое от щей! Да и детишки-то сами молочком пахнут, мясом — само, можно сказать, вымя матернее. И не знаешь сам, они ли тебя сосут, или ты их сосешь. Одно только — весело да вкусно! Смаку-то сколько! И жена-то эдакая смачная, сыр в масле, свежая клубника в сахаре, ананас, черт возьми, с хорошим шампанским. И кругом это тепло да уютно, да всего много-много. Ешь — сколько хочешь. А благовоние-то за обедом! Да разве сравнятся ваши духи? Духи, это — мечта, идеализм, бесплотная абстракция. А хороший борщ, да сытые ребятишки, да жена эдакая дородная, да заковыристая, это, господа, святая действительность, трепет самой жизни, а не мечтательство. Бух это в постельку, да в засос, в засос, в засос. Ха-ррра-шшо! Ей-Богу, ха-ррра-шшо!

— Эй вы, пьяные морды! Я вам сейчас все объясню. Вы думаете, я пьян? Да? Я пьян? А вот и ошиблись. Я не какой-нибудь сукин сын и не хам какой-то... Я (тут говоривший сильно икнул, так что, несмотря на общий гам, многие услышали и обернулись), я, можно сказать, влюблен. Да, да! Влюблен! Извольте хихикать-с? Да, влюблен, и несчастно влюблен, безнадежно! Небось, станете спрашивать — в кого? А вот и не скажу. И... не скажу! Черррт! Ну, хотите — расскажу...

— Куда, куда, — кричу я ему. А он: да все туда же, куда и все...

— Чудное было время (говорил голос, совершенно трезвый, хотя я уже не различал, кто мог бы произносить эти слова). В Крыму — чудно под вечер. На южном-то берегу. Солнце сзади садится за горы, а запад — сначала устало-бледноватый, потом — утонченно-сиреневый, потом — прозрачно-голубоватый. Отдаленные берега, скрывающиеся в прохладной мгле, покрыты нежной, как бы несуществующей розоватостью и эти туманные горы сами превращены в нечто как бы несуществующее, в бесплотную телесность прохладной неги, в сиреневую мглу извилистой-трепетной и матовой музыки вечернего надморья. На душе — прозрачно, кристально, прохладно, скучно и — хорошо! Посмотришь наверно...

— Нет, нет, только не это! Полиция, духовенство, церковь, самодержавие — нет, ни за что! Ради чего же было Возрождение, зачем работали энциклопедисты, к чему была великая французская революция? Только для того, чтобы опять насаждать это черное воронье, это отвратительное абсолютистское государство, эти мертвые старушечьи идеалы. Нет, старые иконы не спасут! Мертвые, облезшие картинки не спасут!

— Первая глупость — родиться. Зачем? Только потому, что у моих родителей чесались известные места, я вдруг должен родиться! Я не хочу жить, а вот живи, — во что бы то ни стало, живи. Вторая глупость — жениться и рождать детей. Ведь знаешь же прекрасно, откуда сам произошел и какова причина твоей жизни, и все-таки — на-те, пожалуйста, женишься и еще плодишь потомство, руководимый все той же чесательной философией. Наконец, что уже и действительно глупее и возмутительнее всего, это — умереть. Ну, родился, — ладно, черт с тобой. Женился — пусть так, никуда не денешься. Но умирать-то зачем, скажите на милость! Что за гнусная и подлая идея!

— А я — так вот никак не могу понять, как это люди додумались до механизма и машины. Верите ли? Когда действует машина, я слышу чье-то глухое и сдавленное страдание. Какая-то внутренняя пустота и бездарность содержится в каждой машине и оказывается ее подлинной душой и сущностью... Механизм есть нивелировка духовной жизни, безразличие и косность глубочайшего тупоумия, бездарные потуги заменить гения и душу слабосильной и серой дребеденью. Машина — духовно бессильна и жизненно мертва. Трепетную жизнь души она хочет перевести на счета, записать на дебет и кредит, подвергнуть нигилизму статистики, цинично трактовать как таблицу умножения. Паровоз (а это еще довольно грубая машина, далекая от современных сложнейших механизмов) есть воплощение цинизма, материализованное нахальство и хамство, духовная бездарность, восставшая на светлого гения и удушившая его. Самый последний извозчик бесконечно глубже, созерцательнее, философичнее и даровитее паровоза и

его машинистов. Извозчик, это — сама вдумчивость, сосредоточенность, углубленность. Это — живая идея и жизнь, глаза, видящие душу вещей, а не просто глупо смотрящие и неопределенно скользящие по нудному, бессодержательному пространству тьмы. Машина — осуществление невроза механическими средствами, духовный обморок и потемнение в глазах, тошнотворное и нудное смятие, от которого хочется выбежать на мостовую, забиться головой об землю и закричать, закричать, завопить на весь мир.

— Хе-хе-хе! А Потоцкая-то живет с Баландиным...

Я обомлел. Слушая весь этот случайный вздор многочисленных подвыпивших гостей, я все время беспредметно скользил от одной фигуры к другой и безразлично слушал все, что долетало до моего слуха. Но когда кто-то заговорил о Потоцкой, я вдруг опять почувствовал себя кошкой и с жадностью впился в говорившего.

Говоривший был пожилой мужчина в мундире какого-то большого министерского чиновника. Он немного выпил, но прекрасно владел собою и притворялся пьяным более, чем был на самом деле. Ехидные глазки глубоко сидели в его глазных впадинах, и сморщенная округлость вокруг рта говорили об его полной внутренней незаинтересованности в теме, которую он начал. Он, однако, явно был заинтересован произвести на кого-то впечатление своим открытием, хотя мне и не было видно, кого он, собственно, имеет в виду.

— Да-да-да-с! — продолжал он вкрадчиво-лукавым и подобострастным тоном. — Потоцкая живет-с с Баландиным, — вот-вот, с этим самым Баландиным-с!

— Полноте, что за вздор, -- слышалось несколько голосов в ответ. — Ведь это же немыслимо ни в каком смысле! Ему по крайней мере лет 80. Да при том — этот кляклый, склонявый старик, с огромным и безобразным кадыком...!

— У меня есть доказательства! — не унимался министерский чиновник. — Но ведь дело не в этом. Мало ли кто с кем живет. А я-то не за этим стал говорить о Потоцкой.

— Ну, ну, говорите, в чем дело, — зашептало вокруг несколько голосов.

— А дело в том, что сказал этот самый Баландин одному своему приятелю у нас в министерстве, такому же песочному уроду, как и он сам: посмотрите-ка на него сейчас. Он сейчас в другом углу зала, чем Потоцкая, и даже не подает никакого вида, беседуя со своими сослуживцами. Но что он сказал, что он сказал!

— Да говорите же, наконец, в чем дело, — загалдели кругом и кто-то в нетерпении даже дернул его за рукав.

— А вот в чем. Приятель его спрашивает: «Как же ты, дружище, живешь-то с нею? Ей ведь 30 лет, а тебе 80». А он в ответ:

«Милый мой, у меня ведь есть еще язык». Вы представьте себе только: «У меня ведь есть еще язык!» Недурно сказано, а? Находчивый старичишка! Но она-то, она! Хе-хе-хе-хе!

И говоривший закатился мелким дребезжащим смешком, как будто бы кто-то лапал его по животу.

Кое-кто нахмурился, но большинство в группе, слушавшей чиновника, сделали вид, что все это очень весело, и все деланно захихикали, будто услышали бездарный, но претенциозный анекдот.

Я почувствовал боль у себя в затылке и дрожание чуть повыше живота и сразу увидел, что все это кончится чем-то очень скверным. Но пока я сдерживал себя, давно забывши и свой озноб и свое босяцкое обличье, в котором я оказался после бега по дождю и грязи.

7.

Я стал разыскивать глазами Потоцкую, чтобы посмотреть на нее после того, что услышал о ней.

Я был убежден, что ее лицо откроет мне теперь что-то очень важное и небывалое, по сравнению с чем услышанная мною только что «новость» окажется чем-то мелким и незначительным.

Однако Потоцкая находилась неизвестно где и, вероятно, ее загораживала от меня масса публики, ходившей и сидевшей по разным местам и углам огромного зала.

После долгих поисков я нашел ее, наконец, сидящей на небольшом диванчике малинового цвета с позолоченными ручками и краями спинки. Около нее сидел... кто же, вы думали? Около нее сидел я — учтивым молодым человеком, изысканно одетым и причесанным, в том самом виде, в каком я пришел на роковой концерт.

— Клавдия Ивановна, — шептал я горячим, но скромным шепотом. — Вы прекрасны, вы юны, вы сильны и велики. Вы сами не знаете, какое очарование благоухает вокруг вас. Вы окутываете меня золотым облаком видений и грез. Вы — мое счастье и радость, тихая и претпетная радость...

— Ну, и что же вы от меня хотите?

— Я хочу быть всегда около вас, дышать вашим воздухом, присутствовать в вашей комнате в артистической...

— Но позвольте, это — невозможно. Быть в моей артистической вам во всяком случае невозможно...

— Простите, Клавдия Ивановна, не так сказал. Но ведь вы же знаете, как прекрасна музыка. Вы — ласковая, нежная, мягкая, вы — родная и близкая, постоянная...

— Видите ли, милый мальчик, вы сейчас говорите не на тему. Что вам угодно от меня?

— Мне не может быть что-нибудь угодно. Я — смиренный паж, я ваш арапченок, целующий ваши пальцы.

— Это немного скучновато, мой друг. Ну, вы — поэт, я это знаю. Ну, и что же?

— Клавдия Ивановна, вы меня презираете!

— Наоборот, мой друг, я вас очень ценю.

— Клавдия Ивановна, вы меня презираете. Так знайте: люблю и сладко лелею ваше презрение. Вы меня презираете, а я этому радуюсь. Вы вот велики, а я мал и ничтожен, и в особенности в ваших глазах, и — особую сладкую тоску от этого испытываю. Рад я каждому вашему гордому взгляду. Вы вот и сейчас недовольно повели своими глазами. А я восхищаюсь вашей неприступностью. Вы холодны ко мне, а я страстно упиваюсь этой холодностью, люблю это ваше презрение, жажду ваших пылких и язвительных фраз. Может быть, вам угодно еще и плюнуть на меня? Плюнуть этак в самую физиономию, в самые, так сказать, глаза. Ну, плюньте же, плюньте! Предвкушаю, как томно защемит у меня на душе и какой огненной страстью разольется ваш плевок по всем жилам моего тела. Ощущаю изысканную негу души от вашего плевка, ажурным мучением занает дрожащая бездна души...

Тут я не выдержал и ворвался в залу со всем своим грязным и оборванным видом.

— Господа, — завопил я диким голосом. — Господа, внимание!

Весь зал оцепенел. Кое-кто, поднимавший в эту минуту вино ко рту, уронил вино, и несколько дорогих рюмок звякнуло об пол, разбившись вдребезги. Три-четыре бутылки скатилось откуда-то на пол, и одна из них тоже разбилась вдребезги, а еще одна покатила далеко в сторону и еще долго куда-то катилась, слабо нарушая вдруг наступившую могильную тишину.

Все разом повернулись ко мне, и несколько десятков пар стеклянных глаз в диком ужасе уткнулось в меня.

Водворилась та тишина катастрофы, которую нельзя забыть, если хоть раз переживешь ее в жизни.

Кое-кто стоял с открытым ртом, изображая наивный и смертельный ужас, какой бывает у провинившихся детей, когда их застигают на месте преступления.

— Господа, — начал я, предвидя что-то очень большое и скверное, долженствовавшее обязательно случиться. — Господа, вы пьяны и развратны, а я трезв и невинен. Но я ... я не дорожу этой трезвостью и невинностью! Я отдам ее в жертву — чему? И сам не знаю, — чему! Но я, трезвый, знаю тайну вашего пьянства и вашего разврата, а вы не знаете ее, как не знает ее и та из вас,

которая наиболее гениальна и наиболее развратна. Только невинный знает тайну разврата. Эй ты, старикашка!

При этих словах я резко подошел к Баландину, крепко схватил его за руку и приволок на середину зала. Несчастный старикашка побледнел, споткнулся на ровном месте, как бы запутавшись в длинных полах своего платья (хотя на нем был обычный сюртук) и остался в идиотской, жалкой и смешной позе какого-то искривленного и замученного горбатого карлика.

— Эй ты, старикашка! — продолжал я. — Слушай свой приговор, мерзкая тварь. Господа, кто он? Говорите, кто он такое?

В ответ наступило гробовое молчание, как оно было и до сих пор.

— Вы молчите? Так я вам скажу, что он такое. Это — гнусность и смрад бытия, откуда рождается и поддерживается все человеческое искусство. Согласны?

Зал продолжал находиться в оцепенении.

— Искусство — ваятельный трепет вселенной. Искусство — чреватая история вечно рождающейся жизни. Искусство — тектоническая боль бытия. Согласны? Ведь так?

Зал безмолвствовал.

— Так вот это самое искусство питается этой гнусной дрянью, этой затейливой мерзостью бытийных низин, этой самопожирательной гадиной мировых закоулков. И вы думаете, что такой жалкий карлик, полунасекомое, полуспрут, не должен быть убит? Вы думаете, что я не убью его и оставляю таким же вот точно, каким и сейчас стоит перед вами?

Зал находился как бы в гипнозе, и никто в ответ не проронил ни слова.

— Так вот знайте: я убью эту гадину! — закричал я во все горло, схвативши первый попавшийся нож с обеденного стола и занеся его над стариком.

Тут вдруг почему-то подскочила Потоцкая, от которой я никогда не ждал такой прыти, и быстрым, ловким движением руки вырвала нож и отбросила его в сторону.

Она мне показалась ничтожной.

Впрочем, она здесь уже не играла никакой театральной роли, а действовала исключительно под напором аффекта. Она сверкала глазами, высоко поднявши голову, и свысока, надменно, сквозь прищуренные ресницы бросала на меня острые, уничтожающие взгляды.

— Вон, — завопила она. — Вон отсюда, мальчишка, щенок, мазурик. Вон! Вон!

Я усмехнулся.

— Хе-хе! Вы — что? Оскорбленная невинность?

— Вон, вон, вон! — в исступлении кричала Потоцкая, переставая владеть собою и готовая броситься на меня с кулаками.

Я решил действовать без задержки. Я бросился на нее, крепко схватил ее за горло обеими руками и стал душить, в то время как публика, до этого момента обалдевая и оцепеневшая, стала вдруг невероятно шуметь, галдеть, на кого-то бросаться, лаять настоящим собачьим лаем.

Водворилась невероятная суматоха. Кто-то бил кого-то кулаками, кто-то пронзительно визжал, и раздавались стуки чего-то грузно падающего и звонко бьющегося.

В завершение всего электричество как-то ужасно потускнело и покрылось почти непроницаемым облаком. Нельзя было ничего разобрать; по крайней мере, я слышал только собачий лай, визг и вой. И все спуталось, как в сильном головокружении.

Вдруг все исчезло окончательно. И я увидел себя опять под дождем, среди редких деревьев Сокольнического парка, в чуть брезжущей мгле тоскливых холодных сумерек. И увидел я себя стоящим коленями на мокрой земле и изо всех сил сжимающим горло лежащего передо мною навзничь Баландина.

Как это случилось? Ведь я же там, кажется, набросился на Потоцкую, а не на Баландина. Почему же сейчас я душу Баландина и почему я вдруг очутился опять под дождем, на ветру и на холоде?

Руки у меня озябли, и я не мог сдавить горло Баландину так, как надо было. Потому я не был уверен, жив ли Баландин или уже умер. Но давить я все же продолжал, то переставая, то опять начиная, колеблясь относительно результата своего предприятия.

Наконец, я поднялся с земли и стал на ноги.

Дождь, кажется, переставал, и стало сравнительно тише.

Внизу было совсем тихо, и только верхушки деревьев равномерно шумели, как бы авторитетно и степенно советуясь по поводу того, что происходило внизу.

Я почувствовал, что эти шумящие своими верхушками деревья были свидетелями моего преступления и что они запомнят его на всю вечность, и нельзя будет сделать так, чтобы стереть с лица земли этого проклятого старика и мое неожиданное дело с ним.

8.

Однако, я тут же убедился, что есть еще один свидетель моего преступления, но свидетель такой, что уж совсем трудно было это ожидать.

Только что я поднялся с земли и услышал шум верхушек деревьев, как вдруг увидел, совсем около себя, Потоцкую, стоявшую передо мною на коленях и ловящую мои руки, чтобы их целовать.

— Милый мой, желанный мой! Милый мой мальчик! Прежде чем ты убьешь меня, возьми меня как женщину, обладай мною, сжался надо мною, над моим телом. Я хочу тебя, хочу твоих жарких объятий, хочу принять от тебя мужское, хочу отдаться тебе. Милый мой мальчик! Целую твои руки и ноги, не отвергни меня, возьми мое тело, — отдаюсь тебе послушно, верно, отдаюсь вся-вся, как жена, как раба, как невольница.

Потоцкая ползала на коленях по грязи и по лужам и иступленно целовала мои ноги и руки, боясь, что я отвернусь от нее и оставлю одну.

— Повелитель мой, господин мой, возьми мое тело. А потом ты убьешь меня, как убил этого старика. Но я должна отдаться тебе, я должна принять в себя твоё мужское. Перед смертью я причащусь твоего тела. А потом убивай и души меня, как хочешь.

Несколько мгновений я колебался. Слишком разителен был контраст холодной, неприступной светской львицы и этой смиренной, умильной, податливой и нежной женщиной, слезно просившей удовлетворить ее желание отдаться мне. Странное дело: стоило мне задушить ее уродливого героя, как она вдруг стала такой нежной и податливой, просящей о снисхождении к ней, стала как бы какой-то несчастной, бессильной нищей, умоляющей о ничтожной милостыне на пропитание.

— Милый мой мальчик! Ты хотел отнять у меня музыку. Ты сам не понимаешь, что твоя любовь должна была отнять у меня музыку. Ты — чистый, светлый, простой-простой, ты мой ребеночек маленький, наивная ты моя деточка! Я чувствовала, как общаясь с твоей невинностью, я теряла свои музыкальные способности, как твоя ласковая и родная душа, согревая меня, вытравляла во мне самые последние корни музыкальных инстинктов, как я теряла всякий интерес к музыке, как я становилась безразличной к эстраде, к театру, к своим партитурам. Я видела, как бледнеют мои музыкальные партии, как я начинаю фальшивить в трудных пассажах, как терялся тонкий слух и неинтересной становились и техника и душа музыки. Я чувствовала, что ты и любовь к тебе несовместимы с музыкой, что нужно здесь выбирать, мучительно и болезненно выбирать. И я выбрала музыку, — пойми это, мой умный, мой тонкий, мой глубокий и мудрый! Я была холодна к тебе, и я научила себя презирать тебя. Я издевалась над тобой и мучила тебя. Да, мне было нужно другое, и ты его не мог мне давать!

Несколько мгновений я колебался, но потом сразу по всем жилам разлился какой-то кипяток ярости, и, может быть, даже

мести. Но к кому ярость и за что мечь, — в этом некогда было тогда отдавать отчет. Да и теперь, после многих лет, вспоминая все происшедшее, никак не могу понять, откуда вдруг появилась у меня в тот же час такая звериная ярость.

Я уже едва сдерживал себя, а Потоцкая все продолжала меня молить и умолять, болезненно и нетерпеливо перемежая слова со слезами.

— Милый мой мальчик. Ты сказал, что ты понимаешь разврат. Но ты наивный и дитя еще. Если б ты понимал разврат, ты не удушил бы этого старика. Тебе этого не понять, как не понять и многого другого. Если б ты понимал себя, ты перестал бы любить музыку, и окружающий мир побледнел бы в твоих очах. Но ты, ты — наивный ребенок. И никто как я — даст тебе мудрость жизни.

«Ну, уж это слишком!» — подумал я и с жестокой яростью набросился на Потоцкую, начавши срывать с нее останки ее богатого муарового платья.

Обнаживши ее холеное тело, я с ураганной яростью набросился на нее и стал по-звериному владеть ею.

Она послушно и безропотно отдавалась мне, распростершись на грязной и мокрой траве, во мне же кипел и клочкотал переполненный вулкан злобы, гнева, ненависти, мести и — отчаяния.

Старик Баландин лежал тут же, растопыривши руки и высунув длинный язык, как бы незаметно записывая в вечность то, что тут происходило.

В вышине совершалось то, что было неизбежно. И тайна смерти раздирала высокую, безбрежную мглу осеннего ночного неба. Загубленное и невозвратное, опозоренное и разбитое вырастало в этом небе, и само небо казалось воплощением мирового цинизма и вырождения.

Помню теперь, как в наивысший момент, ради которого мужчины и женщины спят вместе, я вдруг зарыдал; и еще лежа в объятиях Потоцкой и еще не оторвавшись от нее, я долго и судорожно рыдал, так что уже нельзя было отличить сексуальной судороги последней точки соития и обильной слезами судороги рыдания.

— Клавдия, — сказал я наконец, едва-едва поднявшись с земли и чувствуя во всем теле болезненную слабость, — Клавдия!

Она лежала неподвижно на земле и ничего не отвечала, так что мне пришлось опять стать коленями на землю, чтобы рассмотреть выражение ее лица.

Лицо ее сияло тихим счастьем и как бы излучало нездешнюю, просветленную радость. Чувствовалось, что этот человек благополучно свершил свой жизненный путь и готов умереть в сознании исполненного долга.

— Клавдия, — зашептал я, пригнувшись к самому уху. — Клавдия, хочешь ли, я задушу и тебя?

— Да, мой милый мальчик! Да, да! Хочу умереть. Убей меня, убей меня, мой сыночек, моя вечная радость. Задуши тут же, вместе с ним, с этим...

Я поцеловал ее в лоб и стал двумя пальцами давить глотку Потоцкой. Продавить кадык было нетрудно. Потоцкая слабо и изнеможенно захрипела, стала одной рукой судорожно водить по земле.

Через несколько секунд и это движение кончилось. И два полураздетых трупа, с высунувшимися языками и с выпученными глазами, залегли в непроглядной тьме, в грязи и лужах, как тайная жертва неведомому богу.

9.

Тело мое ныло от усталости и изнеможения, и я едва стоял на ногах.

Шатаясь и ковыляя ногами, я побрел неизвестно куда, и брел, вероятно, довольно долго.

Начинало постепенно сереть, и скоро должен был народиться сучухный, бессолнечный, свинцовый день.

Я набрел на извозчика, сказал ему свой адрес и велел скорее погонять.

Дома я снял с себя мокрые тряпки, надел чистое и сухое белье и в полном изнеможении свалился в постель, запретивши себя будить, покамест не встану сам.

На душе было пусто и светло, как при электрическом свете. Спокойно, пусто, бездонно и светло-светло.

Мне вспомнился один полупьяный голос, который я слышал на том роковом вечере, где собрались устроители концерта вместе с исполнителями, и с ним еще другой, такой же нетрезвый выкрик:

— Ха-ха! А тело женщины ведь свежими яблоками пахнет.

— Что вы, что вы, сударь мой. Ни в коем случае не яблоками. Вы ничего не понимаете. Сказать, чем оно, родимое, пахнет? Свежеиспеченным пшеничным хлебом-с! Вот чем оно, родимое, пахнет!

Эти два голоса едва мелькнули у меня в памяти и моментально погасли.

И я заснул крепчайшим, богатырским сном.

ТЕАТРАЛ

1.

Это было порядочно-таки давно, через несколько лет после окончания гимназии.

Я проезжал по Юго-Восточной железной дороге и должен был сделать пересадку на ст. Лихой.

Поезд, с которым я должен был схать, сильно опоздал, и я не знал, куда деть несколько часов. Прочитавши все газеты, какие нашлись в киоске на вокзале и просмотревши кое-какие брошюрки, я вышел на платформу и стал долго гулять, имея в голове довольное неясные и рассеянные мысли.

Вдруг над самым ухом я услышал пронзительный выкрик:

— Ванька!

И кто-то сильно и дружески ударил меня по плечу.

Я невольно отшатнулся от подошедшего ко мне субъекта, удивившего меня своим странным костюмом. Этот костюм напоминал мне мешочный фартук, начинавшийся с плеч и спускавшийся до самого низа, какой носят лабазники и приказчики съестных лавок. Платье это, кроме того, было затаскано и заношено и начинало ползти, так что едва ли и можно было привести его в приличный вид. На голове был сношенный черный картуз, также свидетельствующий о своей долголетней службе, причем верх был совершенно мятый, и издали это казалось не картузом, а какой-то бешей.

После первого изумления я стал всматриваться в лицо окрикнувшего меня человека, и оно сразу показалось мне знакомым. В глаза бросался какой-то знающий ум, но все лицо удивляло своей серостью и невыразительностью. Нос на этом лице был несколько приплюснутый и очень вяло выделялся на его поверхности, свидетельствуя о какой-то ограниченности. Также и тонкие губы совершенно не улыбались, несмотря на фактическую улыбку и даже смех, и виделось в них некоторое тонкое убожество природы и какая-то скрюченность, сжатость, сдавленность всякого размаха.

После нескольких мгновений я узнал своего старого товарища по гимназии, с которым в свое время я был чрезвычайно дружен,

но которого ни разу не встретил за несколько лет, прошедших после окончания.

Узнавши своего старого приятеля, я сразу вспомнил и его имя и так же дружески закричал:

— Петька!

Мы обнялись.

— Ванечка, милый мой, дружище закадычный! Какими судьбами? Где твой дом? Куда ты едешь? Ну, где же нам присесть? Не отпущу, не отпущу! Покамест не расскажем друг другу всего, не отпущу! Понимаешь ли, — всего, всего!

— Слушай, Петька, — отвечал я таким же возбужденным голосом. — Ты ли это? Не верю своим глазам!

— Ваня милый, пойдем в вокзал. Засядем там за столик, и будем рассказывать, рассказывать... Господи, вот встреча-то!

Мы вошли в вокзал, заняли в буфете отдаленный столик в углу и начали свой разговор.

Как только мы сели за стол, Петя сразу потух. Сразу стало ясно, что возбуждение и радость, проявленные им при встрече со мною, нисколько для него не характерны, что повседневная его жизнь — совершенно иная, гораздо более вялая и прозаическая. Надо было ему именно встретить друга детства, — не менее того, — чтобы он пережил радость.

— Да, да, много воды утекло, — начал разговор Петя. — Тебя не узнать. Кто-то мне говорил, что ты занимаешься литературой. Да! А вот я... Да, мне не повезло...

— Петя, а что ж твой театр? Не пошел по театральной части?

Ответ был ясен сам собой, так что не надо было и спрашивать. По всему было видно, что ни по какому театру Петя не пошел.

— Не пошел, брат, не пошел...

— А помнишь наш милый маленький театрик в Н***? Помнишь наши увлечения, наши мечты о театре?

Петя нахмурился.

Я не стал спрашивать дальше, да и вообще получилась какая-то неловкость. Я решил ничего не спрашивать Петю об его занятиях или службе и ждать его собственного почина.

Петя не заставил себя ждать.

— Много, много надо тебе рассказать. Да уж не знаю, расскажу ли. Ни с кем ведь не делился, почти что с того времени, с гимназии... Да и кто поймет?

Тут почему-то мне вдруг стало понятно, что Петя очень много пережил и что его серую и скучную наружность нельзя понимать буквально. Под нею что-то шевелилось, о чем покамест трудно было догадаться.

— Да, да, много воды утекло с тех пор, всего и не запомнишь...

Ему, видимо, хотелось многое рассказать и притом что-то особенное. И он только не знал, как к этому приступить. Я решил ему помочь.

— Петя, давай условие: сначала ты мне рассказывай, а потом я тебе...

— Давай, давай, милый Ваня... Ты мне тоже все расскажешь подробно-подробно. Но начну уж пусть я... Только вот что... Ты пьешь?

Я отрицательно мотнул головой.

— Ну, ладно! Ради дружбы — разреши уж мне...

Мы заказали графинчик.

С каждым мгновением Петя открывался мне все с новых и новых сторон. Сейчас я сразу увидел, что Петя безнадежный алкоголик. Как я не заметил этого раньше? После жалкой просьбы о графинчике я сразу заметил, что лицо его какое-то прозрачное и опухшее, и глаза — с тем слабым, как бы мигающим, холодноватым блеском, какой бывает только у алкоголиков да после больших потрясений.

Петя сразу выпил большую порцию, но не повеселел. Разве только стал смелее и развязнее на язык.

И он начал рассказ, потрясший меня до глубины души.

2.

— Милый Ваня! Пересматриваю свою жизнь и — спрашиваю себя: зачем жил? Ведь была же какая-то цель, какая-то идея в этой жалкой и ничтожной жизни! И не вижу, не нахожу такой цели... Все дело в том, что я не поехал в университет. И почему не поехал, — смешно и сказать. А был бы я другой человек... И теперь иной раз кажется, что попади я в университет, я воскрес бы душой и начал бы новую жизнь. Но нет, поздно! И знаешь, почему не поехал в университет? Смешно и стыдно сказать. А надо сказать и скажу. Летом того года, когда мы с тобой получили аттестат зрелости, я поступил на почту... Смешно! Поступил почтовым чиновником — продавать марки и открытки. И летом же послал все документы в Москву для принятия в университет, а в августе получил уведомление о принятии... Тут бы сорваться с места и, несмотря ни на что, дернуть в Москву. А я... Я стал слушать родителей. «Куда-де ты поедешь, голодный и холодный? Обеспечь сначала себе хоть месяц жизни в столице, да и мы-то старые и голодные, работать уж не под силу». Ну, думал-думал. Решил до Рождества подождать, на дорогу себе собрать. Да, вот теперь уж восемь лет, как все на дорогу себе собираю... Да, впрочем, давно и бросил собирать.

Отец — тоже почтовый чиновник. Сорок лет служит на почте. Через него-то и погиб я во цвете лет. Приходя домой с своей службы, я встречал только одно: «Ты нам неблагодарен. Мы тебя родили, мы тебя поили и кормили. А ты вот вырос теперь до 18 лет, а нам не помогаешь. Что это за жалование твое — 15 руб.? Башмаков больше стаскаешь!» Иной раз дело доходило и до таких фраз: «Мы тебя поим и кормим, а ты ничего не зарабатываешь. Скоро ли кончится это мучение? Что ж ты думаешь, мы обязаны, что ли, тебе чем-нибудь? Нашел дойную корову!» Я молчал, и это ли раздражало пуще прежнего. В конце концов я понял, что мое молчание — самая жестокая для них позиция. И я продолжал молчать и молчать, раздражая их все больше и больше. Приду, бывало, с почты, лягу на свой диван и — начинаю молчать, начинаю это жестокое и беспощадное избивание моих родителей молчанием... Только когда уже становилось невтерпеж, то я вставал с своего диванчика, медленно и степенно одевался и уходил из дома, как будто бы шел куда по делу.

На почте не было веселее. Работа, которую я делал, была совершенно механической. Для нее достаточно было кончить сельскую школу... Ты думаешь, я мучился, страдал, кидался из стороны в сторону? Нет, милый Ваня. Я добровольно отдавал себя во власть этой всеразъедающей стихии серой обыденщины, и как бы всасывал в себя эту скуку почтового ведомства, сам превращался в это почтовое ведомство.

С родителями пришлось скоро расстаться. Не потому, что я, наконец, вник в их попреки куском хлеба, и не потому, что хотел их освободить от лишнего рта. О, нет! Это никогда не входило в мои цели. Я с наслаждением продолжал издеваться над моими родителями своим постоянным молчанием. И если бы не одна случайность, то я никогда б от них не ушел, пока они не применили бы физических мер или не позвали бы на помощь полицию. Случайностью этой была женщина.

Ваня, ведь оно же и естественно. Ну, как же мне, здоровому парню, не задуматься ни разу над женщинами? Даже я, такой бука, уничтоженный и забитый и родителями и судьбой, задумался однажды над женщиной. Но это было раз, первый и последний раз в жизни. Да, Ваня, первый и последний раз!

Однажды ходил я по улицам, после одного особенно бешеного нападения на меня родителей, и, найдяшись до полной усталости, присел на скамейке в нашем маленьком городском скверике. Сидел я не долго, как вдруг заметил одну странную женскую фигуру, медленно прошедшую раза два мимо меня и в конце концов севшую на ту же скамейку, что и я. Это была высокая худая дама, вся в черном, в каком-то неопределенно-гладком пальто, напоминавшем скорее ночной капот, чем верхнее платье. Что в

особенности поразило меня, это ее черная вуаль, придававшая ей страшный и таинственный вид. Невозможно было разобрать ни выражения лица, ни ее намерений, когда она села на этой скамейке почти что рядом со мною.

Был пасмурный осенний день, клонившийся к вечеру, и уже начинало темнеть. Изредка перепархивал небольшой дождь, и на душе было томительно. Городишко наш и без того маленький и ничтожный, да в такую-то погоду едва ли и могло кому-нибудь взбрести в голову гулять. Поэтому скверик был совершенно пуст. Да, казалось, и город весь вымер, как в сказке. И никого кроме меня и этой страшной дамы в черном.

Она посидела всего несколько секунд и, по-видимому, не обращала на меня никакого внимания. Она держала голову прямо, не глядя на меня. И в таком виде встала и начала медленно удаляться. Я почувствовал, что автоматически встаю и двигаюсь за ней, хотя не отдавал себе ровно никакого отчета, куда, зачем и почему я сейчас иду.

Что ж ты думаешь? Дама шла куда-то на окраину города, — кажется, даже в пригород, в какое-то, помню, очень глухое и пустое место. Она не оглядывалась на меня и не подавала никаких знаков внимания, но я шел и шел, увлекаемый новыми, неизвестными мне чувствами.

Тут впервые я испытал влечение к женщине.

Собственно говоря, и сейчас я не знаю, было ли это влечением именно к женщине. Два чувства боролись тогда во мне и даже не боролись, а просто были вместе, были чем-то одним, чего нельзя было даже и расчленить; это — жуть и похоть одновременно. Идя за этой страшной женщиной неизвестно куда, я шел как бы через многоводную и глубокую реку, в бурю, в ненастье и в ночь, по жидким и трясучим доскам, сле-сле скрепленным и небрежно переброшенным с одного берега на другой. Идешь это между двумя безднами, и сам не знаешь, снится ли это или уж такая действительно безобразная и скучно-наглая, безглазая жизнь. Внизу журчит и шумит холодная и черная река, которой даже и не видно, а которую только слышно. Наверх же и взглянуть невозможно: того и смотри пошатнешься и упадешь в реку. Идешь-идешь по этому трясучему мостику; и уж начинает раздражать, когда же, наконец, прекратится это бессмысленное акробатство и ступишь на твердую землю. А жить так хочется! В этой отвратительной, холодной, наглой, бессмысленной реке — так хочется жить, так хочется жить! И кажется, что вот-вот уже и начинаешь жить, что трепещет в тебе все живое и внутреннее, и нашептывается что-то ласковое-ласковое, нежное-нежное... И ты, неведомая и страстная, примешь все — как ласковый подарок жизни. И ничего от меня не потребуешь, и ни в чем не упрекнешь. А прос-

нешься завтра с свободной душой, и ласково вспомнишь о наслаждении бытием, о мучительном наслаждении бытием. И ласково простишься со мной и посочувствуешь бедной человеческой жизни, и трогательно поблагодаришь за наивное, хотя и мимолетное, счастье. И тьма ненастной ночи не в силах победить в тебе мужского влечения, и река-то холодная, мрачная, и есть эта жуткая и сладкая тайна, в которой все наивно-наивно, мучительно-мучительно, все как-то без мысли, без рассуждения, все сладко и скучно, все трепетно и как-то приятно безнадежно...

Так шел я и шел за своей таинственной незнакомкой и, наконец, заметил, что она входит в небрежно-содержимый, грязный домишко. Я повинувался магнетически и — через несколько мгновений вошел в ту же дверь, что и она.

Удивлению моему не было и конца. Я вошел в низкую, грязную, дурно пахнущую комнату, освещенную тусклой керосиновой лампой. В особенности неприятно поразила меня вонь. Это был запах, кажется, какой-то материи, какого-то старого, заношенного сукна или войлока, на котором высох пот. За столом сидел хозяин, — маленький сухонький старичок, имевший вид старого заскорузлого чиновника, со сморщенным, желтым, скопческим лицом, и хозяйка, значительно моложе своего мужа, с кривым и неестественно сгорбленным носом и огромной родинкой на щеке, неприятно бросавшейся в глаза как болезненный и грубый нарост, как некая метка. На столе находился грязный, темно-тускло-красный самовар с вдавленным боком, несколько железных кружек и нечто вроде сухарницы с куском хлеба неопределенного цвета. Чай разливала дочка, тоже невероятно худая и сморщенная, хотя имевшая не больше 28-30 лет. Квартира производила впечатление бедного и запущенного жилья мелкого, неудачного чиновника.

Но где же моя таинственная дама в черном? Куда она делась? Она вошла как раз в ту самую дверь, что и я, и дверь — единственная, и комната, в которую она вошла, — единственная. И все же нельзя было увидеть ровно ничего, хотя бы отдаленно похожего на эту даму. Она была такая таинственная, такая страшная и загадочная, а здесь, в этом вонючем хлеве, было все так понятно, так элементарно ясно и понятно, так прозаично и духовно-бедно!

Да, это был один из тех необъяснимых случаев в моей жизни, которые случались со мной не раз и объяснения которым я не мог найти, несмотря ни на какие усилия мысли. Впрочем, все это так ясно, так понятно! И объяснять нечего!

Итак, я вошел в бедную, тошнотворную квартиру какого-то захудалого чиновника. Но тут я нашел нечто такое, что превзошло даже таинственное исчезновение моей дамы в черном. Войдя в эту комнату-квартиру, я вдруг понял, что я давным-давно здесь

бывал, что хозяин и хозяйка этой квартиры давным-давно хотят выдать за меня свою засидевшуюся дочь, что меня и здесь постоянно ругают за малый оклад жалованья и я отделяюсь молчанием и что — самое ужасное — на завтра, да, да, именно на завтра назначено мое бракосочетание с этим ужасным высохшим заморышем, их дочерью.

Я молча вошел в эту квартиру и сел в стороне, почти в углу.

«Ну, что же? — начал старик скрипучим голосом. — Мало того, что вы своей невесте ничего не сделали к свадьбе и нас забыли, стариков, вы не хотите ничего сделать и себе к свадьбе? Посмотрите на себя: что это за костюм, неужели вы думаете и на свадьбе быть в этом же истасканном мешке? Что же, мы, что ли, должны вас одевать? Довольно и так, что вы объедаете нас и еще ни разу не помогли за все ваше знакомство с Лидой».

И многое говорилось в этом роде. А я все молчал и молчал, считая, что молчанием только и можно допечь этих старых отвратительных скопцов.

Ты скажешь, милый Ваня, что я — дурак, что я — остолоп, что я — бесхарактерный человек, что я — дрянь, рохля, что я — пентюх. Увы, милый Ванечка, ты будешь прав, ты будешь тысячу раз прав! Да, я — ничтожество. Окрутили меня свадьбой, бросил я родителей, поселился в этой вонючей конуре, где мне с женой отгородили выцветшими ширмами угол. И началась пытка «семейной» жизни, в которой все было так обычно, так неново, — только вместо одной пары вечно бранящихся родителей появилась другая пара столь же неутомимых в своей язвительной желчи, да, впрочем, появилось еще одно существо, не бывшее раньше... Да стоит ли и говорить о нем?

Стыдно сказать, милый Ваня, но эта самая Лидия, которая по неизвестной причине сделалась моей невестой и по неизвестной и еще более странной причине сделалась моей женой, была настолько тупым и ограниченным существом, настолько бессмысленным и жалким созданием, что описать тебе этого я просто не в силах! Помню эту комическую и жуткую первую брачную ночь, — и как все это жалко и бездарно, как это ничтожно и безвкусно! После бракосочетания и нудного, никчемного, бедного чаепития, долженствовавшего символизировать семейное торжество, нас оставили вдвоем в этом вонючем углу, в котором и без того дышать нечем, а тут еще обвесили этот угол грязными тряпками, чтобы скрыть то, что и не нуждалось ни в каком укрывании. Лидия легла на постель, раздевшись до нижней рубашки, а я... я с трудом сдерживал отвращение, шедшее из самой глубины души, стоявшее каким-то тошнотворным ощущением в желудке и вызывавшее легкую тeneватость окружающих предметов. К этому скрюченному, засохшему телу, к этому курносому морщинистому

лицу, к этой пустой и отсутствующей груди я не мог, понимаешь ли, не мог прикоснуться! Я начал ходить около кровати, хотя в этом углу нельзя было и повернуться, ходил-ходил, не зная, что предпринять, покамест не услышал ворчливое замечание старухи, что мое хождение по комнате мешает им спать, старикам. После этого я нерешительно сел, не раздеваясь, на кровать, и даже не мог себя заставить хотя бы посмотреть на лежавшую рядом невесту. Сколько я так сидел, не знаю. Вероятно, очень долго, потому что уже послышалось храпение моей невесты, спавшей с широко раскрытым ртом и сосредоточенно-тупым выражением лица. Я, все еще не раздеваясь, прилег на диванчик и так продремал до утра.

Это, Ваня, называется у меня брачная ночь! И так, пока не кончилась наша с нею «жизнь», я и не соединился с нею супружеским ложем. Не могу, милый Ваня, не могу!

Ни одного доброго или ласкового взгляда с моей стороны или с ее стороны! Ни одного нежного и даже просто доброжелательного разговора! О родителях говорить было нечего.

Вероятно, так бы оно шло и до сих пор, сцены и ругань новых родителей продолжались бы и до настоящего дня, если бы не случилось в моей жизни нечто такое, чего я уже никогда не ожидал от самого себя и что сразу вырвало меня из пут и родителей, старых и новых, и своей бездарной жены и никчемной службы в почтовом ведомстве.

3.

— Я тебе ничего еще не сказал о своих театральных делах, о театре, которому столько времени отдавали мы с тобою в гимназии. Роковую роль сыграл театр в моей жизни, хотя — почему роковую? Все это так и надо, так и надо! Сейчас расскажу тебе тайну! Никому еще не рассказывал ее за все время. А тебе расскажу. Но давай выпьем!

Петя велел принести еще графинчик, хотя мне и показалось, что у него нет никаких денег и что он пользуется тем, что встретил старого приятеля. Выпивши еще большую порцию, он несколько не захмелел, а только еще больше насупил и стал вести себя так, будто бы действительно предстояло ему поведать что-то весьма значительное, что-то очень таинственное и необычное.

— Да, Ваня, не мне рассказывать тебе о том, что такое театр и какое значение имел он в нашей жизни. Ты сам, конечно, помнишь, сколько светлых минут и сколько счастья доставил нам с тобою театр в жизни. Бывало, бросали мы с тобою уроки, бросали родных, голодали, чтобы сберечь на билет в театр, и — ходили

на спектакли чуть ли не ежедневно, ходили с увлечением, с азартом, отдавая театру последние досуги и последние свободные минутки. Да и что еще было в нашем захолустном городке замечательного и интересного! Театр спасал нас от мещанства, от засасывающей тины провинциального болота. Театр давал нам мировые горизонты, и душа наша трепетала в унисон с Софоклом, Шекспиром, Шиллером и Гете. Откуда бы нам, мелким людишкам медвежьего угла знать о страстях тонкого ума Гамлета, о пластической душе непреклонной Антигоны, о горячих итальянских темпераментах, о глубине, о зорких раздутьях немецкого гения, о француззах с мистикой повседневной интимной жизни! Все это нам дал театр. Перед нашими глазами вставала древняя скульптурная Греция, великолепие и торжественное величие римской империи, вдохновенная красота и духовные идеалы рыцарства. Мы видели с тобою королей, императоров, царей всех веков и народов, их величие, их падение, их власть, их бессилие. Мы изнутри чувствовали бедность, болезнь, жалкое и смиренное существование, мы созерцали тайные пружины любви, власти и могущества, богатства, ненависти и злобы. От нас не могла укрыться тоска гения, принимающего смерть от дикой толпы, которая его не понимает, — восторг и упоение любви, нашедшей свое осуществление и свою благословенную взаимность среди грубой пошлости обыденной жизни, — страдания и подвиги героя, захотевшего положить свою жизнь за свободу и счастье людей, — мелкая и напряженная злоба человеческой жизни, построенной на эгоизме, лжи, клевете, интригах и мести... Да разве все перечислить! И все это нам дал с тобою театр!

А помнишь, милый Ваня, наше увлечение артистическим миром? Помнишь, с каким трепетом ждали мы бенефиса того или другого исполнителя, с каким нетерпением жаждали приезда той или другой знаменитости, чтобы приобщиться к этому чудесному и вожделенному миру гениального искусства! Мы обсуждали с тобою, что вот Муратов играет Гамлета, главным образом, как оскорбленного сына, страдающего за честь своей матери, а вот Каширин видит в нем государственного мужа, болеющего о судьбах трона, Майский же подчеркивает в нем философа, мыслителя, углубленного аналитика, а вот здесь Гамлет — истерик, невротик и в конце концов психопат и даже умалишенный, а вот там Гамлет — и сын, и принц, и философ, и психопат... Какая завораживающая и волшебная картина умозрения, созерцания, понимания, проникновения и фантазии! И все это мы с тобой знали, Ваня, знали 15-16-летними подростками, все это мы отведали, вкусили, ко всему этому приобщились. И сердца наши трепетали вместе с мировым пульсом всеобщее-человеческого гения, талантов, артистического духа и актерского творчества.

А как любили мы с тобой эту бездомную и бродячую, эту гениальную и бесшабашную жизнь актерской среды! Актер — всегда гуляка праздный, всегда бездомен, всегда переходит с места на место. Сегодня он на сезоне в одном городе, а завтра кончился сезон или прогорел антрепренер, и — он перелетел в другой город, уже репетирует с новыми товарищами, для новой публики, новые пьесы. Душа актера — нецентрированная душа; она вечно меняет свою субстанцию, вечно неузнаваема; она — цепь бесконечных перевоплощений. И это — так заманчиво, так увлекательно! Для актера не существуют морали, не существуют общественных обычаев, ему чужд устойчивый быт. Он вечно ищет и создает, неутомимо возносится и парит. Он — сама фантазия, само непостоянство, сама неизменно клокочущая жизнь. Правда, отсюда же его глубинная бесшабашность, беспринципность и анархизм; отсюда его аморальная беспечность, неунывающий оптимизм и всегда готовая проявиться натура энтузиаста. Но мы знаем с тобой, как артисту позволено то, что не позволено другому. Да, шалит и резвится актер, но не как вы, мелкая и бездарная чернь, живущая интересами кошелька и желудка! Нарушает мораль и грешит против ваших законов, но — не как вы, мелкая, бездарная дрянь и визгливая, сомнящая глупость!

А помнишь, Ваня, наш маленький, милый театрик, это священное место наших юных фантазий, нашей чистой молодой молитвы, этих сладких и туманных мечтаний, которыми всегда богата талантливая молодость? Он был расположен на площади около городского сада, — старинное, маленькое, деревянное, но изящное здание нашего театра. Кроме партера и амфитеатра он имел два яруса лож, бенуар и бель-этаж и над ними так называемая галерея, место не для низших сословий (которые никогда в театр не ходили), но, по-моему, для самого высокого общества, отличавшегося от высшего света только отсутствием денег и невозможностью заплатить за более дорогой билет. Этот театр воистину был для нас с тобой священным местом. Мы знали в нем каждое место, знали, где и какой номер места и ряд, откуда что видно и слышно, знали всех швейцаров, бритых, величественных, одетых в старинные торжественные мундиры, знали все закоулки кулисов, где всегда с тобой подсматривали и подслушивали выступающих артистов, и сезонных и в особенности приезжих. Только родная школа, гимназия да этот милый, уютный театрик и есть то, что осталось в моей душе милого, родного, интимного — от всей моей жизни, от всех бесконечных впечатлений жизни!

Вот об этом-то своем и твоём святилище, об этой чудной храмине красоты и искусства я и должен тебе рассказать. Не рассказывать, а исповедаться!

Нечего и говорить о том, что как только кончилась для меня гимназия, так одновременно кончился и театр! Да, Ваня, кончилась чудная музыка искусства, кончилась глубокая школа ума и жизни! Почему кончилась, зачем кончилась? Не знаю, Ваня, сам не знаю! И не спрашивай, не знаю ничего. Знаю только, что с почтовым ведомством театр не совместим. Конечно, это все идиотизм, глупости, капризы... Но... Ничего не поделаешь! Кого в этом винить, не знаю. Вероятно, меня самого надо винить, кого же больше? Однако, что же пользы в том, что я виноват? Ну, пусть я виноват, а ведь от этого не легче.

Кончивши гимназию и определившись почтовым чиновником, я перестал ходить в театр. Проверишь или нет, но — как отрезало! Вспоминал театр как какую-то далекую несбыточную мечту. Вспоминал его как виденный много лет тому назад сказочный сон. Вспоминаешь-вспоминаешь такой сон, и кажется, что вот-вот и вспомнишь его, и — никак не вспоминается, никак не ухватишься ни за какую мысль, чтобы его восстановить в памяти. Так и я — не мог и не мог вспомнить, что такое театр и что это за чудные откровения он посылал; и сам удивлялся, как эта память о столь недавнем счастье так бездейственна, так бессильна и беспомощна!

Был я с тех пор всего два раза в театре. И оба раза были таковы, что больше уже не хватало смелости идти еще раз.

Один раз был уже даже не спектакль, а концерт, и дирижировал известный С***, совершавший турне по ряду городов и захвативший в наш городишко. При первом анонсе об его прибытии сердце, было, затрепетало у меня прежней юной радостью, и я быстро купил себе билет, боясь, что впоследствии будет трудно попасть на концерт. Правда, радость эта была мимолетна. Купивши билет, я тут же почувствовал у себя на душе будни, и довольно равнодушно ждал дня концерта. Концерт начинался с «Неоконченной» симфонии Шуберта. Первая тема симфонии, даваемая на виолончелях, произвела на меня весьма дурное впечатление. Раньше мне так нравилось это матовое, спокойное величие, изображаемое здесь властно и задумчиво спускающимся ходом виолончельной мелодии. Кроме того, я заметил, что дирижер управляет не только своей палочкой, но и тем хвостом, который у него вдруг почему-то вырос из-под фрака и который двигался туда и сюда вслед за движением симфонии. Мне это показалось чем-то обидным, неудобным и даже некрасивым, и я преспокойно встал с своего места, взобрался на дирижерское место, оттащил от пульта злополучного дирижера за хвост и уверенно занял его место. Властно постучавши о пульт палочкой в знак начала симфонии и просчитавши один такт, я махнул рукой, и — симфония снова началась под моим управлением. Однако, — что за чертовщина! Эти проклятые виолончели, с которых началась симфония,

завыли как выгнанные и побитые псы, и я в гневе прекратил эту отвратительную музыку, раздраженно застучавши по пюпитру в знак того, что надо симфонию опять повторить сначала! Просчитавши один такт вторично, я опять дал знак палочкой, и симфония началась снова, и опять раздались эти издевательские, собачьи голоса, которые вызывали во мне и смех, и ужас, и отвращение. Представь себе, Ваня, я начинал симфонию по крайней мере раз пять, и все то же дурацкое завывание. В конце концов я бросил это скучное занятие и вернулся на свое место в партере. Стоявший тут же дирижер тотчас же приступил к своему дирижированию, и симфония, а затем и весь концерт были закончены благополучно. Правда, одно мое достижение было несомненно: у дирижера в течение всего концерта ни разу не появлялось никакого хвоста.

Другой раз — также дело касалось одной знаменитости. В наш город презжал известный бас П., который должен был выступать в «Борисе Годунове». П. прекрасно провел свою партию, и последняя сцена заставила весь театр затрепетать от ужаса и от восторга. П. была устроена редкая овация и были сделаны какие-то ценные подношения. Помнишь, милый Ваня, как мы любили с тобой всякие бенефисы, всякие чествования, юбилеи, чтение адресов и приветствий, подношения цветов, венков, драгоценностей... Юное счастье охватывало наши сердца, когда происходило, например, празднование 25-летнего юбилея Муратова. Эти горячие речи и адреса, эти взволнованные, полные самой настоящей и непритворной благодарности приветствия, этот сплошной гимн и славословие великому гению искусства, так счастливо воплотившемуся в Муратове, — наполняли тогда весь театр одним восторгом, одним пламенем сочувствия гению, одним благоговением к творческому подвигу актерской жизни. И как трогателен, как наивен зрительный зал в эти часы юбилейного праздника! Какая детская радость и счастье написаны у всех на лице, когда при всеобщей овации и несмолкаемых аплодисментах артисту подносятся огромные букеты цветов или дарят коллективно приобретенные дароценности.

Такие овации и такой-то прием наша публика устроила П. Я был тоже несколько взволнован, но о прежнем юном счастье поклонника искусства и его служителей не было и помину. Все же я был активен настолько, чтобы разузнать, где остановился П., и попытаться увидеть его в домашней обстановке. Помнишь, как часто мы посещали с тобой актеров или писали им восторженные письма, стараясь вместе с ними жить стихией вольного искусства?

Да, движимый чем-то вроде этого (но уж далеко не этим — было ясно), я постучался в номер гостиницы, где остановился П. На стук никто не ответил. Я тихонько надавил на дверь, и она

бесшумно открылась передо мной. Боже мой, что это такое? Вся комната была наполнена какими-то извивающимися гадами, кишела какой-то копошащейся дрянью, какими-то неуловимо-гибкими спрутами, один вид которых внушал ужас и омерзение.

Думал, что все это какой-то сон, я сделал шаг вперед и протер глаза, как будто бы стараясь проснуться от неприятного сна. Но то, что случилось дальше, было еще хуже. Я почувствовал, что мои руки и ноги начинают удлиняться и утончаться, делаясь гибкими и извивающимися, что голова моя превращается в какую-то круглую морду, а туловище становится огромным, толстым, овальным, так что весь я стал превращаться в холодного и гладкого спрута, несущего свое мягкое, холодное и ослизлое тело на бесконечном количестве извивающихся ног. Все мое тело покрылось огромными черными глазами, и я сразу стал видеть все со всех сторон. Мои уши наполнились душераздирающими голосами, в которых нельзя разобрать, бьют ли здесь кого-нибудь и раздается дикий вопль истязаемого, музыка ли это — какой-то чудовищной, потрясающей симфонии, похожей больше на смерч или ураган, чем на симфонию, — гром ли проваливающегося хребта горной цепи, где погибал, казалось, не горный хребет и не материк, а весь мир целиком.

Но где же П., где это чудо искусства и театра? Боже мой, неужели это он? В кресле перед маленьким столиком сидел уродливый, скрюченный старик с бородой даже уже не белой, а желтой, жевавший какую-то жвачку удивительно долго, непрестанно двигая своими бессильными челюстями, методически и медленно, разжевывая какую-то снедь, как корова или вообще жвачное животное. Глаза у него были закрыты, и он весь отдался процессу жевания. Окруженный этим зверьем, этой ужасной животной пакостью, он невозмутимо продолжал двигать своими челюстями, и на его лице, превратившемся уже в ряд складок куска шершавой материи, я не мог прочесть ни одной мысли, ни одной тени хоть какого-нибудь душевного движения.

С силою рванувшись с места, я в ужасе выбежал из этого номера, из этой гостиницы, и после уже ни разу не пошел в театр, ни тем более к какому-нибудь актеру.

Что это такое, Ваня? Но — не трудись объяснять. Как-то и без слов понятно, что это такое, да и не подберешь сюда подходящих слов. Нет таких слов!

А тем не менее — рушилось последнее счастье и утешение жизни. Театр выпал у меня из души, и с ним пропало все молодое, все свежее, все наивное и умное, все высокое, интимное и торжественное! Почтовое ведомство водворилось во мне, в душе, в уме, в сердце, — и, казалось, во всем мире нет ничего, кроме этого почтового ведомства.

Ну, тут бы и кончиться всей этой легенде о театре. Однако случилось не так. Чудная, светлая, прекрасная легенда о театре закончилась так, что вот только тебе первому за много лет и захотелось мне ее рассказать.

4.

Однажды я видел сон.

Трудно назвать это сном. Сон и есть сон, больше ничего. У меня же это было каким-то тихим умопомешательством (или я не знаю чем) и — на всю жизнь, на всю жизнь!

Где-то, на неизвестном месте, в непонятной обстановке, но на фоне обширного пространства, — не то городской площади (только не было видно ни домов, ни людей), не то поля или какой-то равнины, мне почудился некий предмет, который издали был похож на огромную пушку. Я находился вдали от него и не мог в подробностях разобрать его очертаний. Подойдя ближе, я увидел... Боже мой, что это такое? Неужели это то самое, что мне показалось, неужели я не ошибся?

Да, я не ошибся. Передо мною оказался исполинских размеров мужской половой член в напряженно-трепещущей форме, и только не было видно, кому он принадлежит и есть ли такое существо, кому он реально принадлежит. Этот член был несколько аршин длиной, а в ширину его могло бы охватить только несколько человек. Он торчал под углом примерно в 45°, над землей, наподобие какого-то уродливого облезлого дерева.

Вдруг среди окружающей пустоты появились какие-то люди, — да, впрочем, в самых обыкновенных нарядах, в пиджаках и куртках и даже кое-кто во фраках, — самые обыкновенные люди, каких встречаешь на улицах любого города сотнями и тысячами. И стало этих людей набираться много-много. С каждым мгновением толпа людей становилась все больше и больше, наполняя собою пространство кругом этого члена; а откуда они появлялись, не могу себе и представить. Эта толпа людей стала тысячной, стотысячной, миллионной, миллиардной; она заполнила все пространство до горизонта, наполнила всю землю, наполнила весь мир...

И вот поднялся на что-то высокое один человек из этой толпы, — казалось мне, самый серый, самый невзрачный, самый обыкновенный человек, немного сгорбленный и сутулый, с высоко поднятыми плечами, как бы от холода. На нем была черная полусношенная рубашка-косоворотка и полинялая грязно-серая кепка, надвинутая на лоб. На этом бесцветном плоском лице я не мог

прочитать ни одной идеи, ни одного замысла. Мне бросилась в глаза тупость этого стеклянного взгляда и выпятившиеся вперед губы, которые свидетельствовали о бессмысленной и наивной сосредоточенности на чем-то пустом и ничемном. Бывает у людей такая баранья сосредоточенность на пустом предмете, когда видишь сразу и всю мучительную напряженность этого лба и этих глаз и в то же время полную бессмысленность и пустоту, полную бессодержательность того, из-за чего возникло это сосредоточение.

Поднялся этот мещанин и, казалось, как-то неожиданно для самого себя вдруг заговорил. Было видно, что он никогда не говорил на собраниях и что ему трудно было связать несколько слов в цельную фразу.

— А что ежели того... Так что, значит, этого... Ну, вот, как говорится, упасть это... То есть, оно, конечно, не упасть, а того, ну, как это? Значит, ежели того... поклониться, что ли... Да, да, поклониться ежели... Вот этому самому члену поклониться... Да не то, что так просто, а вот ежели эдак, как говорится, всем, всему, дескать, миру. Вот всем миром взять, да и поклониться... А? Что, ежели, братцы, того... Взять, да и ахнуть...

В ответ на эти слова начались невероятная суматоха и смятение среди миллиардной толпы. Все забегало, засуетилось, заерзало. Появились вдруг откуда-то жертвенники, алтари, и появилась их такая масса, что, кажется, каждый из толпы мог иметь свой алтарь для совершения службы члену. Все начали готовиться к богослужению, суетиться вокруг жертвенников и алтарей, и вся необозримая толпа людей разделилась на отдельные группы, готовившиеся начать всемирное поклонение новоявленному божеству. Казалось, что вся эта необозримая толпа народа, все это вселенское человечество только и ждало знака серого и невежественного мещанина в кепке, надвинутой почти на самый нос.

И что же? В ту самую минуту, когда все было готово и по единому знаку должно было начаться всемирное поклонение новоявленному божеству, началось извержение семени из недр трепетавшего члена, и это свежее-пахнущее мужское семя стало изливаться все больше и больше, стало превращаться в целый поток, ручей, в целую реку, и эта река стала расширяться и углубляться, и в ней стали утопать люди и их жертвенники и алтари. Началось бегство и растекание людей во все стороны, а река семени стала превращаться в озера, в моря, в океаны и поглощать в себе всех людей, всю землю. И весь мир потонул в этом всемирном потоке семени.

Я смотрел и ждал, что будет дальше.

Новый вселенский океан поднялся до небес и затопил все самые высокие горы. Но это продолжалось, кажется, недолго. Ско-

ро эта густая влага стала спадать, и показались там и сям отдельные горные вершины и горные хребты. Было заметно, как постепенно и довольно быстро спадает влага и начинает появляться суша. Земля с жадностью впитывала в себя семя, и нетрудно было заметить, как происходило оплодотворение земли этим могучим и животворным семенем. Земля шипела, и бурлила, и клочкотала целой бездной зародышей, закопошившихся в ней благодаря воздействию семени. Вся поверхность земли, все дно морей и океанов, вся атмосфера, напоенная испарениями семени, — вдруг наполнились миллиардами мельчайших живых существ, быстро появившихся из животворной пены и быстро получавших ту или иную форму и размер.

Что это за существа? Люди? Дети? Да, это было что-то очень похожее на детей, но только не детей... Дети не кувыркаются так бесшабашно, как эти существа, не прыгают так высоко, не катаются, не дерутся, не хохочут так безобразно. Боже мой, да ведь это все обезьяны, малые, большие, крохотные и огромные — обезьяны, обезьяны, обезьяны... И там, и здесь, и везде, и везде — одни обезьяны, одни обезьяны. Вся земля наполнена одними обезьянами, весь мир состоит из одних обезьян, вся вселенная сверху донизу кишит обезьянами, обезьянами, обезьянами... Где же те люди, которые только что были перед этим? Неужели все они исчезли? И откуда эта уйма и бездна обезьяньей действительности?

И чем они заняты? Они все время неимоверно кривляются, хохочут, передразнивают друг друга, кувыркаются, бегают, прыгают... Неужели нет ничего и, главное, никого в этом мире, кроме обезьяньего гоготания и обезьяньих ужимок?

Позвольте! Вот они разделились по рангам, по чинам... У них целая иерархия. Вот внизу наиболее простые и корявые из них; смотрите — вот эти шершавые идиотские морды и мясистые отвислые губы, эта дурацкая и хитрая улыбка и коварный рот, готовый издать хохот, похожий на ржание. А вон повыше — живут на горах, морды почти без волос, и зубы не торчат так отвратительно, лбы не так узки и нос почти человеческий, не столь откровенно собачий. Эти более высокие существа все время гримасничают, ухмыляются, стрекочут, но не прыгают и не кувыркаются так безобразно, как нижние... Они — специалисты по сарказму, иронии, цинизму, и они — философы и политики издевательства, надругательства и злорадства. А вот и третьи — живущие в самих небесах, аристократы обезьяньего духа, архангелы и ангелы мирового цинизма и злорадства, боги вселенского гоготания бытия над самим собою.

И обезьяны нижней сферы гогочут над неодоушевленной природой, средняя сфера обезьян гогочет над нижней, обезьяны

архангелы и ангелы гогочут над средней сферой, боги гогочут над архангелами и ангелами. И над всей обезьяньей иерархией, небесной и земной, раздаётся хохот и гоготание единого и истинного правителя всего обезьяньего бытия, универсально-мирового орангутанга, хохочущего над всеми сферами бытия, небесного, земного и преисподнего...

5.

— И многое другое я еще видел во сне, многое, очень многое из того, что творилось среди обезьян... Но многое я забыл тогда же, когда проснулся; многое забылось в течение лет. А то, что еще помню сейчас, не стоит и передавать, до того это отвратительно и неприлично...

Скажу только, то, что лег я перед этим сном одним человеком, а встал совершенно другим...

Правда, и раньше меня все как-то переставало интересоваться. Но то, что я стал ощущать на другой день после этого сна и ощущаю до настоящего дня, превзошло все, бывшее со мной когда-нибудь.

Я перестал видеть назначение предметов. Подходя к какой-нибудь вещи, я осязал ее внешнее тело, но переставал понимать, для чего это тело существует. Я потерял душу вещей. Также, встречая людей, чужих и даже хорошо знакомых, я видел в них какие-то мертвые тела, какие-то пустые механизмы, и с трудом заставлял себя что-нибудь говорить с ними и верить в их восприимчивость, верить в то, что они могут мне что-то ответить. Беря стул, чтобы сесть, беря карандаш, чтобы писать, надевая шапку, чтобы выйти на улицу, я все время удивлялся, что стул есть стул, что карандаш есть карандаш и т. д. Назначение вещи, ее душа, казалось мне, так внешне и случайно связаны с телом этой вещи, что вот-вот, казалось, эта душа улетит, и уже нельзя будет назвать стул стулом, и нельзя будет пользоваться карандашом как карандашом. И уже улетела душа вещей от самих вещей, и оставалось одно внешнее, безымянное, тупое и темное тело их... И весь мир как бы потухал, становился мнимым, терял очертания и краски. И некуда было деться от этой тьмы и безымянной, бесконечной массы тел, телесной массы — неизвестно чего.

Я и без того почти никогда не смеялся. Но после этого сна я почувствовал, что потерял или теряю способность даже улыбаться. Ты помнишь древнегреческое предание о пещере Трофония, которая содержала в себе такие вещи, что однажды заглянувший туда уже на всю жизнь терял способность смеяться... Да, я поте-

рял самую способность смеяться и улыбаться, и потерял ее сразу же, на другой же день после описанного мною сна...

Так толкался я среди обездушенных вещей, по крайней мере, несколько недель. О виденном сне я не вспоминал ни разу, но было ясно, что после него в душе осталась какая-то идея, которую во что бы то ни стало надо было осуществить; и я не знал, совершенно не знал, что это была за идея.

Подходя к вещам и людям, пользуясь ими или общаясь с ними, я все время очень наглядно видел, что все это употребление, все это общение — не то, не то и не то... Эти пустые, мертвые вещи, эти погасшие и как бы мумифицированные люди — что я мог от них получить и что я мог бы им дать? Даже не было у меня и тоски или скуки... Ничего не было на душе, просто ничего... Ты вот, вижу, еще не знаешь, как это получается так, что на душе ровно ничего нет, — ну, просто ничего, абсолютно ничего...

И какой-то — не голос, нет (какие там еще голоса?!), а просто голый рассудок еще продолжал говорить и недоумевать по поводу моего осязания бытия. Да, вот хорошее слово — осязание! Я перестал видеть и слышать вещи, перестал даже их мыслить. Я умел только их осязать... И среди этого бытия, осязательного бытия, — слабый и нерешительный голос рассудка еще шептал, что есть-де какие-то идеи, вернее, какая-то одна и единственная идея, которую я во что бы то ни стало должен осуществить, — несмотря на то, что тупая и темная стихия осязания поглотила все идеи, какие только могли быть во мне.

Скоро (очень скоро — дня через два-три после этого сна) я стал очень чувствительно замечать у себя, действительно, какую-то важную и глубокую идею... Уже не рассудок, а что-то внутреннее стало требовать осуществления этой идеи. Но что же это за идея, в чем она заключается? Это было совершенно неизвестно!

Скоро осуществление этой идеи стало физической потребностью. Уже не внутреннее нечто толкало на эту идею, а тело, — да, да, это самое физическое тело, которое всеми считается чем-то внешним, стало требовать во что бы то ни стало осуществить эту идею. Я чувствовал, как грудь, горло и даже живот требуют, пожелательно приказывают осуществить эту идею. Я чувствовал ее в руках и ногах, я чувствовал ее в позвоночном хребте... Да, да, в особенности в спинном мозгу... Скоро стало прямо жить невыносимо, но — я все еще не знал и даже не догадывался, какого рода идея могла бы тут проявиться и какую идею я хотел в действительности осуществить...

Я ходил как беременная женщина, которой осталось до родов несколько часов или десятков минут, и она потрясаема надвигающейся катастрофой и революцией ее организма, откуда должно появиться что-то абсолютно новое и небывалое, но она знает

это не чем иным, как именно своим телом, но она не знает, кто и что появится на свет в результате ее родов.

Так и я ходил среди обездушенного мира, беременный какой-то большой идеей, которой оплодотворил меня мой роковой сон, но я не мог догадаться, что это была за идея, и не знал, как произойдет ее рождение.

Наконец, через несколько недель после сна пришла и эта желанная идея. Я ухватился за нее как утопающий, и уже не могло быть никаких сомнений в том, что она должна быть осуществлена. Повторяю, если ты только можешь это понять, ее осуществление было для меня физической потребностью.

Однажды ночью я был разбужен набатом в нашей маленькой церковке, находившейся от нас через несколько домов. Выйдя на улицу, я заметил небольшое зарево пожара. Горел недалеко от нас какой-то овин, который очень скоро сгорел, и населению удалось вовремя локализовать пожар, так что не пострадала ни одна из соседних построек и весь инцидент был исчерпан в какие-нибудь полчаса. Но...

Но как только я вышел на улицу, как только посмотрел на зарево пожара, я сразу понял все... Я сразу осознал свою идею, осознал сразу во всех ее подробностях, осознал, как, где и когда я осуществляю эту идею, понял, что в этом — физическая необходимость моего существования, что не может быть никакой и речи об ее отстранении... Да, это стало слишком ясно и понятно! И не могло быть ни малейших сомнений, ни тени какого-нибудь колебания.

Эта идея была такова: я должен был сжечь наш милый, наш дорогой театр, наше интимное место молодых вдохновений и юного счастья красоты и мудрости! Да, я должен был сжечь... Молчи, молчи, Ванюша! Ты сейчас выкатил на меня глаза и решил что-то говорить. Не говори, не говори ничего! Все я знаю, что можешь и хочешь сказать... Да что ж тут и можно сказать, кроме того, что это — сумасшествие, сумасбродная идея, что это — преступление и т. д. и т. д. Эх, наивный ты человек! Вижу по глазам твоим, что ничего ты не понимаешь... Да и не можешь понять... Тут, брат, надо другое... Ну, словом, ты не понимай, а я иначе не мог.

Ты подумаешь, что я почему-то вдруг возненавидел наш театр, что эта идея возникла в результате каких-то сознательных рассуждений?.. Вот и опять ошибся. Да разве могу я когда-нибудь ненавидеть наш театр, наше единственное утешение с тобою в жизни? Разве можно забыть эти юные мечты, эти высокие идеалы, эти потрясающие чувства, пережитые нами со сцены, эту глубокую и замечательную школу жизни, полученную нами там, в этом старинном и изящном деревянном театре, который видел в своих стенах столько мысли, столько ума, столько красоты?.. Разве

можно это забыть и разве можно с этим бороться, это ненавидеть, это уничтожать?

Совсем наоборот... Я так любил наш театр... Ваня, и сейчас вот слезы стоят в горле... И все же... Все же я ничего не мог сделать! Я должен — понимаешь ли? — должен был сжечь театр...

Но этого мало. Идея о сожжении театра, сверкнувшая во мне в ту ночь, как бы сразу осветила и все подробности этого предприятия. Сжечь я должен был театр не вообще, а вместе со всем народом, который там мог быть. Надо было обязательно выбрать день с каким-нибудь большим бенефисом или вообще с парадным спектаклем. Все-таки в наш театр, при максимальном наполнении и переполнении, помещалось до полутора тысяч человек... Кроме того... Кроме того, надо было заставить пойти на этот спектакль и жену... Заодно уж...

Осознавши свою идею, я стал работать над ее осуществлением. Прежде всего, надо было выбрать максимально многомодный спектакль... Но это еще не так трудно. Труднее был второй вопрос — вывести жену на спектакль. Это, действительно, было трудно. Ведь я же никогда, буквально ни разу не водил жену в театр, да и сам был всего два раза... С женой я к тому же почти совсем не разговаривал. А тут надо было — что же? Приглашать пойти в театр? Почему? Зачем? Как это вдруг в театр? Наконец, третью трудность я уж и не считал за трудность. Это — самый поджог. Тут я всецело надеялся на свое прекрасное знание всех мельчайших закоулков театрального здания, и поджечь этот карточный домик не стоило никаких трудов...

Спектакля долго не пришлось ждать. В первый же большой бенефис я назначил осуществление своей идеи, и еще задолго начал подготавливать жену к этому вечеру. Тут были наибольшие трудности.

Однажды, вернувшись со службы, я сделал очень добродушный вид, сел за обед вместе с женой (чего раньше почти не бывало) и произнес с беззаботным выражением лица:

«Лидия, почему ты все время сидишь дома? Отчего ты не пойдешь куда в театр, на концерт, в цирк?..»

Лидия была, конечно, премного удивлена. Она в жеманных выражениях стала слабо оправдываться, ссылаясь на занятость по хозяйству. Но первая победа была мною одержана: самая идея пойти в театр ей понравилась. А это было самое важное. У стариков появилось ко мне даже какое-то нежное чувство. Они сразу стали меньше говорить и меньше меня упрекать; и я замечал, что они гораздо больше шепчутся между собою, чем говорят, что-нибудь вслух.

Лидия также как-то вдруг стала мягче и нежнее, хотя я и не отвечал на эти внезапно появившиеся нежные взгляды и какую-то

едва заметную плавность телодвижений. Я ведь не привык ни к каким нежностям, да и надо было во что бы то ни стало довести до конца свою идею... А какие же там еще нежности?! Дня через два после моего первого приглашения пойти в театр, вечером, перед сном, разыгралась было даже вполне сентиментальная сцена, но она, конечно, не могла меня тронуть. Было поздно, слишком поздно... Вечером, когда оба мы раздевались в своем углу и были готовы лечь — жена на постель, а я на свой короткий, хватавший мне только до колен, диванчик, — вдруг она подошла ко мне, обвила мою шею руками и навзрыд заплакала, заплакала долгими, горячими слезами и долго не отпускала меня, не будучи в состоянии сказать ни одного раздельного слова. Старики почему-то вдруг проявили необычный такт: они не только не вмешались в эту сцену, но даже и с своих мест, за стенками нашей ширмы они не проронили ни одного слова вслух и ограничились только едва слышным шепотом между собою.

Я обнял Лидию и тоже не говорил ничего. Она продолжала рыдать в моих объятиях.

Наконец, когда рыдания кончились, она тихо сказала мне:

«Петр Алексеевич, прости меня. Я во всем виновата. Прости меня. Прости...»

И рыдания опять возобновились с прежней силой.

Я не знал, что ей ответить. Эта сцена, эти объятия и эти слезы были впервые за все время... Когда она совсем успокоилась, я бережно уложил ее в постель и сказал, чтобы она следила за собой, не лишала себя удовольствий и что мы с ней на днях пойдем вместе в театр.

На другой день, придя с своей почты, я застал сцену, совсем не похожую на то, что происходило вчера. Дело в том, что еще вчера я сообщил жене, что намечавшееся мне повышение жалованья с 15 до 20 руб. в месяц провалилось и ближайшее полугодие я опять буду сидеть на 15 рублях. Лидия, занятая нежными чувствами ко мне, забыла об этом сообщить старикам; сцена же, разыгравшаяся вечером, и вовсе отвлекла ее от мыслей о жалованье. На другой же день, когда я был еще на почте, она сказала, наконец, старикам об этом, и те подняли скандал, нещадно браня меня и всячески обзывая ее — за что, неизвестно. Чем я был виноват, что мне не прибавляют жалованья и чем в особенности была виновата Лидия? Когда я пришел домой, я застал скандал в самом разгаре, причем плакали все трое, не исключая и старика. Кто из них и кого в чем обвинял, я не знаю. Но когда пришел я, они все обрушились на меня. Я и плохой сын, я и негодный муж, я изверг, я эксплуататор, я дармоед, даже хам и живодер...

Не стоит, Ванюша, передавать всего. Старики озлобились не на шутку, но Лидия к вечеру отошла и стала помалкивать. А на

другой день было видно, что ей все-таки очень хотелось пойти в театр. И я ей обещал, что на будущей неделе я поведу ее на парадный спектакль, где будет вся интеллигенция нашего города...

6.

Подошел день избранного мною спектакля.

Нельзя было откладывать все на самый день. Надо было подробно осмотреть все здание и проверить, осталось ли внутри то же самое расположение помещений, что и раньше, и не было ли произведено какого-нибудь капитального ремонта, который бы изменил планирование внутренней площади. Самое главное, это был для меня огромный подвал, тянувшийся под всем зданием и занятый всяким мелким хламом, — ящиками, стружками, бочками, картонными колоннами, различными частями сцены, императорскими и царскими тронами, стоячими деревьями и пр. принадлежностями сцены, которые по мере надобности выносились наверх и опять сносились назад, по миновании надобности. Если этот подвал был цел, — все было спасено. Если же этот подвал был ликвидирован или если в него нельзя было проникнуть, то все мое предприятие ставилось под вопрос. В самом деле, как было обойтись без подвала?

Накануне спектакля, вечером, я пошел на разведку. Подвал оказался вполне таким же, как и в наше с тобой время. Не успевши еще подумать, как попасть в этот подвал, я заметил, через маленькое окошечко, спускающееся ниже уровня тротуара, что в подвале кто-то есть и виден свет слабой керосиновой лампы. Кто-то вошел в подвал и долго внимательно рылся там в хламе, — по-видимому, разыскивая какие-то мелкие вещи, нужные для того или иного спектакля. Тусклый фонаришка был достаточен для того, чтобы я убедился в полной сохранности подвала.

Как проникнуть в подвал, это я знал очень хорошо. Туда вела дверь за кулисами на лестницу, круто спускавшуюся под сценой. Проникнуть туда незаметно — можно было только во время спектакля, когда все за сценой заняты представлением и никто не обращает внимания на эту маленькую дверь. Надо было обязательно проникнуть туда накануне, чтобы расставить банки с керосином и пузырьки с бензином и чтобы не перегружать себя в самый день спектакля.

Прошмыгнуть в эту подвальную дверь не составило никакого труда. Мы с тобой так часто околачивались там за кулисами около этой двери и настолько хорошо знали все порядки и обычаи,

царившие за кулисами, что прокрасться через эту дверь в подвал мне удалось в какие-нибудь пять минут.

Банок и сосудов в подвале было сколько угодно. Я захватил с собою только бутылку керосина и два пузырька с бензином. В трех местах я устроил небольшие костры из хлама, которым был наполнен подвал. Эти костры были облиты керосином. Пузырьки с бензином были расставлены недалеко от окошек в подвал, чтобы можно было зажечь их при помощи длинной палки, просунутой в эти окошки. Стоило только взять паклю на длинном шесте, зажечь ее и коснуться через окошко приготовленных мною куч, как пожар в несколько секунд уже должен был начаться, по крайней мере, в трех местах. Кроме того, места эти были выбраны с тем расчетом, чтобы в случае, если воспламенится потолок подвала, то есть пол партера, чтобы обеспечен был провал стен, отделявших два яруса лож и галерею от фойе. Этого было вполне достаточно для того, чтобы публика не могла выйти в двери; она должна была рухнуть вниз вместе со всеми ложами. Длинную жердь с прикрепленной на конце ее паклей я также приготовил и положил в укромное место около театральных стен.

Все было готово, и я спокойно заснул.

На другой день, то есть в самый день спектакля, я проснулся с настроением, которое надо назвать не больше и не меньше, как каким-то торжественным. Так бывало в детстве накануне великих праздников, когда в доме все чистят и моют, на кухне готовятся вкусные кушанья и вся атмосфера дома пропитана скрытым торжеством, подготовкой к великой радости, которая вот-вот наступит. Проснувшись утром, я почувствовал сильнейшую, хотя и скрытую радость и предвкушал свое счастье, когда, наконец, я исполню свой долг и осуществлю идею, которая уже начинала мешать моему существованию. Давно уже я не испытывал такого спокойствия, такой ровной и тихой радости, как в это утро, когда, еще не одевшись, я лежал в постели и мечтал о своем торжестве, которое должно было состояться вечером.

Придя со службы, я начал разговор с женой о театре. Уже несколько дней назад билеты были взяты; и жена, видимо, с удовольствием и нетерпением дожидалась этого вечера, которого не суждено было ей пережить еще ни разу за всю нашу совместную жизнь. Она притихла и кроме двух-трех язвительных фраз ничего не сказала мне особенного. Часа за три до выхода в театр она стала одеваться, завивать свои грубые желтые волосы, разглаживать оборки на платье, бесконечное число раз примеривать браслеты и брошь и пр. Старики, которых после некоторого умягчения прорвало в связи с отказом в повышении мне жалованья, так и не вернулись к своим чувствам, появившимся было после моего при-

глашения их дочери в театр. Последними словами, которые они бросили нам вслед, когда мы вышли в театр, было:

«По театрам ходит, а жрать нечего!»

Я почему-то даже взял извозчика, --- чтобы доставить жене полное удовольствие.

Когда мы вошли в театр и заняли последний ряд партера, публики было уже довольно много. С каждой минутой количество народа росло и росло; и к началу спектакля набралось столько публики, что были заняты даже проходы, --- сначала приставными стульями, а потом и просто толпой стоявших и жаждавших увидеть и услышать блестящую бенефициантку. Что была за пьеса, --- поверишь ли? --- забыл, совершенно забыл; и что была за бенефициантка, --- тоже забыл. Только и осталось в памяти, что была актриса, а не актер, и больше ничего! Кто играл и что играл, --- ничего не помню. Хоть убей, --- ничего не помню.

Я присел с женою два действия. По окончании второго действия (а оставалось что-то очень много, еще действия три, если не больше), я сказал Лидии, что у меня сильно болит голова и что я выйду на время антракта на воздух, а вернусь к началу следующего действия или несколько запоздаю.

С ясным и счастливым настроением души я взял свое пальто в раздевальной и медленно вышел из театра. Около театра стоял длинный ряд извозчиков в ожидании разъезда публики после спектакля. Площадь была освещена тусклыми газовыми фонарями. Я быстро шмыгнул в тень, зайдя за угол театра и погрузившись в темноту, где не было ни живого существа.

Надо было несколько помедлить, чтобы кончился антракт. Иначе публике было бы очень легко выбегать из фойе наружу. Я в темноте нащупал свою жердь с наклей: она была в полной сохранности.

Тут вот подумаешь, Ваня, что у меня были какие-то там идеи, какие-то сомнения, колебания, что я чего-то боялся, кого-нибудь жалел, опасался за себя или других?.. Эх, Ванюша! Святая простота! Ничего-то ты не понимаешь, и --- не поймешь ничего! Тут, брат, откровение надо иметь. Из пальца это не высосешь. Ну, ладно... Раз уж начал рассказывать, доскажу до конца.

Да, впрочем, и рассказывать нечего. Зажег паклю, просунул в окошко, коснулся приготовленных куч. Все вспыхнуло моментально. Я преспокойно свернул в соседний переулок и мог свободно пройти с десяток улиц и переулков, прежде чем должна была подняться тревога. Но я не уходил так далеко. Мне хотелось присутствовать здесь на пожарище, а в суматохе все равно никто на меня не обратил бы внимания. И я с легким нетерпением ходил по соседнему переулку, в минуте ходьбы от театра.

Тревога очень долго не поднималась. Уж не потух ли пожар? Однако подойти к театру и посмотреть в окошечко было бы опасно. И я с возрастающим нетерпением продолжал гулять по соседнему переулку.

Прошло, по крайней мере, с полчаса. Наконец, раздались слабые возгласы, и я поспешил к театру. Картина была совершенно спокойная и скучная. Театр стоял как ни в чем не бывало, а со стороны, куда я подошел, не было ни одного окна и ровно ничего не было видно. Конечно, в подвальное окошечко можно было все увидеть, но я не решался подойти вплотную. Только вдруг выбежавший из театра человек, без шапки и пальто, кричал во все горло: «Пожар, пожар, пожар!!!» По-видимому, перед этим тоже выбежал один такой человек, и его-то крик я, вероятно, и слышал из соседнего переулка.

Но где же вся прочая публика и почему же нет никакого пламени? Уже потом я сообразил, что я слишком спешил. Разгореться такому зданию, хотя и насквозь деревянному, нельзя было сразу. Однако, пожар уже заметили: значит, огонь, или, по крайней мере, дым, показался уже в зале, а это могло быть только в том случае, если уже занялся пол. А если занялся пол, то, рассуждал я, все спасено.

Еще через полчаса весь театр представлял собою пылающий костер, и уже не было видно ни стен, ни крыши, ни переднего фронта, а только одно пламя, уходившее в темное, тусклое небо.

Ну, вот тебе и весь рассказ... Понял? Ну, что тебе еще прибавить? Прибавлю то, что прочитал я в местной газете на другой день после пожара. Оказались сгоревшими заживо 485 человек и получившими тяжелые ожоги 522 человека. Остальные душ пятьсот спаслись. Среди сгоревших была и Лидия. Да это и не удивительно. Я знал, что это будет именно так.

Домой я не пошел. Да и куда? К этим старым сумасбродам? Нет, домой я не пошел, да и всякий «дом» как-то вдруг взял да и кончился. Я сразу куда-то уехал. Не возвратился я и на свою проклятую почту. Но с тех пор вот уже сколько лет не могу две ночи переночевать в одном месте. Гонит меня что-то с места на место и гонит непрестанно, непрерывно. Не могу, не могу жить в одном месте. И служить бросил тогда же и — раз навсегда! Довольно!

Ванюша, челкадыкнем еще разик! --

Петя, не дожидаясь согласия, хватил еще полграфинчика и стал заметно хмелеть. Щеки его уже давно порозовели, и его стало разбирать. Однако он говорил очень хорошо и складно, только стал произносить несколько медленней, как бы вдумываясь в каждое слово.

7.

— Подлецы! Все люди подлецы! — продолжал Петя, начиная делать неестественные ударения на словах и употребляя пьяные жесты. — Еще ни одного человека не встретил честного! Ишь ты! Понадевали скуртуки да меха! Подумаешь, и — правда. А на самом деле все вы мерзавцы! Да, — мерзавцы! Вишь ты, — сидит, чай пьет да бутербродом закусывает. Подумаешь, и на самом деле человек. А я вижу, — да, да, вижу и знаю, что ты подлец. Куда ни пойду, везде подлецы. Узнавать, брат, умею. Ты вот небось не умешь, а я вот по маленьким черточкам узнаю. Вот по одной складочке на лбу или вокруг рта, по одному жесту или по манере сидеть или ходить узнаю, что человек — подлец. Да, да! Мошеники, подлые душонки!

Ну, ну, ладно, стой! Не обижайся. Обидно за человека? Ну, не обижайся, не буду! А ведь посуди сам... Какое кругом расслоение, распадение, разложение!... Не честного человека я не видал, а просто человека не видал... Да, да, человека не существует...

Все это кругом какое-то тягучее, липкое, вязкое... Нет ясности, красоты, нет кристалльности. Нет в бытии ничего понятного и четкого... Как жизнь бесчеловечна, как жизнь бесчеловечно непонятна! А хочется чего-то простого, светлого-светлого, ясно-го-ясного и, главное, простого... Зачем эта ненужная сложность, многозначность, многосмысленность, зачем эта вечная несообразность, неохватность, это досадное и нудное скольжение жизни, эта скользкость ее, осклизлость?.. Где начало и конец, где середина бытия? А вот изволь жить! Жить в условиях внутреннего неразличия, внутренней безразличности, безразличия жизни, ее вечной однотипности, однообразия, монотонности, скучной невыраженности, невыразительности жизни — при всей ее бездонности и разношерстности!

Есть что-то гнусное, что-то пошлое и бездарное в основе всего бытия... Есть какая-то мелкая, духовно-мелкая идея, залегающая в глубине жизни, и от нее все зависит, все и все... Это духовное вырождение, это универсальное мировое мещанство, эта мелкая мстительность и придиричивость, — вот они, прославленные глубины бытия и жизни!.. В течение всего моего существования кто-то великий и могучий, злой и мстительный придирается ко мне, — да, да, придирается ко мне, дразнит меня, задирает меня, машет кулаками около носа, вызывает на драку, на месть, на ругательства. Что ему нужно от меня? Да кому это — «ему»? А есть этот он, — вернее, оно, — да, да, оно, это хамское и бездарное «оно», завистливое и мстительное, и куда ты от него денешься, если оно

и есть все? Главное — завистливое и придирчивое, мелко-мстительное, бездарно-злое, нудно-вымогательное. Оно неустанно следит за тобой, за каждым твоим шагом, ты вечно в поле его зрения; и оно не выпускает тебя ни на одну секунду, ни на одно мгновение... Этот горящий и светящийся глаз вечно бдит где-то вдали, в тусклой и тошной мгле бытия, не моргая и магнетически пронизывая тебя, — издали, из-за угла, откуда-то сбоку.

Так живут людишки под этим бдительным оком. И живут скверно, слабо, невыразительно. Все как-то больны, слабы, ничтожны, бессильны и в то же время злы и мстительны. Сам беспоощен, барахтается в болезнях, страданиях, в язвах души и тела, но сам в то же время замышляет и творит зло, вредит из-за угла, мстит мелко и жестоко... Умирает, а еще дышит злобой... Весь ничтожен, нуждается в помощи, и просит о ней, и тут же — злобствует, ползает и шипит как змея. Бездарно это! Бездарная месть, невыразительная злоба. Эта капризная мелкота, эта копошащаяся слизь души, это отсутствие живой идеи и духовных замыслов, душевного размаха и простора, эта вечная сдавленность, скрюченность, бессильная приниженность, полная беспомощность и ненужность творимых дел, эта духовная ограниченность и какая-то обворованность, пустота и скука, — все это есть жизнь, это, Ванюша, жизнь! И это называется жизнью!

Вот оно, везде и непрестанно, — мелкое, злое, кривое, больное, бессильное, мстительное, пустое, капризное, бездарное, глупое, придирчивое, вязкое и липкое, серое, тусклое, невыразительное, надоедливое, дотошное и тошнотворное, капризное, уродливое, беспомощное и страдающее, гадкое, осклизлое, придушенное и духовно-мертвое, духовно-холодное, упорно-необщительное, гнилое, скользкое, топкое, неуловимое, манящее пустой призрачностью, какой-то вечный прибой и отбой холодной и методически-жесточкой, мелкой злобы...

Да, а театрик-то рухнул как карточный домик, сгорел дотла как куча дров, как готовый костер! Эх, дружище! --

При этом Петя похлопал меня по спине.

-- Эх, дружище! Не так-то оно просто, жить-то! Нельзя знать и -- не сжечь самого дорогого. Знание!.. Эх, Ванюша, не понять тебе, что такое знание...

А ведь не избавился я от того чувства обездушения, о котором я тебе говорил. Идею свою выполнил и облегчение получил, а от обездушения не избавился. Хожу среди вещей и — осязаю их, только осязаю, — не вижу и не мыслю их. Вижу только эти глупые и тупые, бездарные тела, и — не вижу, не знаю души. Да, именно --- бездарное тело. Тело, Ванюша, всегда бездарно... Ежели оно только тело, оно всегда бездарно, бессмысленно, бессодержательно; оно всегда есть вырождение. Тело вещей без их

души — как это пошло, плоско, как это жалко, ничтожно, как это мелко и ненаходчиво! Разве можно заменить одухотворенное бездушным, гениальное бездарным, преисполненное — пустым, талантливое — тупым и тяжелым?

Да, Ванюша, можно, и я заменил, — понимаешь? — заменил! Ужасно и мучительно унижение и оскорбление гения, души, жизни, но — великое наслаждение и в удушении гения, в убийении души, в уничтожении жизни! Гений непобедим, и душа бессмертна, а я — не хочу, чтобы гений был непобедим, хочу, чтобы душа умерла. Я отомщу! Я отомщу за эти вечные придирки, за это издевательство над неповинным ни в чем человеком. Я отомщу! И я уже отомстил!

Ванюша, хочешь купить себе обезьянку? Я все время хотел купить, да денег не было... Да, впрочем...

Эх, Ванюша, не люблю этих гениев и талантов... Эту вот самую душу взял бы да и придушил как клопа. Личности, субъекты, великие сердца... Много вас тут, дряни, шатается, гениев-то. - -

Петя сильно хмелел, и уже начинал нести какую-то чушь.

— А ведь следствие-то... Следствие-то было... Ха-ха! Осудили дирекцию театра и нескольких пожарных... Ха-ха! Помнишь, у нас

ские солдаты. Ну, их тоже под суд. Кое-кого в Сибирь... Ха-ха-ха! М-мать их...

Не выношу личностей... Личность... А обезьянки не хочешь? Орангутанга мордатого не хочешь? Душу... ежели того... душу, значит, убить... Хе-хе-хе! И лягушки тоже... Женщины любят спать с обезьянами... М-н-да!.. С обезьянами и с мокрыми облезлыми лягушками. Значит, того... —

Я решил прервать Петю.

— Петя, милый, ты болен. Тебе бы отдохнуть, полечиться...

— Ванька, м-мать твою... Ну, давай поцелуемся! Милый мой Ваня! А гимназию-то помнишь?

Петя, шатаясь, встал из-за стола, долго со мной целовался и вдруг заплакал. Заплакал и зарыдал на весь вокзал, так что многие стали на нас обращать внимание. Я поспешил усадить его обратно за стол и пытался утешать.

— Ваня, голубчик... Ваня, а помнишь Сергея, гимназического швейцара? —

И Петя вдруг вскочил, подошел ко мне и грохнулся на колени.

— Ваня, прости меня, прости, прости! Ваня, ну, прости же, прости же, прости!..

Я бросился его поднимать, так как мы стали решительно обращать на себя внимание, и могла вокруг нас собираться публика.

Я вновь поднял его и усадил за стол. Но тут послышался на платформе звонок, извещавший о выходе моего поезда с последней станции. До прихода поезда оставалось 15 минут.

— Ваня, — заговорил Петя, немного оправившись и утирая слезы, — Ваня, дай два рубля денег. —

Я вынул несколько кредиток и дал ему. Но заметив, что он в них путается, я сам уложил эти деньги ему в карман.

— Ваня, отведи меня вон туда... на постоялый...

Я заплатил в буфет, одел Петю и вывел его из вокзала. Постоялый двор, действительно, оказался рядом с вокзалом, и я просил заведующего поместить моего друга почище.

— Ваня, милый Ваня, — лепетал Петя, лежа в постели и засыпая, — Ваня, прости, прости за все! Если ты простишь, то и... —

Дальше я не понял. Петя еще долго что-то шептал и мычал, но ничего нельзя было разобрать. Он тут же и заснул, а я поспешил на поезд, так как оставалось 3-4 минуты.

Когда я сел в вагон и разместил свои вещи и нашел себе место, образ моего гимназического товарища Пети восстал во всех своих подробностях.

Это был талантливый, белокурый юноша, такой воспитанный, такой простой и ясный, такой любитель и знаток искусства, такой чистый, нетронутый, умный...

Я ничего не понимал...

11/XI-32.

ЖИЗНЬ

I

Люди часто с любовью вспоминают свое детство. Я тоже вспоминаю его с любовью. Я был окружен заботой и лаской матери. Безоблачное, счастливое детство было и остается какой-то золотой мечтой, каким-то несбыточным раем. Но вот был Мишка, мальчишка-сосед, мой товарищ по играм и ранней учебе, мой сверстник. Ничего был ребенок, да вот только имел одну странную привычку, я бы сказал даже, страсть. Бывало, как заведется у них в доме щенок или котенок, то его любимым занятием было выдергивать волоски у этих животных и ломать им лапки. Ломать — не в шутку, а всерьез. Бедные животные пищали и выли на весь двор и оставались калеками.

— Мишка, сволочь, — говаривал я ему. — Как тебе, дураку, не стыдно? Опять котенка замучил! —

— Да это я... так... —

— Дурак! —

— А не твое дело. —

— Я вот матери твоей скажу. --

— А я ей еще раньше твоего скажу. —

Счастливое, ласковое, мягкое, безоблачное детство, да только вот этот проклятый Мишка.

Однажды в мишкином доме сука оценилась целыми восемью детенышами. Мишка ликовал. Он не замучивал щенят, пока те были слепыми, спали один на другом в одной мягкой и теплой куче.

— Рано еще! — говорил Мишка. — Пусть подрастут. --

Он предвкушал свое счастье и был на редкость терпелив.

Скоро щенята подросли.

Мишка уже покалечил трех щенят, но на четвертом произошел инцидент.

Однажды после непродолжительной игры в мяч Мишка вдруг сказал:

-- Надосло играть. Подожди. Давай отдохнем. —

Я согласился.

— Сегодня у меня на очереди Сток, -- прибавил он с некоторой нежностью в голосе. А Сток была милая собачка, подросшая уже настолько, что ей решили дать кличку. Все же это был пока

еще по своей комплекции какой-то цыпленок, и Мишка с такими справлялся без всякого труда.

Я решил взмолиться.

— Мишенька... Знаешь, что? — залепетал я. — Хочешь, конфет дам... Хочешь? А? —

Мишка сначала ничего не понимал.

— Мишенька, родненький... Не ломай лапок у Стока... —

— Ишь ты куда гнешь. А что тебе Сток? —

— Мишенька, голубчик... Продай мне Стока... —

— Хе-хе! Целоваться, что ли, хочешь с Стоком? —

— Мишенька, я тебе всю коробку отдам с конфетами. — А у меня недавно был день рождения, и от подарка осталась целая коробка конфет.

— Собака моя? — наставительно ответил Мишка. — Моя! Я хозяин Стока? Я! Ну, так чего ж! —

— Мишенька, возьми конфеты, — продолжал я сквозь слезы. Но на душе у меня уже закипал гнев, уже что-то начинало трясти мой детский организм, и я терял власть над собой. — Мишка, голубчик, золотко, не мучь Стока... Продай Стока. Давай меняться на конфеты. —

Мишка уже перестал меня слушать. Я понял, что мысль об искалечении Стока пришла ему в голову еще во время игры; и он не закончил даже игры, чтобы приступить к любимому делу. Он уже направился к собачнику, где было несколько щенят. Но тут я заметил в его руках, вдруг откуда-то взявшиеся, клещи. Я до сих пор не знаю, зачем он их взял. Сток был еще хилой, цыплячьего вида собачкой, и... никаких специальных инструментов еще не требовалось.

Я побежал за Мишкой к собачнику.

— Не смей! — закричал я, вдруг не сдержавши себя и вдруг обратившись от упрасиваний и умолений к гневу и к кулакам.

— Не смей, мерзавец! Отойди! Отойди, говорю, от собачника!

—

Мишка сначала оторопел, потому что я схватил его за обе руки. Клещи выпали из рук на землю.

— Убью, мерзавец! Слышишь, что говорю? — кричал я, трясясь всем телом. — Убью! Не смей! Не дам мучить Стока! Уйди, пока живой. Сволочь ты! Мерзавец! —

Мишка был сильнее меня. Оторопевши в первую минуту, он тут же пришел в себя, тряхнул с силой руками и освободился от меня.

— Ага! — зашипел он. — Чужого добра захотел.. Я тебя проучу. Я тебе покажу, что такое Сток... —

У собачника началась драка. Мишка был сильнее меня, но я не сдавался. Мы начали тузить друг друга по рукам, по спине, по

бокам, по лицу. У кого-то уже появилась кровь, и у меня начинало мутиться в голове. На наши крики пришли Мишкины родители, которые и разняли нас. Но результат всего инцидента был совсем не тот, которого я ожидал. Оказывается, Мишкины родители, вступившие в переговоры по этому поводу с моими родителями, заняли всецело позицию Мишки, со всеми этими аргументами о «чужом добре», о том, что-де «не ваше дело», и даже говорилось так:

— В наше время так мало радости... У детей так мало развлечений... —

Словом, я был побежден и физически и психологически. Я не мог поколотить Мишку, а мои родители не могли переубедить его родителей. Так и остался этот инцидент на всю жизнь как несваренный кусок в желудке. И я еще до сих пор не знаю, куда мне его деть.

Счастливая, ласковая, нежная, милая, безоблачная пора раннего детства... да только вот если бы не этот Мишка проклятый... Еще и до сих пор слышу этот жалкий визг щенят, которые оставались калеками на всю свою жизнь и которые уже не могли бегать или ходить, а как-то мучительно ползали на сломанных лапах, доставляя себе боль при каждом малейшем движении. Этот визг стоит у меня в душе целую жизнь; и еще не было у меня такой радости и такого счастья, чтобы я смог целиком его забыть или чем-то заставить молчать. Когда я слышу на улице собачий стон или вой, вся эта картина Мишкиных занятий возникает у меня в сознании, как будто бы это было только вчера; и тело у меня начинает трястись от гнева, ужаса тоски, отчаяния, бессилия и возмущения так же, как тогда у собачника.

Последующая жизнь не стерла этих счастливых, ласковых, нежных и пр. воспоминаний о детстве. Нет! Мишка рос и ширился у меня в душе. Не надо примеров из моей жизни. Их, к сожалению, было слишком много. Гораздо хуже то, что узнал я из науки, будучи на школьной скамье.

Мучительны, давящи были у меня размышления о жизни. Я думал:

— Как же так? В природе все так стройно и красиво, все так закономерно и целесообразно. Что же такое человеческая жизнь? Когда на уроках космографии учитель о предсказании затмений

говорит в физическом кабинете, как вычислили на доске момент падения тела в машине Атвуда, так оно в ту же секунду и упало, — до того все это четко и стройно, до того все точно и целесообразно. А что же такое человеческая жизнь? Зачем живет Мишка? Разве нельзя без него? Зачем эти Мишки отравляют весь воздух, которым дышит человечество? Зачем память о нем навязалась мне на целую жизнь и испортила, омрачила всю эту жизнь? Зачем люди проливают кровь, уничтожают один другого, наслаждаются страданиями других людей, неистовствуют, бешенствуют, зверствуют? Зачем существуют звери? Может ли человек при этих условиях оставаться спокойным? Можно ли улыбаться после этого, можно ли получать радость от солнца и тепла, от ласки и дружбы, от удачи и достатка? Не есть ли жизнь та пещера Трофония в Древней Греции, куда люди заглядывали и, если заглядывали, то теряли на всю жизнь возможность смеяться и улыбаться? Не лучше ли жизни смерть? Не лучше ли, не мудрее ли кончить эту трагикомедию раз навсегда, чтобы уже не смеяться и не плакать, не петь и не играть, но зато и не убиваться, не терзаться, чтобы вместе с поэтом сказать о себе и уже раз навсегда:

*Тише! О жизни покончен вопрос.
Больше не надо ни песен, ни слез. —*

Так часто размышлял я в своем уединении, разыскивая тайну человеческой жизни.

Я шел к тем, кого считал умным и знающим, и спрашивал их. Мало я получал удовлетворения от этого.

Школьником я не раз приставал к своему учителю биологии, ища разъяснения мучительной загадки жизни.

— Да ведь это очень просто — говорил он, цеголсвато покрывая свои усы. — Чего ты убиваешься? Не понимаю. Ну, кошка съела мышонка. Велика важность! Ну, и съела. Ну, так что же? Ты ведь говядину ел? Ел. Ну, так что ж ты бубнишь? Есть хочется, и — баста. Естество такое. Ведь кошка есть хотела? Хотела. Ну, так чего ж! Не подыхать же ей! Жизнь — это инстинкт. Мудрость такая природная. Если хочешь жить, борись. Ну, я не говорю там, конечно, чтобы ты... того... сам, что ли, убивал... Зачем же? Ну, а все-таки... На то и щука в море, чтобы карась не дремал. —

Я возмущался.

— Иван Петрович, — горячился я, — невозможно! Вы говорите, что все это естественно? —

— Ну, конечно, естественно. От природы так дано, — отвечал Иван Петрович.

— Иван Петрович, — горячился я, — хочется послать к чорту всю эту вашу природу. —

— Ну, что ж! И пошли. Да толк-то какой? Или ты думаешь, что от твоей чертовщины что-то изменится? —

— А у вас какой толк? Вы смотрите на кровь, на убийство, на жестокость, на все кровавые сладострастия жизни, и — что же? Посматриваете и усики себе покручиваете. —

— Чудак ты человек, — добродушничал тот. — А что же остается делать? Ведь если бы оно было противоестественно, это можно было бы устранить. Да оно и само долго не продержалось бы. А ведь раз оно естественно, то как же ты против естества пойдешь? —

— Пойду! —

— Против природы? —

— Против природы! —

— Против инстинктов? —

— К чорту все эти инстинкты! —

— Да ведь это бунт против жизни! —

— Это бунт против холуйства перед жизнью. Довольно вы нас учили идолопоклонствовать перед жизнью. Жизнь — это болото, невылазная лужа. Не во всяком же болоте мне тонуть. Подумаешь, «жизнь»! Кулаком в морду вашей жизни! Пусть замолчит, сократится, пусть знает свое место, пусть перестанет нахальничать, издеваться, глумиться над всем святым. Пусть попридержит кровь и не пожирает живого тела. Пусть будет поскромнее. Пусть будет шире, выше, благороднее, спокойнее, мудрее, — человечнее, наконец! —

— Хо-хо-хо-хо! — от души хохотал Иван Петрович. — Ну и сказанул! Ну и дербалызнул! Уморил! Ей-богу, уморил. И какое эдакое благородство. Я-де вам еще покажу. И-о-го-го-го! Я-де вам еще пропишу ижицу. А? Хорош! Ей-богу, уморил. —

— Вы, Иван Петрович, не уваливайте от вопроса, — горячился я. — Вы мне прямо скажите, все естественное позволено, или не все? Нет, вы напрямки. Ведь это же мой единственный вопрос. —

— Да чудачишка ты этакий! — отвечал тот, сдерживая искренний смех. — Ведь это же наука. Это наука так говорит. —

— Что говорит наука? Я вас не понимаю. —

— Наука так говорит, понял? —

— Ничего не понял. Что наука говорит? —

— Ну, ты непонятливый! Наука выставила закон борьбы за существование. —

— Ну, и? —

— Ну, и вот. Борьба есть закон жизни. —

— Я вас спрашиваю: все позволено или не все позволено, что ваша наука считает естественным? —

— Да раз наука считает это естественным, как же это не позволено? —

— Убивать естественно? —

— Если убийство тебя спасет от смерти, — естественно. —

— А умирать естественно? —

— Естественно. —

— Так чего же вам спастись от смерти? —

— Спастись от смерти естественно. —

— Ага, значит, и жить вам естественно и умирать вам естественно. —

— Разумеется. —

— Ну, а при чем тут убийство? —

— Да что ты привязался к убийству? Если убийство способствует спасению естественной жизни, оно позволено. И если оно способствует естественной смерти, оно тоже позволено. —

— Ну тогда, Иван Петрович, так вы и говорите: все естественное позволено. Все ваше поведение диктуется естественным, — природой там или еще чем, инстинктами, животной утробой. Вот и все. Больше мне ничего не надо. —

— Но ты как будто чем-то недоволен. —

— Я не доволен, а меня всего трясет от негодования, — кипятился я. — До чего же может пойти наука! До какого безумия, до какого позора можно пойти с вашей биологией! До какого издевательства, глумления над человеком можно пойти! Мне захотелось насиловать женщину, — вы при этом спрашиваете только то, естественно ли это. Я увидел у другого вкусный кусок, — вы при этом озабочены одним вопросом, естественно ли человеку есть вкусные вещи. Я избил свою кухарку за то, что она переплатила лишний рубль на базаре, и — вы уже разрешаете это, на том основании, что человеку естественно бережно относиться к средствам, которые заработаны собственным трудом. Но ведь для иной женщины естественно и уклониться от мужчины, а кухарке естественно зажилить себе лишний рубль, опять-таки все для того же, чтобы удовлетворить ваше «естество», вашу «природу». Что же это получается? Война всех против всех? Наука проповедует первобытное звериное царство? Биология оправдывает первобытную дикость, первобытное варварство? Для зверства, для дикости, для варварства, для всех этих инстинктов, естественных потребностей, для борьбы за существование — нет никакой узды, нет никакого закона, никакой совести, нет ничего разумного, человеческого, осмысленного? К чорту вашу естественность, вашу жизнь и вашу биологию! —

Споры с Иваном Петровичем ни к чему не приводили. Я уходил от него без всякого утешения; и только еще одна цитадель беспомощно рушилась передо мною, — это отвлеченная наука в ее

попытках осмыслить жизнь и, главное, оправдать всю дикость и зверство, которыми эта жизнь наполнена. Естественность зверства, законность дикости, нормальность людоедства меня не устраивали. Да, можно так рассуждать: раз все естественно, все и позволено. Но я чувствовал, что жизнь надо как-то переосмыслить, что жизнь надо переделать, что надо установить какую-то другую естественность, что надо хвалиться какими-то другими нормами. Никакие инстинкты, будь они трижды естественны, ни кошачьи, ни собачьи, как бы они ни были достаточны для объяснения жизни, меня не устраивали. Я смутно чувствовал, хотя тогда еще и не сознавал отчетливо, что жизнь мало объяснить, что ее надо и переделывать. Но что было делать? Куда было идти? С кем было советоваться?

Я шел в народ, в низы. Я шел к образованным и ученым, к интеллигентам и городским. Но я нигде не находил себе удовлетворения.

Помню, однажды я оказался в деревне. Это было в старое время; и деревня, правда, была далеко не на высоте. Но вот примерно какие разговоры велись.

Живу у приличного крестьянина, работающего и степенного, тогда пока еще маленького кулачка (а что было с ним потом, не знаю).

— Ну, и что же, Панкратыч? — заговаривал я. — Так, значит, и помрем, правды не видамши? —

— Зачем не видамши? — рассудительно отвечал тот. — Правда есть. И есть, и будет. —

— Где же ты нашел правду, Панкратыч? —

— Да, ну, хоша в тебе... Ты ведь ученый: Вот тебе и правда. —

Я внутренне улыбнулся, но внешне улыбку сдержал и продолжал в серьезном тоне:

— Брось, Панкратыч, вола вертеть. У тебя вот ребята сарай с сеном подожгли, а ты говоришь «есть и будет». Выходит, что нет и не будет. —

— Ребята — дураки, Бог разумом обидел. —

— А вот дурость не заставила же их на тебя поработать, да это самое сено покосить, да посвозить, да в сарай для тебя уложить. А то, вишь ты, что заставила дурость делать, — сарай поджигать! —

— Да ведь ты, сынок, божьим советником хочешь быть. Господня воля на то, вот и все. —

— На что это Господня воля? На поджог? —

-- Ну, да. На поджог. --

Я пожал плечами.

-- Не хочется тебе этого. Я вот и вижу, почему-то торжествовал Панкратыч, -- что тебе этого не хочется. Тебе бы вот все вынь да положь. Правды захотел... А правда-то ведь у Бога! Захочет Бог, есть правда; а не захочет, -- нет никакой правды. И ты лошни, а правды не дашь. --

-- Да как же это может быть? -- возмутился я. -- Ведь сам-то Бог-то твой -- правда или не правда? --

-- Правда. --

-- Ну, так как же тогда может не быть правды? --

-- А вот так и нет правды. И грех тебе правду-то эту нудить. --

-- Грех? --

-- Грех, грех, сынок. --

... Грех правду нудить? --

- Грех, грех! Нынче вон Страстная неделя, а ты -- турысы всякие разводишь. --

Я возмутился,

-- А пьянствовать на Страстной неделе -- не грех? А шкуру драть с бедняка на Страстной неделе -- не грех? А чтобы жену избить до крови, -- это чья такая воля, тоже Господня? А кобылу с одышкой продать как здоровую -- не грех? Ты вон за кобылу взял пятьсот рублей, а ведь она и пятьдесят не стоит. Она ведь на первом плуге подойдет. А баранину тоже небось подкрасил? Я ведь видал, как ты с женой тухлую баранину специями подправлял. Говори, на сколько продал на рынке! А? Как свеженькую? А если отравится человек или трудовую копейку свою на тебя загубит, это, по-твоему, ничего себе? Господня-де воля? Правду, дескать, нельзя нудить. Грех-де, если я тухлятину не спущу за свежее? Э-э-э-х, Панкратыч! Стыдился бы веру-то сюда приплетать. Вера-то тебя самого разоблачает. --

Панкратыч слушал меня вяло. И я чувствовал, что если бы я даже кол тесал на голове такого Панкратыча, то и таким способом не добился бы сознания. После таких разговоров кончалось тем, что он спешил либо лошадям сена подкладывать, либо старые вожжи латать, либо забор чинить на огороде. Вот тебе и мудрость вся!

-- Бог с ними, -- думал я себе, -- со всеми этими Панкратычами! Не по пути мне с ними. --

Но с кем же по пути?

Я встречал практиков, деятелей, активных работников, людей воли и силы, предпринимателей, организаторов...

Нет... Не лежала у меня и к ним душа. Ну, что же? Делать, активничать, стремиться, предпринимать, организовывать, -- ради

чего, ради кого? Делать только потому, что делать хочется, это — глупо. Быть активным только потому, что ты молод и здоров, или потому, что скука заела, или даже потому, что тебе это интересно, или для того, чтобы убить время, или потому, что это — прилично и что все приличные люди что-нибудь делают, — это все пустота, скука, мещанство; и хорошо еще, если это — деячество и темперамент. Но для чего, во имя чего, кому, в чьих интересах, ради какой идеи я должен действовать и работать, стремиться и не отставать от других? Практики мне не давали ответа на эти вопросы.

Среди моих исканий правды жизни особенно мне запомнились слова одного моего школьного товарища, с которым я случайно встретился после многих лет со времени окончания школы, на одной далеской узловой станции. Этот разговор вклинился в мое сознание и, как мне ясно теперь, имел для меня немаленькое значение. Так как пересадка длилась долго и до моего поезда оставалось несколько часов, то мы засели с моим товарищем в вокзальном ресторане, и среди еды и питья просадили все оставшееся время, пока не появилось сообщение о приближении моего поезда.

— Вот ты говоришь «жизнь» да «жизнь», — сказал Юра, приступая к закуске. — Хочешь, тебе дам научное определение жизни? Научное определение жизни таково: это — канитель. —

— Шутник, Юрка! Целый век зубы скалишь! —

— Нет, нет, Алеша, я — всерьез, — невозмутимо продолжал тот. — Жизнь есть канитель. Жизнь заключается в том, чтобы не делать сразу того, что требуется сделать сразу. Ну, возьми вот хотя бы животное, ну человека, что-ли. Казалось бы, животное и есть животное. Ан, вовсе нет. Рождается, прежде всего, не животное, а какая-то вонючая дрянь. Булавочкой только коснись, и — подохнет. Потом начинает расти. Растет-растет, растет-растет... Ну, ладно, пусть бы уж росло. Ан, вовсе нет. Растет, потом не растет, болеет, худеет, худеет. Потом поправляется, здоровеет, опять растет... Ну, наконец, всеми правдами и неправдами выросло (если только не подохло). Казалось бы, и конец всем злоключениям. Ан, вовсе нет. Достигши зрелости, совершенства форм и полноты сил, животное вдруг почему-то начинает стареть. Почему? Нет, Алеша, ты мне скажи: почему оно, сволочь, стареет? Да разве дело в старении? Пусть себе старело; чорт с тобой, старей! Ан, вовсе нет! Начинается заводиловка с болезнями, с ослаблением, с хирением, с отмиранием то одной, то другой

функции. Ну, ладно, пусть бы болезни там или немощи. Ан, вовсе нет! Оказывается, животноедохнет, мрет, как муха. Вот ты что мне скажи! Чего оно, сволочь, мрет? Болеешь, — ну и болей. Стареешь, — ну и ладно. Ан, вовсе нет! Оказывается — смерть; опять та же химия, что и до рождения. После всего этого — не канитель ли жизнь, не заводиловка ли, не волюнка ли? Нет, ей-богу, совершенно точное научное определение жизни, это — волюнка! —

— Как тебе сказать, Юрий Петрович, — начал было я с раздумием, почесывая себе затылок. — Так-то оно так, конечно... Спору нет... —

— Ну, так что ж! Конечно, спору нет! — ответил тот.

— Но ведь что-нибудь же должно оставаться? —

— От жизни? —

— Да, от жизни. —

— Ну, я ж тебе сказал. Остается химия. Органическая химия. Или, лучше сказать, даже неорганическая химия. —

— Это не жизнь... — задумчиво бормотал я, рассматривая горошинку в супе.

— Ну, круговорот остается. А круговорот — это и есть волюнка. —

И не давши мне ни минуты роздыха и ни минуты для размышления и для ответа на его рассуждения, он начал быстро говорить дальше.

— Еще я тебе скажу: жизнь есть сплошная придирка. Вскочил прыщик, и ты чуть-чуть зазевался, не пошел один-два дня к доктору и не принял мер. «Ага!» — говорит жизнь: «Ты не принял никаких мер. Ну, и подыхай». И человек ни с того, ни с сего умирает в несколько дней от заражения крови. Девчонке-студентке понравился молодой человек. Выходит замуж. «Ага-а-а!» — шипит злая морда жизни: «Замуж вышла? Любви захотелось? Па же тебе, сшь!» И — девчонка бросает учебу, проходят годы, с мужем потом разводится, остается без образования и без заработка, с голодной семьей. Вот тебе и вышла замуж. Помнишь Корзинкина? — Корзинкин был наш товарищ по школе, страстно мечтавший быть горным инженером и погибший впоследствии в медных рудниках. — Ведь славный был парень. И как любил свое дело! Помнишь же, как говорил он, еще мальчишкой, о горном деле. Ну, и что же? Вспомни, как погиб. Самым злостным, самым паршивым способом погиб, — при испытании материалов в лаборатории, от взрыва. «Ага-а-а!» Медную руду любишь? Лаборатории захотелось? Опыты захотел производить? Ну, так вот на ж тебе, жри свою медь на здоровье!» Что это такое? Не придирка? Жизнь, по-твоему, не придирка? Отвечай! —

-- Мне не очень нравится самый термин, -- небойко возражал я.

-- «Термин», «термин»! Да при чем тут «термин»? Я тебе дело говорю, а ты -- «термин». --

И не давши мне очухаться снова, он продолжал:

-- Жизнь, Алеша, еще вот что. Жизнь -- это хлестаковщина, сплошное очковтирательство, надувательство, так сказать. Насколько же честнее, добросовестнее, надежнее механизм, чем организм. Механизм -- что обещает, то и дает. А это -- обещает горы, а на деле -- нет ничего. Ты посмотри, какую тьму икры мечет рыба. Да ведь если бы все это уродилось, то в реке можно было бы руками ловить рыбу, сама бы на берег лезла от тесноты в воде. А в результате? А в результате -- нет ничего, да и все тут. Какой-то жалкий процентик выживает, а все остальное -- пустое место, обман, хлестаковщина. Ребенком бегаешь иной -- прямо-таки гений: и всю арифметику знает, и географию тебе наизусть жарит, и в обществе себя ведет отлично. А вырос, смотришь, хулиган хулиганом стал: и пьяница, и забулдыга, и недоучка, и вор, и еще чорт знает что. Вот тебе и вундеркинд, вот тебе и гений! Сколько я таких видал! И что же, это, по-твоему, не надувательство, не интрига, не очковтирательство, не хлестаковщина? Кроме того, имей в виду: ведь не этот Иванов или Петров надуватель, который ребенком был гений, а взрослым превратился в жалкого мещанина (этот Иванов или Петров сам этого не хотел, и сам же от этого страдает), а надуватель именно сама жизнь, ибо кто же и что же тут виновато? --

-- Ну, насчет механизма ты больно того... --

-- Да, вот насчет механизма. Категорически, безусловно, с восторгом утверждаю тебе и клянусь: ей-богу, механизм лучше организма. Ты только пойми. Все в нем понятно, ясно, идейно. Особенно мне нравится в механизме какая-то эдакая идейность, ясность, что ли, принципиальность какая-то. Все это как-то здесь на месте. Не нравится тебе в нем что-нибудь, -- взял, да и изменил. И ты пойми, как красиво; что он есть, то он и дает. Ты пойми, как это благородно, честно, человечно -- давать то, что можешь, и не обещать того, чего не можешь. Это действительно как-то морально, нравственно, логично. Без истерики, без надрывов, без биения в грудь, без этого фальшивого актерства -- что есть, то и есть; что есть, то и фиксируется; обещается то, что реально возможно; и что обещается, то и исполняется. А что такое жизнь? Жизнь -- это, прежде всего, актерство, обман. Нечто родилось; ан, смотришь, подохло. Значит, оно только делает вид, что будет жить. Актерствовало, значит. Но это явно еще и фальшивое актерство. Жизнь немилосердно врет, загибает, заливаает, пользуется нашим незнанием, производит небывалый эффект и сенсацию. А

на деле, смотришь, нет ничего, и все тут! Врет-врет, глядит-глядит, невероятную пыль пускает в глаза, задает истерику... Ан, смотришь, ровно ничего и не думало происходить по существу... Все, смотришь, то же самое, старенькое, слабенькое, дряньнеекое... А шуму-то, гаму-то, крику-то, истерики-то! Ан, смотришь, вся рыбка-то и погибла, вся листва-то и засохла, все птенцы-то и передохли, весь труд-то и пропал даром, весь кораблик-то и пошел ко дну. Нет, Алеша, в организме, да и во всей жизни, в самом понятии жизни — какое-то зверство, какая-то бесчеловечность. Механизм — естественнее, человечнее, милостивее, проще, красивее, нравственнее организма и жизни. —

— Да ты, Юрка, с ума сошел! — почти закричал я на приятеля. — Ты понимаешь, что говоришь, или ты пьяный? Ну-таки сказать, что механизм естественнее организма, ведь это же прямо мозги набекрень надо иметь. Сказать, что механизм человечнее организма, ведь это же плевать на истину значит. Ты пойми! Я и прямо своим ушам не верю. —

— Постой, постой, Алеша, — заколебался Юрка от напора мыслей, — я тебе еще самого главного не сказал. Жизнь не только безобразнее, зверинее механизма. Самое главное, это то, что жизнь — бездарнее, механичнее, если можно так сказать, жизни. Ты только представь себе. Вот в литературе, да и среди обывателей, вошло в обыкновение говорить, что механизм-де — это машина, это-де стандартный продукт. Что дает машина? Она-де вырабатывает массовый, стандартный продукт, лишенный всякой индивидуальности, всякого творческого начала. Вот кустарное де производство — это я понимаю. Там-де все любовно мастер сам обдумал, свою-де заветную идею вложил. Ну, вот-де и продукт получился на славу: свой, особенный, индивидуальный, неповторимый. А механизм и машина — что такое? Стандарт, трафарет, шаблон, обезличка. Ну, так вот я тебе, Алеша, и скажу... —

Тут Юрка от волнения даже встал и начал говорить с большим одушевлением и возбуждением, размахивая руками, так что я начинал уже бояться за посуду на столе. Но через несколько фраз он опять сел и стал говорить спокойнее, но все время с подъемом.

— Да, ну так вот я тебе сейчас и скажу. Стандарт? Шаблон? А жизнь — не стандарт, не шаблон? А рыба, которая из икры лезет миллионом, не стандарт? А комары, жуки, мошки и все прочее необозримое копошение жизни — не стандарт? А люди — я уж не буду брать клопов и вшей, собак или кошек, лошадей или коров, — а люди, думаешь, так уж здорово отличаются друг от друга? Ты думаешь, все эти миллионы или миллиарды людей, живущих и живших в прошлом людей, так уж действительно есть большое разнообразие? Ничего подобного. Едва заметные отличия! Совер-

шенно несущественные отличия! Жизнь тоже вырабатывает штампованный продукт, мало чем отличающийся от стандарта в машинном производстве. Самое большое отличие тут только то, что в этом производстве жизни 99 процентов брака; товарец-то слабенький, паршивенький, вредительский. В этом производстве столько же однообразия и трафаретности, сколько в машинном производстве. Да нет! Гораздо больше. Конечно, гораздо больше! Там ведь трафаретность законна и естественна. А ведь тут-то она — слабоумие, недомыслие, потуги на производство и бессилие для него. Жизнь хочет забить количеством. Но ведь это же бездарность! Мы в своем производстве боремся не только за количество, но и за качество. А жизнь думает, что если она создала весной миллионы мошек, то это и есть, что надо. А ведь миллиарды мошек ничего же не прибавляют принципиально к одной мошке. Это — только бездарная погоня за количеством, зависть к подлинному творчеству, беспрестанное выпрашивание отсрочки мораториев. Жизнь — это сплошное вымогательство отсрочек, бездарное затягивание того, что нужно сделать сразу, насилие над тем, что и является источником собственного существования. Человек бьется-бьется целую жизнь, мучится-мучится, работает-работает, убивается-убивается. А жизнь только путается у него в ногах, только, видите ли, органичности требует. А ведь все это — только пока есть человек самый. Сожрала человека, загубила человека, и — сама тут же подохла, как огонь живет только горячим материалом: нет материала, и — огонь потух, а есть материал, так огонь только и делает, что его пожирает. —

— Постой, постой... — взмолился я, ошарашенный словоизвержением у Юрки. — Постой, постой... Что ты тут наговорил?.. Я даже не сразу разберусь... Что ты говоришь? А? Ты про жизнь говоришь? Или — как? Что-то я... того...

Я действительно был ошарашен. Мысли, высказанные Юркой, впились в меня иголкой. Я чувствовал, что у меня бьется сердце как в жарко натопленной бане. Я не мог свести концы с концами; и — не знал, что говорить. Смесь сочувствия и несочувствия, восторга и возмущения от этого словесного потока волновали меня до глубины; и я чувствовал, как начинали у меня прыгать мускулы на лице.

— Я тебе просто говорю, — барабанил Юрка, отчеканивая, повидимому, давно продуманные мысли. — Я тебе просто говорю: жизнь — это слабоумие. —

Я ухватился хотя бы за эту одну мысль и начал возражать, не без труда собирая свои мысли.

— Постой, постой, — залепетал я. — Слабоумие? Это — тигр-то, лев-то, слон-то — слабоумие? Это роза, тюльпан, фиалка — слабоумие? Это Софокл, Гете, Пушкин — слабоумие? —

— Да я не об этом... — раздраженно перебил меня Юрка. — При чем тут Пушкин? Ну, пусть один Пушкин. Но ведь мошек-то миллиарды? Людишек-то тоже, небось, миллиарды? А разница-то между ними только, что у одного зуб со свистом, а у другого — на носу шишка? При чем тут Пушкин? —

Я стал собираться с духом, и полезли некоторые более складные аргументы.

— Знаешь, Юра, что я тебе скажу? — заговорил я по возможности рассудительным тоном. — Ты ошибаешься... Организм совершенно механизмам... Ведь механизм — что такое? Это — как на счете. Раз, два, и — все тут. А организм... совсем не то. Ведь вот сердце нельзя вынуть. Почему? Легкие нельзя вынуть, не убивши организма. Почему? А вот, золотко, потому, что в сердце, значит, весь организм сидит. В легких, значит, не часть организма, а весь организм сидит. Кабы здесь только часть бы, часть бы организма и погибла, а не весь организм. Значит, в сердце — весь организм, в легких — весь организм. Вынул сердце, и — весь организм на смарку. —

— Да сколько же у тебя организмов? — отвечал тот. — В сердце — организм, в легких — организм. А в голове, небось, тоже организм? А в желудке тоже, небось, весь организм? —

— А вот то-то и оно, — настаивал я. — Организм — один, а везде сидит, весь целиком. Это тебе не гайка какая-нибудь, не винтик, который взял, да отвернул, да другим заменил. Тут, брат, не смей отвинчивать: вся машина погибнет. —

— Ну, и чего ж тут хорошего? —

— А то хорошего, что все внутреннее здесь — вот оно, на ладони. Внутреннее, оно и есть тут все внешнее. Идея, форма, сущность, смысл, все это — хоть пальцем щупай. Вот оно, роднехонькое... Думаешь, внешнее. А оно тебе не тут-то было. Кабы внешнее, так взял бы, да и заменил. А вот оказывается, вовсе не внешнее. Телесное, физическое, пальцами щупать можно, а — не внешнее. Сама сущность пальцем тычется, носом нюхается, глазом видится. Ну, куда ж твой механизм? —

— А я тебе скажу вот что, — продолжал Юрка. — Пусть так. Это неважно. А вот ты что скажи. Волянка жизнь или не волянка? Сплошное мямление, барахтание, переминыние с ноги на ногу, косноязычие и бесконечный ряд запинок, задержек, ссылок на постепенность или это сила, могущество, идея, свет и обладание? —

— Ну, что ж такого? Жизнь меняется, вот и все. —

— Да не меняется жизнь, а просто она слабоумие. Ну, если ученик не скажет сразу, что пятью пять двадцать пять, а начнет думать, тереть себе лоб, потеть, чесать в затылке, требовать органичности и постепенности, косноязычно молотить всякий дряблый

вздор и, наконец, после целого часа усилий, догадок, воспоминаний, даст тебе ответ «двадцать четыре», то что ты скажешь о таком ученике? Или он просто глуп и невежа или, если он учился, то это — слабоумие. Ведь так? А почему же ты жизнь не называешь слабоумием, если она создает миллионы мошек и людишек и только после этого миллиона вдруг случайно захлестнет, и — появляется Пушкин, с тем, чтобы потом опять прошли десятилетия и столетия миллионов и миллиардов мошек-людишек, все это бездарное марево — чорт знает чего, какой-то бесконечной рыбьей икры, которая тут же и гибнет, не успевши как следует на свет-то появиться? —

-- Да, конечно, -- отвечал я. -- Это — другая сторона вопроса... —

— Это не другая сторона вопроса, — перебил меня Юрка, — а это и есть только одно, что тут важно. Слепота — вот настоящее имя для твоей жизни. Слепота — вот что такое организм. А механизм — это ясная мысль, прекрасная, простая, красивая и, главное, честная мысль, без ужимок, без кривляния, без буффонады, без грима и маскировки, без очковтирательства, без истерики и трагедии, без хлестаковщины и без хамства, без... —

— Да постой ты, фонтан красноречия, — перебил на этот раз уже я своего собеседника. -- Ты рисуешь картину органической жизни так, как будто бы она сознательно кого-то обманывала. Ведь ты пойми: если она кого и обманывает, то ведь только себя самое. Все эти твои запинки и моратории, все эти волюньки и очковтирательство, ведь это же все жизнь устраивает только самой же себе. Кому еще? А тогда это не обман. Это просто действительность такая... —

Я тут чуть было не сказал «естество такое», подобно своему старому учителю биологии Ивану Петровичу. И тут же сам понял, что говорю чужь.

-- Вот именно, вот именно, -- подтвердил мою мысль Юрка. — Вот именно, жизнь сама себя губит. А я тебе прямо скажу: жизнь — это и есть смерть. Сама же себя порождает, сама же себя и пожирает. Ни одно мгновение она не есть только жизнь. Каждое мгновение она есть и смерть... В моем организме каждое мгновение нарастает, наплывает, порождается новое, небывалое, молодое, сильное. Но в то же самое мгновение оно и уплывает, убывает, умирает, гибнет. Каждое мгновение организм впитывает в себя среду, где он живет, перерабатывает ее в себя, ассимилирует себе, превращает в себя. Но и в каждое мгновение он выталкивает из себя переработанные материалы, убивает, умерщвляет себя, гибнет ежесекундно. Только вот что-нибудь наступило в жизни, и — в тот же момент уходит, смывается, улепетывает. И все эти точки так плывут, что ни за одну схватиться нельзя. В

конце концов даже не поймешь, чего больше в организме, жизни или смерти. Ну, и после этого, чего же ты тут хорошего нашел? После этого, разве жизнь не есть хаос и неразбериха, разве она не есть вечная и смутная суматоха, разве она не есть истерика самого бытия, разве она не слабоумие, разве она не хлестаковщина, не...? —

Мне пришлось опять перебить приятеля. Но мысль его меня поразила. «Жизнь есть смерть», думал я, задумчиво постукивая вилкой о тарелку. Но где-то в тайниках души, где-то на затылке копошилась другая мысль: «А ведь смерть есть жизнь...» Но я решил не сдаваться и сказал:

— Юрка! Пусть твои точки плывут. Но ведь организм сам есть целое? —

— Да какая ж это целость, скажи на милость, — возопил тот, — если тут сплошные потемки? Ведь жизнь — это вечные сумерки смысла. В жизни никто никогда ничего не знает. Что знает один орган о другом? Ровно ничего не знает! Вот возьми общественную жизнь. Что это? Тысячи людей вокруг тебя. Каждый свою линию гнет. Что ты знаешь о других? Ничего не знаешь! Знаешь о каких-то двух-трех десятках человек, которые лично тебе известны и с тобой имеют дело в данный момент. А остальных полутора миллиардов живущих на земле ты же ведь ни черта не знаешь. Ну, там какие-то обычаи, законы, нравы... Что-то как будто общее и тебе известное. А ведь по сути дела и в этом ты ровно ничего реально не знаешь. А почему? А потому, что ты член общества, т. е. потому, что общество — организм и ты — его какой-то маленький орган. Раз организм, значит — крышка! Значит, слепота и слабоумие. Вот если бы общество было механизмом, а ты колесиком в нем, это бы совсем другое дело. А при теперешних условиях — только слепотой и пробавляйся. Суть жизни — в слепоте, в слабоумии, в том, что ничего дальше собственного носа не видно. Если бы было видно, — значит, был бы уже твердый закон происходящего. Значит, уже была бы необходимость. А это значит, что не было бы случайности, не было бы слепоты, не было бы глупости, вздорных обещаний, биения в грудь, истерики, не было бы канители и непрерывных сомнений, неразличимой волюнки, — словом, не было бы жизни, а был бы прекрасный, тонкий, глубокий, честный, благородный, простой и мудрый механизм! —

Тут во мне блеснула одна мысль.

— Юрка, негодяй, застонал я. — Да ты знаешь, что ты проповедуешь? Ты проповедуешь судьбу. Жизнь, по-твоему, это — судьба или предполагает судьбу. Раз все в жизни есть слепота, то откуда же и куда идет жизнь? Какой смысл в этих твоих волюнках и ужимках, во всех этих придириках, канители, хлестаковщине? Ведь смысла-то нет! Весь мир, вся вселенная есть жизнь. А ведь

больше-то ничего нет! А если ничего нет, — значит, жизнь-то есть судьба! Или ты мне давай такой же универсальный разум, такой же мировой и вселенский, как универсальна сама жизнь, или это — судьба! Жизнь и судьба — одно и то же! Сплошность, непрерывность жизни, ее самослитость и неразличимость, абсолютное и никогда не разъединимое тождество всего ее внутреннего и внешнего, когда внутреннее — телесно и осязаемо, а внешнее есть сам смысл и идея, — ведь это же все возможно только, когда есть судьба! Юрка! Вот до чего ты договорился! Ты только пойми. Все есть жизнь, и ничего кроме жизни нет. Но сама жизнь — слепота. Так что же получается? Значит, слепота всем управляет? Значит, если есть жизнь, то не с кого и совершенно нечего спрашивать о смысле! Раз в основе всего жизнь, значит в основе всего судьба! Кто только живет и больше ничего, тот самым своим бытием судьбу проповедует. Упиваться жизнью значит судьбой упиваться, судьбе служить, судьбу любить, значит судьбе поклоняться! —

— Ну, и что ж, — незаинтересованно отвечал Юрка. — А твоё благодушие лучше? Пусть уж лучше будет судьба! А, кроме того, у меня ещё механизм. —

— «Механизм», «механизм», — запальчиво передразнивал я. — Пустые это слова, вот что. Ведь твой механизм кто-то должен за ручку крутить! —

Юрка не сразу меня понял.

— Ведь механизм-то, небось, мастера для себя требует, механика? — злился я. — Ведь механизм потому-то и механизм, что он внутри пустой, мертвый. Как же он будет двигаться? Ведь часы-то надо завести! Ведь паровую машину надо затопить! Механизм, милый мой, это — поповщина! Дураков обманываете! Если мир — механизм, — значит, есть боженька, который этот механизм за ручку крутит. Потому-то и действует ваш механизм. —

Юрка промолчал.

Я продолжал:

— А судьбы я тоже не хочу! Слышишь, Юрий, судьбы я тоже не хочу! —

— Да что тебе судьба далась, — не без смущения говорил Юрка. — Можно и без судьбы... —

— Нет, нельзя без судьбы, — запальчиво напирал я. — Тебе нельзя без судьбы. С твоей концепцией жизни нельзя без судьбы. Механизм — ерунда. Ну, пусть вот это механизм. Значит, его за ручку крутит вон то. Ну, пусть и вон-то тоже механизм, — тогда его за ручку крутит ещё нечто третье. И т. д. и т. д. Одно из двух: или у тебя получится бесконечный ряд механизмов, движущих один другим, и последнего механизма так-таки и не будет, ибо если бы он был, то он либо уже сам от себя начинал движение и, следовательно, уже не был бы механизмом, либо от него надо

было бы идти еще в бесконечность других механизмов (что бессмысленно); или надо уже с самого начала не сводить бытие на механизм, а признать, что оно движет себя само же, т. е. является живым, т. е. что оно уже не механизм, а организм. Значит, от организма и жизни ты все равно не отвертись. Или признай, что ни черта не можешь объяснить с механизмом или признай, что все есть, — по крайней мере, в основе, — организм и жизнь. —

— Да это-то я давно признал, — сказал я ему. — Не ты должен защищать мне организм, а я должен его защищать против твоего упоения механизмом. —

— Я тоже организм не отрицаю, — отвечал Юрка. — Я только считаю его слабоумием. —

— А я считаю, что твое понимание организма и жизни требует судьбы, предполагает судьбу. А я этого не хочу. —

— А что ж такое «судьба»? Судьба будет почестнее и подобросовестнее всякого позитивиста, который врет, что все в природе объяснил и все в природе покорил, а смотришь, прыщик вскочил на носу у эдакого позитивиста, и — запнулся. Даже кометы никакой не надо, без мирового пожара дохнет. А еще «объяснил», «покорил» природу. Ха-ха!

— Не хочу я твоей судьбы, — напирал я, чувствуя у себя в душе какое-то право на это. — Я без судьбы обойдусь. —

— И подохнешь? —

— Да, подохну. Но меня нельзя победить. —

— Покорил природу? Человек — царь природы? Законы-де природы открыл? —

— Без законов! Нельзя меня победить! Жизнь не может меня погубить! Я сильнее жизни! Слышишь, Юрка, я сильнее жизни! Я понял жизнь. Вот ты же меня сам сейчас и научил. Нельзя меня победить! Я не умру. Слышишь, Юрка? Я не умру! Мое дело не умрет. Идея моя не умрет! —

Юрка ничего не понимал в той великой идее, которая пришла мне в голову во время разговора с ним, пришла по поводу его безотрадного изображения жизни. Да эта идея и мне самому в тот момент была неясна. Но я уже чуял ее могущество. Я чувствовал, как от нее крепились мускулы моего тела, как шире и свободнее дышала грудь и как хотелось чего-то трудного-трудного, большого-большого, великого-великого, как хотелось работать, действовать, стремиться и как переставала быть страшной и сама смерть. —

— Ничего не понимаю, — недоумевал приятель. — Что это вдруг за прыть? Что ты хочешь этим сказать? —

— Я хочу этим сказать, что ты прав в своем изображении жизни, но что твое изображение жизни есть преклонение перед судьбой, а я не боюсь судьбы. —

— Ну, и не бойся. А чего же ты орешь? —

— Я ору потому, что жизнь есть и судьба есть, а я не боюсь ни жизни, ни судьба! —

— Не понимаю, зачем тебе судьба. Ты, такой активный человек, и вдруг — какая-то судьба! Судьба — это значит бездействие, покой, пассивность, инерция. —

Меня взорвало.

— Ага, вот она где твоя философия! — уже буквально кричал я. — Вот она где твоя философия! Либо я действую, — тогда мне на все наплевать. Либо нельзя на все наплевать, — тогда конец моему действию, и я ложусь спать. Нет, брат, ты у меня живым не уйдешь сейчас из рук. Судьба — бездеятельность! А если судьба обрекает на деятельность? А? Не хочется? А если судьба тебя избрала героем, вождем, организатором, воителем? А? Попался? Если ты сам по своей воле действуешь, то что же, значит, судьба не может заставить тебя по твоей же воле действовать? Судьба — бездеятельность! Эх, ты, жалкая азиатчина! А я вот тебе говорю: да, жизнь есть, и судьба есть, а я не боюсь ничего. Я свободен! Я по своей воле действую. Я по своей воле умру. Умру не потому, что смерть пришла. А умру потому, что так хочу! И не самоубийство, а естественно так. И все-таки я этого хочу. Слышишь, Юрка? Жизнь есть смерть, сказал ты, и смерть есть жизнь. А я тебе скажу: жизнь есть судьба, и судьба есть жизнь. Свободная, вольная, радостная, веселая, бодрая, вечно юная жизнь моя — это и есть моя судьба! Я — кузнец своей свободы, я — повелитель моей судьбы. Я — судьба. Я — носитель судьбы. Судьба мыслит моей свободой. И я даже в смерти своей свободен от судьбы. Судьба сама освобождает меня от судьбы. Моя судьба — быть свободным от судьбы! —

Юрка в этом ничего не понимал. Способный, талантливый мальчик, много читавший и думавший, много учившийся, не смог понять моей новой идеи, осенившей меня во время разговора с ним. Правда, и я тогда смог выражать ее только довольно косноязычно и темновато.

Так мы с ним и расстались, ни в чем не убедивши друг друга, потому что скоро подоспели наши поезда, и разговор пришлось прекратить.

Но я вышел из-за этого стола обновленным, ободренным, утешенным. Новая идея преобразила меня. И Юрка был косвенно причиной этого. Правда, это не его идея. Это моя сокровенная идея, долго тлевшая во мне, незаметно для меня самого; и теперь, под влиянием Юркиных мыслей о жизни, она запылала во мне

ярким пламенем, и я с трудом мог формулировать отдельные и бесчисленные мысли, восстававшие из этого горячего пламени.

II

Вот она новая и простая идея: что именно живет? кто именно живет? Я убивался несправедливостью жизни, ее жестокой и беспросветной запутанностью, ее слепым и диким напором, сметающим все высокое и ценное. Но Юрка так ярко все это мне разрисовал, что я почувствовал тут настоящий тушик: если оставаться в самой жизни; если упиваться вопросами самой жизни и только жизни; если ничего не видеть сверх жизни, над жизнью; если не выйти за пределы непосредственно протекающей жизни, — мы оказываемся во власти судьбы, темной, слепой, беспросветной, жесточайшей, бесчеловечной, звериной судьбы, самого настоящего, самого буквального Рока, перед которым никто не имеет права на самостоятельность и на который взглянуть-то невозможно, ибо немекют уста и холодеет тело.

Надо стать выше жизни; надо возвыситься над этой, как говорил Юрка, липкой, вязкой, цепкой, тягучей, тестообразной стихией жизни; надо быть зрячим, а не слепым; надо действовать, а не быть объектом действия; надо строить жизнь, а не жить, чтобы жизнь только строила чорт знает что.

Знание — вот та великая сфера, вот та великая сила, которая стоит выше самой жизни и в которой сама жизнь находит свой смысл и свое оправдание. Знание — вот чего не хватает голой жизни, обнаженному процессу рождений и смертей, бессмысленному потоку жизненных порывов, всей это слепой стихии роста, питания и размножения. Знание — вот единство, что противится судьбе и что способно ее преодолеть. Знание — благородно, возвышенно, спокойно, бестрепетно. Знание — это единственная область, где нет истерики жизни, нервоза бытия, слабоумия животности. Знание — это бесстрашие, стойкость, героизм. Знание — это свобода. Кто знает мало, тот суетлив, пуглив, всего боится, от всего зависит. Кто знает мало зла, тот трепещет, страшится, ужасается, прячется. Но кто знает много зла, кто знает, что весь мир во зле, что вся жизнь есть катастрофа, тот спокоен, тому ничего не страшно, тот не хочет никуда прятаться, тот благоден.

Можно ли остановиться на жизни? Жизнь ведь, взятая сама по себе, — разве не путаница, разве не хаос, разве не отсутствие смысла? Чистый и беспримесный поток жизни — разве не издевательство над всем святым, разве не насилие над личностью, разве не сплошное коверканье естественно простых людских отношений,

именуемых обществом? Зачем, почему, на каком основании, для каких целей я родился? Я не хочу жить. А я вот родился. Разве я виноват, что я родился? Жизнь — трудна, тягостна: ребенком человек слаб, глуп, ничтожен, гибнет без призора и помощи; стариком человек — то же самое, и слаб, и глуп, и ничтожен, и гибнет без призора и помощи; а ведь детство и старость отнимают у иного целую половину жизни! Что же остается? Остается молодость и зрелый возраст? Но вычитите болезни, сон, подготовку к жизни; вычитите все задержки, неудачи, ошибки; вычитите из этой зрелой жизни все нежизненное, все помехи и преграды к жизни, все провалы. И вот для этого-то ничтожного остатка подлинной жизни я и родился? Для этих-то минут счастья, свободы, ласки, для этих-то ничтожных мгновений, промелькнувших в жизни и захлестнутых ею я и должен был целую жизнь есть, пить, спать, бороться за существование, находить средства для жизни, работать, изворачиваться, комбинировать, барахтаться? И выходит так, что я же и должен почему-то находить себе пищу и питье. Не я себя создал, не я придумал эту самую пищу и питье, — я-то сам, может быть, и вовсе не хочу жить, — так нет же: «Ага-а-а-а!» — слышу всеобщее ликование жизни: «Ты родился? Ага-а-а-а! Ну, так вот сам же теперь и борись за существование, сам же теперь и ищи себе еду и питье, сам же теперь и живи!» Позвольте, но я вовсе не участвовал в своем порождении. Как я могу отвечать за то, в чем я ни иоты не повинен? Почему я должен сам себе искать еду и питье, сам обогреваться, сам бороться за свое существование, которое — в таком-то виде! — совершенно не входило в мои планы? Разве после этого жизнь — не обман, не цинизм, не вымогательство? Разве после этого жизнь — не насилие? Когда человек рождается помимо своей воли, да еще — того и смотри — рождается больным, уродом, идиотом, — разве это не насилие над ним? А когда он хочет есть и пить и ему нечего есть и пить, разве не насилие, разве не вымогательство заставляя его во что бы то ни стало разыскивать себе еду и питье? Да мне это, может быть, скучно! Мне это, может быть, противно! Бороться за свое существование, — может быть, это, по-моему, глупо, пусто, бездарно, никому и в том числе мне самому ненужно, отвратительно! И, наконец, увенчание всей этой замечательной жизни — смерть — разве это не издевательство над человеком, разве это не вымогательство, не насилие? Все это есть слабоумие жизни. Но она все подстраивает так, что как будто бы я же и виноват во всем. Сделано так, что я же и хочу есть, я же и хочу пить, в то время как если бы я сам себя создавал, то, конечно, я бы уже принял все меры, чтобы этого безобразия не было, чтобы не винить человека в том и не обзывать его к тому, к чему он никакого отношения не имеет и не подстраивать дело так, что он же сам и должен

вылезать из ямы, куда его насильно поместили и даже без его ведома.

Вот как и только так можно рассуждать о жизни, оставаясь в пределах самой жизни. Вот так и рассуждал мой Юрка, когда хотел объяснить мне, что такое жизнь. И судите сами: разве он не прав? Если есть только жизнь, и больше ничего нет, — то только так и можно рассуждать. А я к этому прибавляю, — чтобы додумать весь вопрос до конца, — что жизнь есть судьба. Да, да! Жизнь как именно жизнь, жизнь, взятая сама по себе, жизнь как таковая, это есть самая нелепая, самая бессмысленная, самая слабоумная судьба, когда нет никого, кто был бы виноват, и в то же время решительно все виноваты. Жизнь создает себя, и жизнь сама же пожирает себя. Каждый ее момент есть порождение нового и тут же пожирание этого нового. Непрерывно, сволочь, сама себя порождает и тут же сама себя пожирает. Так ежемгновенно порождаются и отмирают клетки в организме, и остается организм. Так непрестанно нарождаются и отмирают самые организмы, и — остается их род. Так порождаются и отмирают их роды, и — остаются семьи, племена. И т. д. и т. д. И так как нет ничего кроме и сверх жизни, так как нет никого и ничего выходящего за пределы жизни, то жизнь, со всем своим роскошным древом бесконечных и, допустим, часто весьма интересных и притягательных организмов, оказывается просто бессмыслицей и больше ничего, просто вымогательством и насилием и больше ничего.

Долой, долой эту голую жизнь! Долой, прочь этот неутомимый, самоуверенный, напористый, не знающий никаких пределов процесс жизни! Давайте знание, давайте то, что выше жизни и охватывает ее самое, давайте смысл, давайте идею, давайте душу живую, ум живой! Давайте мыслить, рассуждать, расчленять, освещать! Долой потемки, отсутствие начал и концов, эту всемирную скуку самопорождения и самопожирания. Давайте науку! Давайте, наконец, человека! Жизнь, взятая в своем обнаженном процессе, нечеловечна, дочеловечна, бесчеловечна! Знания, понимания, мудрости — вот чего мы жаждем больше, чем бессмысленной животности!

Или жизнь — бессмыслица или знание выше жизни и мудрость выше животных функций. Или жизнь — судьба или жизнь мудрость! Но так как жизнь неуничтожима и неискоренима, то и жизнь, и судьба, и мудрость — одно и то же. Мудр тот, кто знает судьбу; а знает судьбу тот, кто знает жизнь; а знает жизнь тот, кто живет и мыслит.

Новые мысли, осенившие меня, не давали мне покою. Встреча с Юркой пробудила во мне ряд дремавших во мне идей, но все

еще далек был от последней ясности. Со дна души поднималась масса вопросов, разрешить которые быстро было невозможно. Одно мне было ясно: Юрка был прав в своей оценке жизни, и он довольно точно вскрывал самое понятие жизни; но он давал слишком непосредственную картину жизни, он брал жизнь как таковую, жизнь как жизнь, жизнь в изоляции от прочей действительности, а действительность есть ведь не только жизнь. Этим и объясняется то, что найдя в жизни бессмыслицу (а бессмыслица будет в любой области, если ее брать как таковую, в отрыве от целостной жизни и действительности), он бросился — в поисках смысла — к другой крайности и стал восхвалять механизм, в то время как он должен был бы восхвалять не механизм, а знание и мудрость, которые были бы выше и организма и механизма и которые бы показывали их происхождение на одном и том же древе бытия.

Это было мне совершенно ясно. Путь шел несомненно от жизни и знания. В знании успокаивается жизнь. Знанием разрешается противоречие жизни. К появлению знания стремится жизнь. Тоска и алкание жизни есть порыв к знанию, влечение к мудрости. Жизненное смятение есть тоска по знанию, вопль о недостигнутой или загубленной мудрости; жизненная борьба, жизненное самопорождение и самопожирание есть тайная любовь к мысли, к знанию, скрытая эротика мудрости. Жизнь хочет породить из себя мудрость. Вот-вот из нее должно выбиться великое знание, и — не рождается, не рождается. А не рождается потому, что знание есть разрешение противоречия жизни, и мудрость есть ставшая жизнь, внутренне пронизанная смыслом жизнь. Пока же становится жизнь, т. е. пока жизнь есть только жизнь, а не есть ставшее; все ее силы и весь ее смысл уходит здесь пока еще на это самополагание и самоуничтожение; тут еще нет сил остановиться и, остановившись, обозреть пройденный путь. А ведь только обозревши пройденный путь жизни, можно говорить о мудрости жизни. Итак, жизнь не есть мудрость, но она есть назревание мудрости, она есть восхождение к знанию, она вот-вот родит из себя великий смысл, но она не рождает и не рождает... Жизнь заряжена смыслом, она — вечная возможность мудрости, она — заряд, задаток, корень и семя мудрости, но не есть еще сама мудрость. Надо выйти из жизни, чтобы разрешить ее противоречие; надо, чтобы для тебя в известном смысле остановилась жизнь, чтобы она перестала ослеплять тебя своей жгучей непосредственностью; и только тогда она становится смыслом, знанием и мудростью.

Это-то стало мне теперь ясно. И тут для меня теперь никаких вопросов не возникало.

Но вот какой вопрос следовал за этим: а что же такое это знание по существу? Ведь до сих пор мне ясно только то, что знание есть разрешение противоречия жизни, т. е. выход из ее тупика. Но вот -- что же такое это знание? Что такое это знание по его содержанию, по его существу? Что дает эта мудрость, из чего она состоит, как ее получить, как ею овладеть, отличается ли она чем-нибудь от нашего обыкновенного знания из учебников?

Вот глубокий и бездонно глубокий вопрос, который теперь меня занимал. Мне уже были не страшны теперь ни Мишки с их мучительством животных, ни римские императоры с их кровожадной и сладострастной жестокостью. Я чувствовал, что это перестало быть для меня жупелом, и это уже не страшило, не беспокоило меня. Так было надо -- вот чему учило меня мое новое знание; и только редкими минутами появлялся в памяти проклятый Мишка в непрекрытой наготе своей «жизненности». Все это сглаживалось, утрясалось, успокаивалось. Я чувствовал в себе какую-то новую силу, некую внутреннюю мощь и тайное знание. Но я не знал, в чем заключается эта сила и мощь, и не мог подобрать подходящих слов для выражения этого хотя бы для себя самого.

Пожалуй, яснее прочего было то, что знание, к которому я пришел, не было знанием научным или исключительно научным.

Что такое знание научное? Это есть знание законов природы и общества. Зная закон, мы можем предсказать явление. Если у нас есть картина мира или какой-нибудь области его на данный день, то обладая законом этой области, мы можем сказать, какая картина его будет завтра. То ли это знание, к которому я пришел преодолевая противоречие жизни? Нет! Почему?

Знание законов природы не есть жизненное знание. Это -- царство рассудка, а не жизни. Законы природы требуют, чтобы все было неизменно, чтобы завтра было так же как и сегодня. А жизнь требует изменения. Жизнь неповторима. Вся жизнь и все стечение жизни в том и заключается, что ее нельзя повторить. В некоторых очень узких пределах ее можно сократить или продлить, но ее нельзя произвольно создать или повторить. Юркины вопросы как раз и относились к этой стороне жизни. Если бы в жизни господствовали такие законы, она была бы не жизнью, но механизмом. Жизнь же исторична, а не механична. Поэтому, если уже говорить о законах жизни, то вовсе не в смысле законов природы, вовсе не в смысле математических вычислений завтрашней картины мира на основании картины сегодняшней. Многим очень хотелось бы иметь такие формулы и законы, и многие (даже из незаурядных мыслителей) хотели бы таким простейшим и яснейшим путем преодолеть загадку жизни. Но это -- фикция и фантом. Это иллюзия -- думать свести законы жизни на законы

природы и знание жизни сводить на знание каких-то законов. Тогда получилось бы, что завтрашний день вытекал бы из сегодняшнего с механической необходимостью, тогда в жизни не было бы ничего творческого, нового, неожиданного, революционного; тогда было бы все известно и предопределено наперед; тогда жизнь превратилась бы в механизм, т. е. жизнь кончилась бы, и водворилась бы вечная смерть. На самом же деле жизнь есть, и жизнь есть нечто органическое и историческое, т. е. в ней не только рассудочная необходимость, но и синтез необходимости и случайности.

Я родился в такой-то день и час. Почему? По законам природы. Но ведь я же мог родиться и днем раньше или позже. И если бы это случилось, это случилось бы, конечно, только по законам природы. Я умру такого-то года, числа и в такой-то час. Почему? По законам природы. Но если я умру на год раньше или позже, то будет ли это по законам природы? Несомненно, это тоже будет по законам природы. Но в таком случае что же мне, собственно говоря, дают эти законы природы? Во время войны бомба попадает в жилой дом, и — одних она убивает, другие же спасаются. Но и погибающие погибли по законам природы, и спасшиеся спаслись тоже по законам природы. Что же тогда в этом деле объясняют законы природы?

Закон природы исходит из данного состояния мира. Вот, допустим, положение планет солнечной системы в такой-то момент такого-то. Исходя из этой картины солнечной системы, можно вычислить картину ее для другого момента. Но спрашивается: почему картина данного момента солнечной системы именно такова. Пусть наши формулы и законы дают возможность точно вывести завтрашнее положение светила из сегодняшнего. Но сегодняшнее-то почему именно такое, а не другое? Это, конечно, зависит от вчерашнего положения. Но почему вчерашнее-то положение именно такое, а не иное? Получается, что нам или надо идти в бесконечность с нашим сведением одного положения на другое, т. е. отказаться от объяснения, или признать, что этот закон природы не способен объяснить явление целиком, а объясняет только его связь с другими явлениями. Да еще неизвестно, почему именно тут такая связь, а не иная.

Таким образом, извольте признать без всякой дискуссии почему-то именно это, а не иное состояние мира для данного момента; и еще извольте признать без всякого преисловия почему-то именно эту связь моментов, а не иную; и еще извольте пасть ниц перед вечной неизменностью этой связи моментов, — вот тогда закон природы, формулирующий связь этих разных моментов времени, объяснит вам появление того или иного момента из ста-

рого. Однако, ясно, что это — слишком поверхностное объяснение.

Вода бывает жидкой на протяжении ста градусов по Цельсию. Это — вечный закон природы. Ну, а если нет никакой воды, — что тогда делается с вечностью этого закона? На луне же вот нет никакой воды. Ну, а если нет такой температуры? Если нет «нормального» давления? Законы метеорологии вечны. Ну, а на солнце они тоже вечны?

Да, наконец, самый-то закон не есть же некая демоническая сила, движущая данным, подпадающим под этот закон явлением. Что такое закон природы? Это только формула связей и отношений. Сам по себе взятый, он не есть какая-нибудь механическая или органическая сила и энергия, реально движущая вещами. Вещи движутся не благодаря законам, но законы реальны потому, что вещи движутся. Сначала дайте так или иначе движущиеся вещи, а потом я найду законы их движения. Ну, а если нет самих вещей и нет их движения? Тогда, очевидно, нет и законов. А если вещи есть и движение их есть, но вещи и движение их вдруг стали иным, не тем, что вчера? Очевидно, тогда ведь и сами законы этих вещей должны стать иными?

Механистическое естествознание есть проповедь судьбы, преклонение перед Роком. Почему я должен признать данную картину мира как единственно присмлемую для характеристики данного момента времени? Молчи! Почему существует такая, а не иная связь событий? Молчи! Почему эти законы должны быть вечными? Молчи! Меня сводят голько на свидетеля событий, совершающихся как-то, кем-то, где-то, для чего-то. Дают эту зуботычину — закон природы, и все! Какую-то обглоданную кость дают, и замолчи! Не твое, дескать, дело, когда ты родился. Ты-де дурак, если спрашивашь, когда и почему умрешь. Не научно, мол, рассуждаешь, если тебе законов природы мало. Невежа-де, обскурант, дескать. Интересоваться жизнью — не научно, некультурно. Но посудите же сами: я формулирую законы, но — чего? Того, что создается вовсе не законами, а только формулируется ими. Но чем же, чем же создается? Молчи! Так, позвольте же, господа ученые. Ведь это же проповедь судьбы. Механистические законы природы не только не противоречат судьбе, но требуют, предполагают понятие судьбы. Только когда есть действительность, кем-то и чем-то движимая (а кем и чем, наука считает ненаучным знать), тогда только и есть ваши законы. Значит, позади механистических законов природы кроется судьба. Она-то и крутит за ручку ту машинку вселенную, которую вы формулируете в законах. А когда, почему, где и для чего крутит она эту ручку, наука не знает.

Ясно, что законы природы есть только отражение реально данной картины природы. А почему реальная картина природы именно такова, этого никакие законы не объясняют. Можно ли после этого считать знание законов природы знанием жизни?

Нет, знание законов природы, да и вообще научное знание не есть жизненное знание! Это не та мудрость, которая есть разрешение жизненного противоречия и которая бы соответствовала человеку целиком. Нет, эта отвлеченность только и соответствует отвлеченной стороне человека, его рассудку, и ничего не говорит о жизни, никакой человеческой жизни не соответствует.

— Почему бомба разрушила мой дом и убила мою мать? —

— Потому, что она падала по законам механики, с которыми ты можешь познакомиться в учебниках. —

— Почему мой школьный товарищ упал в раствор извести и потерял на всю жизнь <зрение>? —

— Потому, что раствор извести разрушает сетчатую оболочку глаза. Вот тебе химические формулы. —

— Почему в деревне один мужичонка, желая отомстить другому, поджег у него дом, а сгорела вся деревня? —

— Потому, что в это время был сильный ветер, возникший благодаря передвижению таких-то масс воздуха в таком-то направлении. —

— Тпфу! —

Только одно и хочется сказать на это, или, вернее, только одно и хочется сделать в ответ на это, плюнуть:

— Тпфу!!! —

Науку надо знать. Наука — великое достижение. Без науки человек — зверь. Но мало одной отвлеченной науки! Мало одних мозгов! Есть еще сердце, легкие, желудок. Еще хочется дышать, еще надо есть и пить. Когда нападает разбойник, некогда мыслить и строить законы природы. Когда подыхаешь от болезни или от голода, одной наукой, без средств к существованию, не проживешь. Когда я мальчиком работал в качестве подмастерья у портного и этот портной меня нещадно и незаслуженно порол, то глупо было защищаться от этого наукой и знанием законов природы, хотя портной бил меня, несомненно, в полном согласии с законами природы; и кровавые полосы на моем теле от ремня возникали, несомненно, по всем правилам биологии и физиологии. У фашистов бомбы летят по законам механики, и у нас летят по тем же самым законам природы. Жизнь есть химический процесс; и, когда организм умирает, в нем происходят тоже химические процессы и по тем же самым общехимическим законам; и когда организм умер и уже разлагается, то в нем тоже происходят са-

* Добавлено по смыслу (А. А. Т-Г.).

мые обыкновенные химические процессы и не по каким-нибудь новым, а все по тем же самым обще-химическим законам, что и рост, и жизнь, и умирание живого организма. После этого — можно ли, предварительно не зная, что такое жизнь, определять жизнь как физико-химическое явление? Если жизнь и смерть есть одновременно физико-химический процесс, можно ли на основании только общих физико-химических законов судить о том, где жизнь и где смерть?

Нет, мудрость жизни не есть знание законов природы. Мудрыми бывали и бывают люди, никогда не учившиеся никаким законам природы и не имеющие равно никакого научного представления о том, что такое законы и что такое сама природа.

Человек есть личность, а законы природы безличны. Человек есть клетка в общественном организме, а законы природы рассудочные формулы.

— Когда на вас нападает разбойник, вы — что, наукой и законами природы будете заниматься или вы будете спасаться, путем ли вступления в борьбу, путем ли бегства или еще как? —

— Однако, — возражали мне, — чем лучше вы будете вооружены, тем вам легче будет бороться с разбойником. А чтобы быть хорошо вооруженным, надо знать законы природы. Как без механики вы сделаете револьвер? —

— Но я вовсе и не говорю, что знание законов природы не нужно или бесполезно. Я только говорю, что это не есть высшая мудрость жизни. —

— Хорошо. Но защищаться от разбойника надо? —

— Надо. —

— И револьвер пригодится? —

— И револьвер пригодится. —

— Но ведь для револьвера нужны инженеры и техники, т. е. наука и знание законов природы? —

— Да я вовсе не против этого. Я тогда и вас спрошу: а стрелять из револьвера надо? А прицеливаться — надо? Нажимать курок — надо? Не сам же револьвер будет вам стрелять. А знать, в кого стрелять надо? А сообразить, когда, где и как, а главное в кого именно стрелять надо? —

— Конечно, все это надо. Но револьвер сделан на основании научного знания законов природы. —

— Да, револьвер сделан на основании знания законов природы. Но пока револьвер не употреблен, он не есть нечто социальное. Он, конечно, есть нечто социальное уже потому, что он — продукт труда, продукт человеческого производства. Но как таковой, взятый вне всякого употребления, он еще не вошел в социальную жизнь. Только ставши в человеческих руках орудием для тех или иных, соответственных его назначению, целей, он выявил

свою социальную значимость. А это уже не законы природы. Общественная жизнь и творчество, социальная жизнь и борьба — это не мертвые и рассудочные законы природы. И знание жизни, ориентировка в ней, даже простое орудие стрельбы, не говоря о социальной жизни во всей ее ширине и глубине, уже не есть только мышление, уже не есть только знание законов природы! Это знание есть только теория. А где же практика? Необходима практика!

Да, практика необходима. Но какая практика? Мало и одной практики, если искать мудрость жизни.

Практика! Действие! Не познание, а действие, говорят. Не законы природы, но законы поведения! Мораль, нравственность, обязательства, долг, совесть — вот что иные подсовывали мне, когда я искал мудрость жизни. —

Нет! Невозможно! И это тоже — плохо, односторонне, отвлеченно, немудро, нежизненно. —

Я должен действовать. Спрашивается: для чего и для кого и до каких пор?

-- Ты должен действовать всегда. --

-- По почему? --

Человек — это действие. —

· Не хочу!

· Чего ты не хочешь? Человеком не хочешь быть?

Действовать не хочу! —

· Но ты должен действовать. —

-- А я не хочу. --

-- По тебя заставят.

-- Заставят — значит будут действовать другие, а не я. Я же буду только инструментом. ---

-- И это твой идеал? ---

-- Это моя свобода. —

Чтобы тебя били нагайкой? ---

-- Чтобы не соглашаться. —

-- На разумную работу, на активный труд, на свободное действие? —

--- Да. ---

-- Некультурность! --

· Да не хочу я. Понял? ---

· Ничего не хочу, ничего не желаю? ---

-- Да! ---

--- А жить ты тоже не хочешь? ---

- Это — мое дело. —
- Нет, брат, не увиливай. Жить ты тоже не хочешь? Говори! —
- Может быть, тоже не хочу. —
- Нет, не «может быть», а ты говори прямо. —
- Хочу или не хочу, а действовать ты меня не заставишь. Для кого? Для тебя? Но ты сегодня есть, а завтра тебя нет. Для себя? То же самое! Для будущих поколений? А мне какое дело до них, раз я умру?
- Жить ты хочешь? —
- Смотря как. Если вот так, как сейчас, то определенно не хочу. —
- Да не так, как сейчас, а вообще. —
- А что значит «вообще»? —
- Ну, жить несмотря на все условия и обстоятельства жизни. —
- «Несмотря» --- не хочу. Хочу только --- «смотря». ---
- Шкурник, дескать? —
- Свободный, а не раб. Вот что «дескать». —
- Но что же это за свобода, если ты ничего не хочешь делать, не хочешь действовать, не признаешь практику. Ну, пользу-то какую-нибудь ты признаешь? Людям-то хочешь ты пользы или нет? Себе самому, наконец, хочешь ты пользы или нет? —
- А ты знаешь, что такое польза? —
- Всякий знает, что такое польза. —
- А я вот не знаю. ---
- Врешь. Знаешь. --
- Не знаю. —
- Что тебе есть и пить надо, не знаешь? —
- Не знаю. —
- А зачем же ты ешь и пьешь? —
- А я почему знаю, зачем я ем и пью? —
- Тебе же хочется есть и пить? —
- Мало ли чего. Мне вот иногда по морде хочется дать. А ведь не даю же. —
- По морде не даешь, а ведь хлеб-то кушаешь. —
- Ну, и что ж тут умильного? —
- А то, что тебе это полезно, и ты знаешь об этой пользе и согласно такому знанию и кушаешь. —
- Вранье! Червяк ни черта не знает, а сосет воду всем телом. ---
- Значит, ему это полезно, а польза есть причина его действия. —
- Вранье! Бабочка летит на огонь — это тоже ей полезно? —

— Это ей приятно. Приятность, наслаждение, тоже может быть принципом действия, хотя, по-моему, это и дурной принцип. —

— Сколько же у тебя принципов действия? —

— Да дело вовсе не в количестве принципов действия, а дело в том, что вообще надо действовать. —

— Вот этого-то «надо» ты и не доказал. Ты все время указываешь на слепые факты: ешь, мол, да пьешь или живешь-де, а не умираешь. Ну, и что ж! Все это слепые факты. Так оно, действительно, есть. Но почему оно есть, почему оно так есть, а не иначе, и почему я должен именно так действовать, а не иначе, да и вообще почему я должен действовать, а не наплевать на все, — этого ты мне ничего не доказал. —

— Да наплевать на все — это тоже есть действие! —

— Я и не говорю, что я наплевал. Я только говорю, что никто не имеет никакого права заставить меня ни действовать, ни плевать. —

— Да совесть-то у тебя есть или нет? Совесть-то разве не заставляет тебя действовать? —

— Совесть у всех разная. —

— Одна. —

— Разная. —

— Одна. —

— Совесть, дружище, у всех разная. Потому-то драка и происходит. Оба дерутся, и оба по совести! —

— А все-таки истина одна. —

— А совесть тоже одна? —

— Ну, пусть совесть разная. Совесть может оказаться и затемненной. Но истина-то уже безусловно одна. —

— А кто знает истину? —

— Да вот хоть ты знаешь истину, что надо спать, если фактически ложишься спать. —

— Опять «фактически»! Да мало ли что происходит «фактически»! Фактически я тоже действую. А ведь весь вопрос в том, нужно ли действовать и ради чего, ради кого надо действовать и какой смысл действия. —

Вот разговор, из которого ясно во всяком случае одно: действие, деятельность, практика, даже моральные поступки и нравственная воля еще не есть мудрость жизни, которая стала бы выше судьбы. Еще надо откуда-то брать принципы действия; еще надо знать, как именно действовать, во имя чего действовать. Вот этого «во имя» и нет в самом волевом поступке. Кроме того, всякий волевой акт рано или поздно наталкивается на сопротивление. Наша деятельность часто прерывается, а в конце концов и просто кончается раз навсегда. И судьба водворится во всей

своей неумолимости, во всей неотвратимости. Смерть — критика всякого действия.

-- Ты действуешь? Хе-хе! Пока жив! А если не живешь? Хе-хе! --

Да. Судьба не преодолима моралью так же, как она не преодолима наукой. Мудрость жизни не захватывается внешней практикой человека так же, как она не сводима и на отвлеченные законы природы. Не этой мудрости жизни я ждал.

Особенно не по нутру была мне одна мудрость, которая, казалось бы на первый взгляд, по крайней мере по своему содержанию ближе всего подводила к переживаемому мною, но еще не формулированному новому. Это мудрость красоты, поэзии, музыки, искусства вообще.

Одно время мне казалось, что здесь я уже нашел якорь спасения. В самом деле, разве не мудрость это — все наши писатели, поэты, композиторы? Разве не мудрость это — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский? Какую же еще мудрость надо? Разве не нужно было всем этим писателям погрузиться глубоко-глубоко в содержание жизни и ее общих законов, разве не нужно было видеть тайные и при том глубочайшие основы жизни, чтобы создать все эти великие художественные образы?

Но и эта мудрость скоро обнаружила мне свою слабость. Я понял, что созерцание жизни, даже самое глубокое, никогда не способно заменить самой жизни. Я понял, что созерцание красоты, при видимой своей мудрости и глубине, слишком отдаляет нас от жизни, слишком изолирует нас, слишком делает нас бездельными. Я вовсе не стою на том, что мы обязательно и во что бы то ни стало должны бегать туда и сюда, непрерывно мыкаться и трепаться. Нет. Но созерцание красоты слишком изнеживает нас, слишком делает нежизненными, слишком балует нас. Созерцание красоты развращает нашу волю, расслабляет двигательные центры нашей души, усыпляет нашу энергию и погружает в сон, в какое-то чудное сновидение все наше внутреннее «я». После красоты и искусства мы просыпаемся к жизни, как после обильного пиршества, с большой головой, с глазами, как бы наполненными песком, с тяжестью в груди и сердце. В искусстве есть замечательный опиум, влекущий нас от жизненных задач и погружающий в прекрасные видения, за которыми следует, однако, тяжелое пробуждение и толпой встают нерешенные и только временно и насильственно отстраненные вопросы жизни.

Нет... Не то! Не это есть подлинная и настоящая мудрость жизни.

Где же она? И как ее назвать?

III.

В жизни, в морали, в красоте заложены семена мудрости жизни, но развиты в них односторонне. Прежде чем сказать, где мудрость, не нужно ли еще раз пересмотреть эти три области, но уже с новой точки зрения, с точки зрения их несамостоятельности и того частичного, что каждая из них вкладывает в мудрость жизни?

Наука есть знание общего. Знание единичного как только единичного, знание отдельного и случайного в его отдельности и случайности не есть знание. Это — слепое ощущение, слепое животное осязание -- неизвестно кем и неизвестно чего. Все частное, отдельное, случайное, текучее становится чем-то только в условиях своего общего значения. Вот чем богата наука, и вот без чего нет мудрости. Общее -- вот что освещает и осмысляет все частное, все частичное, все случайное, все уединенное и отъединенное. Общий закон, общий вывод или хотя бы какое-нибудь общее наблюдение — вот где знание и вот где начало преодоления смутного животного хаоса ощущений.

Но в том-то все и дело, что мудрость жизни не есть только знание. Она есть нечто общее, но она не есть только знание. В знании всегда есть какое-то противостояние познающего и познаваемого. Чтобы познать предмет, надо прежде всего не быть самим этим предметом. В дальнейшем, познавая, мы можем как угодно близко и внутренне с ним сливаться. Но чтобы было знание, надо сначала тому, кто познает, не быть тем самым, что он познает. Познание есть всегда разделение, отделение, противопоставление. Чтобы познать предмет, надо сравнить его с другими предметами; и для этого необходимо выйти за пределы этого предмета. Вращаясь только в пределах предмета, мы познаем только его детали, более или менее важные, но тем самым мы еще не познаем предмета как такового, предмета целиком. Итак, знание — разделение.

Но достаточно ли этого для мудрости жизни? Жизнь -- разве есть она познавательное разделение? Жизнь разве есть только познание? Жизнь — разве только противопоставление?

Жизнь есть жизнь — вот чего не понимают многие рассуждавшие на эту тему. Само познание есть только результат жизни. Само знание вызвано потребностями жизни. Не мы познаем, но сама действительность в нас познает самое себя. Не мы мыслим,

но само бытие нами мыслит самого себя. В конце концов, не мы и живем, но живет в нас общая мировая жизнь. Мы — только всплески на общем море бытия, только струи единого и всемирного потока, только волны неизмеримого океана вселенной. Что такое наше познание? Это — лишь отдельные цветы, листики, стволы, отдельные травинки на невместимом лугу обще-мировой жизни; и все это уходит в почву, в темные недра, питается в корнях своих бесформенным, скрытым от взора, неясным и мглистым.

Прежде чем быть разделению, должно быть единство. Прежде чем быть мышлению, должно быть само бытие. Прежде чем быть знанию, должна быть жизнь и действительность. Знание — сначала жизненный акт, а уже потом мыслительный, осязательный, вообще смысловой. Знание сначала выполняет жизненную, бытийную функцию, оно сначала есть струя самой жизни, продукт самой действительности; а уже потом оно есть разделение, различие и сопоставление. Знание есть знание общего; общее, жизнь, расчленивается в себе, и — продуктом-то этого расчленения и является знание.

Общее для знания — не внешнее; оно не есть то, что в нем может быть и может не быть. Оно в нем всегда есть. И оно не только всегда и обязательно есть. Оно есть в нем наиболее интимное, наиболее желанное, самое возжеленное. Жизнь как общее, как некая общая стихия есть самая сердцевина знания; она есть самая пуговина знания, его цель и смысл.

Люди, испорченные книгами, часто думают, что только вот это единичное и отдельное реально, что только вот эти изолированные чувственные вещи и есть настоящие. Такие вещи обычно называют реальными; их также называют конкретными. То, что можно пощупать или понюхать, это-де и есть реальное и конкретное.

Не такова жизнь. Жизнь всегда есть интимнейшее прикосновение как раз общего; это есть интимнейшее осуществление как раз не этого отдельного, частичного и раздробленного, но всегда — общего, всегда того, что очень далеко выходит за пределы каждой отдельной частности.

Возьмем элементарные формы жизни, возьмем жизнь биологическую, и — еще конкретнее, — жизнь пола. Весь животный мир (а частично и растительный) объят стихией пола. Везде в животном мире мужское стремится оплодотворить женское и женское стремится зачать и родить потомство. То безобразно, то прекрасно, то скрыто и загадочно, то явно и нахально, то умно, то глупо, то в виде непосредственного и безотчетного инстинкта, то сознательно, намеренно, размеренно и планомерно — везде и всегда, от рождения и до смерти животный организм (а, значит, и человеческий организм) пронизан этой неумолимой и деспотической

страстью порождать, и эта страсть — глубочайшая, интимнейшая, вожденнейшая, как бы ее ни расценивать, какие бы периоды подъема или упадка она ни проходила в организме и как бы ни наталкивалась она на то или иное сопротивление (физическое, моральное, социальное или иное). И что же? Это есть вождение общего. Это есть страсть утверждать свой род, утверждать себя не в своей отдельности, но в своей общности с родом. Это есть осуществление родовых заданий. Это род утверждает себя в организме. Это не что иное, как именно утверждаемость себя общим в отдельной особи. Животное творит волю общего, но в то же время это есть и его интимнейшее и вожденнейшее намерение. Человек весь опутан правилами морали и общности, законами науки и права, обычаями, традициями и «здравым смыслом». Но пол всегда был и остается в нем — то, что наиболее обще в нем и что в то же время наиболее интимно в нем, то, что есть результат какой-то родовой, абсолютно наиндивидуальной и, казалось бы, безличной воли, и что в то же время есть и его абсолютно личная, жизненно-насушная, нестерпимо повелительная воля, чувство, влечение и мысль, его личность, его неизбывное и прямо таки само о себе кричащее желание и страсть. Не индивидуум здесь живет, но род живет в индивидууме; и не индивидуум здесь противопоставляет себя роду и при таком противопоставлении входит с ним в общение, но самый индивидуум впервые появляется как функция и продукт рода, и род-то как раз и есть его подлинная и настоящая, его (пусть мы тут употребим излюбленные философские термины) подлинно реальная, подлинно конкретная и подлинно субстанциальная, подлинно жизненная жизнь.

Таково первое слово мудрости, желающей обнять жизнь и смерть, а не трусливо прятаться в отвлеченные «законы природы». Когда я мыслю и высказываю законы природы, — сам я мертв, и — только работает во мне моя голова, мой мозг, работает только рассудок. Но когда человек стремится порождать, он уже не мертв, и дело тут не в рассудке. Самый глупый и нерассудительный, самый безголовый и бестолковый знает, что такое пол и как можно рождать. И это — потому, что самая жизнь действует в нем, что это, наиболее общее и наиндивидуальное, максимально внеличное и безличное, и есть его личность, его самая интимная и насушная личность и жизнь. Наука и законы природы говорят об общем. Но — как они говорят! Они именно только говорят и говорят о чем-то. А жизнь не говорит, но живет, и если о чем говорит, то только о самой же себе. И, вернее, тут совсем нет никакого «о», никакого «относительно»; нет никакого сравнения и соотношения, а есть только она сама, единая и нераздельная жизнь, утверждающая сама себя в индивидуумах и составляющая их насушное и интимное достояние.

Каждый человек принадлежит роду. Каждый человек стремится обособиться, но для этого стремления есть предел, как есть предел вообще для обособления от естественной жизни. Можно механизировать жизнь, но механизм условен и существует только тогда, когда есть жизнь.

Можно не ходить, но пользоваться трамваями, метро, паровозами, велосипедами, автомобилями, самолетами. Но все же хотя бы и в трамвайный вагон надо войти естественным путем. Все же и самолетом должен кто-то управлять естественным, т. е. непосредственно-трудовым путем. Жизнь не может быть механизирована вся без исключения. Наоборот, в жизни доступно механизации решительно все, но только — кроме самой жизни, кроме самой субстанции жизни. То же и в общественных организациях.

Можно максимально устранить из общества всякую непосредственность, всякое простое и естественное отношение людей, но это не может превратиться только в один механизм. Государство механизует и обеспечивает многие процессы жизни, но не все. Покупая всякие входные билеты, получая те или иные дипломы или удостоверения, пользуясь паспортами и пропусками и т. д. и т. д., мы, конечно, делаем это только потому, что друг другу не верим, только потому, что всякий из нас может наврать о себе и наговорить о себе то, что к нему не относится. Этой опосредованностью и формализмом приходится государству заменять простые и естественные, непосредственные и наивные, доверчивые отношения между людьми. В самом деле, куда было бы проще для современного государства не иметь, например, милиции или полиции. Но без этого, конечно, не могла бы проходить городская жизнь, да и деревенская держится только тем, что для всякого преступника или хулигана есть управа если <не>* в данной деревне, то в каком-нибудь центре. И вот при всем том всякое формализирование человеческого общежития должно иметь свой предел. Человек все же остается человеком, как бы он ни опутан бесконечными внешними формами и принудительными обстоятельствами, вытекающими из самой природы человеческого общежития. Само человеческое общежитие, будучи естественным и непосредственным в своей основе, как бы оно ни формализировалось, всегда остается внутри себя именно таковым и тем самым сдерживает и ограничивает формализм и схематизацию человеческих отношений.

* <не> вставлено по смыслу. В рукописи его нет (А. А. Т-Г.).

Род, родство, родственные отношения — вот что останется с человеком всегда, как бы ни уходил человек в отвлеченные, рассудочные взаимоотношения. Предъявляя контролеру свой проездной билет, я выступаю не как непосредственный человек, Иван Иванович Иванов, но лишь как пассажир вообще (а сколько во мне всего кроме того, что я в данную минуту пассажир!); и контролер выступает здесь не как живая и непосредственная личность, но как безличное начало законности и порядка (а сколько же в нем всего другого кроме этого!). И все-таки, несмотря ни на что, и я и мой контролер остаемся живыми людьми и непосредственными личностями. Механизация и схематизация наших с ним отношений совершаются только на фоне живой жизни наших личностей; и в правильном государстве она не только не мешает живой жизни наших личностей, но должна помогать ей и облегчает ее.

Родовые, родственные отношения — это то, с чего начинается человеческое общежитие, это то, без чего оно не может начаться. Но разве существуют только одни родственные отношения как непосредственно живые? Исчерпывается этим естественное человеческое социальное сознание, или это и есть все?

Говорят, человек есть часть природы. Это — неправильно, потому что в человеке природа обязательно есть; а есть ли человек в природе, это — вопрос факта: в природе в то или иное время может и не быть человека. Чтобы было социальное, нужна природа. Но чтобы была природа, не обязательно социальное. Поэтому не человек есть часть природы, а природа есть часть человека. Потому, и род, если его понимать природно, т. е. чисто биологически, еще не есть весь человек. Это — момент в человеке, а не весь человек. Человек есть не только животный организм, но и социальное существо. Человек имеет не только физическое тело, но и личность. Человек не только вещь, но и дух, душа, личность, субъект, «я», сознание, самосознание. Куда деть человеку его собственное «я»? Это «я» нельзя уничтожить или растворить в процессах физико-химических или биологических. Это — элементарная социальная клетка великого социального организма, и одним биологическим родом тут всего не объяснишь.

Однако, самое интересное — это то, что и для личности, для «я», для сознания, для субъекта тоже есть свой род и свои родственные отношения. Тут тоже есть свои простые и естественные отношения, вытекающие из факта совместного происхождения на одной и той же почве, из одних и тех же корней, на одном и том же родительском лоне. Подобно тому как физический организм до поры, до времени есть одно неделимое целое с организмом, его порождающим, и все организмы вместе суть порождение одной и той же родной для них родовой стихии, точно так же и духовное «я» человека, точно так же и субъект его, его социальная лич-

ность порождается в той социальной атмосфере, которая ему родная; и точно так же до поры, до времени этот социальный атом неотделим от порождающей его родительской стихии, питается ею и возрастает от нее, и только впоследствии он физически отделяется от нее, продолжая быть внутренне и интимно с нею одним целым.

Каким именем назовем эту великую и страшную, эту всемогущую и родную для человека стихию, когда он чувствует себя не просто в физическом родстве с нею, а именно главным образом в духовном и социальном родстве с нею, когда он знает для себя такое общее, которое, несмотря на свою общность, содержит в себе бесконечное богатство индивидуального, когда это общее максимально внутренне для него, когда оно и есть он сам, в своей последней и интимной сущности?

Это есть Родина.

Сколько связано с этим именем всякого недоброжелательства, даже злобы, хуления, ненависти в прошлом! Водворились презрительные клички «квасной патриотизм», «ура-патриотизм», «казенный оптимизм» и пр. и пр. Это культурно-социальное вырождение шло рука об руку с философским слабоумием, не видевшим здесь величайшей категории человеческого разума вообще. По адресу Родины стояла в воздухе та же самая матерщина, что и по адресу всякой матери — в устах разложившейся и озлобленной шпаны. Но уже и сама матерщина имеет смысл только при уверенности в чистоте и святости материнства. Только исповедуя материнство как высочайшую святость и чистоту можно употреблять матерщину, т. е. мыслить осквернение матери. Что не чисто само по себе, того и нельзя осквернить. Оно уже и без того скверное. А осквернить можно только то, что чисто. Поэтому, чем больше слышно матерщины, тем больше люди верят в святость и чистоту материнства. И чем больше в прошлом люди не признавали Родины, тем больше это говорило об их собственном разложении, об их собственном социальном самоубийстве.

Всем этим «передовым» людям, стыдившимся говорить о Родине, соответствовала и философия, тоже всегда стыдившаяся таких конкретных вещей и видевшая научность только в отвлеченных рассудка. Философы говорили об «общем» и стремились к «обобщениям». Но что это за «общее», что это за «обобщение»? Законы природы и общества, законы субъекта и объекта — вовсе не есть реально-жизненное общее. Это — головное, рассудочное общее. Великие мыслители Нового времени доходили до больших обобщений, но ни в «мышлении» и «протяжении» Декарта, ни в монадах Лейбница, ни в боге Спинозы, ни в трансцендентальной апперцепции Канта, ни в абсолютном «Я» Фихте, ни в Мировом духе Гегеля нет этого родного, этого родственного, этого отцов-

ского и материнского начала, нет Родины. Это -- холодные, абстрактные истуканы рассудочной мысли, головные построения, которые не волнуют человека, не будят в нем жизненных сил и страстей, не зовут на борьбу, на бой, на жертву. Это -- головное общее, мыслительное общее; и это не то общее, откуда происходит реальный человек с своим человеческим телом и человеческой душой, откуда он родился, что есть его родительское лоно, что есть его Родина. Человек -- чужой всему этому; и трансцендентальная апперцепция как темная, злобная и свирепая тюрьма духа гноит человека, губит человека, безжалостно и по-звериному гложет его и -- умерщвляет его -- в одиночестве, в покинутости, в чудовищной изоляции ото всех, в застенке собственной субъективности.

Философы говорили не только об «общем». Философы говорили об «отношении субъекта к объекту», о «теории познания», даже о «происхождении человека». Но что же это за объект, что это за познание, что это за происхождение, если нет самого главного, нет отца и матери, от которых приходишь, если нет в познаваемом ничего тебе родного, если познание есть только ощущение или только мышление. Познание не есть отвлеченность. Познание не есть разрыв или раскол, не есть и объединение расколотого. Познание есть брак познающего с познаваемым. Познание есть любовь познающего к познаваемому, и любовь эта -- взаимная. Познание есть рождение в жизни, истине, порождение познающего с познаваемым такого третьего, в чем уже нельзя различить познающего и познаваемого, порождение той истины, которая уже не сводится ни на познающего, ни на познаваемое, а есть их чудное потомство, поднимающее родителей на новую и никогда раньше не бывшую высоту. Для кого познаваемое -- не родное, тот плохо познает или совсем не познает. Только любовь открывает очи и возвышает тайну познаваемого.

Родина есть общее, но не мыслительно, не логически только общее, а физически и социально общее. Родина есть не то общее, которое только формулировано в голове, занумеровано, проштемпелевано и зарегистрировано в науке. Родина есть то реальное общее, которое меня реально породило с моим человеческим телом и с моей человеческой душой. Это общее -- потому родное мне, родственное мне. Здесь мой отец и мать, не физически только, а для всего того, что во мне есть, и для личности моей отец и мать, и для социальности моей отец и мать, и для духовной жизни моей родители и воспитатели. Всякая философия, которая не питается учением о Родине, есть наивная и ненужная философия. Ее «обобщения» слишком узки и ничтожны; ее «познание» слишком нежизненно, ее «мир» и «бытие» -- пустота и тюрьма,

всезлобное иступление рассудка, безличное раскаяние живого духа на Голгофе собственного жалкого самообожествления.

В новом свете предстали мне ужасы жизни, которыми смущалась душа моя с детства. Нет никуда выхода из жизни, из ее кровавого и мутного сладострастия, если не осмыслить ее как жизнь моей Родины. Помните моего проклятого Мишку, с которым я дрался в детстве из-за собачонки? Этот Мишка — великая, несодолимая сила только для близорукого подхода, только для непосредственной оценки, когда действительно бессмысленная жестокость наполняет душу и заставляет драться за истину и правду. Мишка есть только одна ничтожная набежавшая волна на море жизни. Ужасы и кошмары жизни должны быть рассматриваемы и оцениваемы на фоне общей жизни. А общая жизнь есть наша Родина, есть то, что нас порождает и что нас принимает после смерти.

Не будем пока вспоминать о Мишке, хотя по смыслу речь наша только и пойдет о нем. Давайте говорить вообще.

Род порождает из себя индивидуума. Помимо рода нет индивидуума, но индивидуум гибнет. Индивидуум снова возвращается на лоно жизни, его породившей. Значит, жизнь. Но так как в жизни ничего нет кроме этих индивидуумов, то порождает из себя индивидуума, и сама же жизнь и поглощает в себя индивидуум. Жизнь, стало быть, есть вечное самопорождение и вечное самопоглощение, вечное созидание и вечное пожирание созданного. Не бессмыслица ли это? Не есть ли этот круговорот вечное обесценивание жизнью самой себя, вечное формирование самой себя, вечное и недостойное кувыркание, циркачество, клоунада?

Да, именно так рассуждал один из моих старинных приятелей, разговор с которым я выше привел; и именно к такой бессмыслице всякий должен прийти, у которого жизнь есть только жизнь и который никуда не хочет выходить за пределы жизни. После многих лет размышлений я уже так не думал. И вот что у меня получилось.

Жизнь, общая родовая жизнь порождает индивидуум. Но это значит только то, что в индивидууме нет ровно ничего, что не существовало бы в жизни рода. Жизнь индивидуумов — это и есть жизнь рода. Нельзя представлять себе дело так, что жизнь всего рода — это одно, а жизнь моя собственная — это другое. Тут одна и та же, совершенно единая и единственная жизнь. В человеке нет ничего, что было бы выше его рода. В нем-то и воплощается его род. Воля рода — сам человек, и воля отдельного

человека не отлична от воли его рода. Конечно, отдельный человек может стремиться всячески обособляться от общей жизни; но это может обозначать только то, что в данном случае приходит к распадению и разложению жизнь самого рода, разлагается сама жизнь данного типа или в данное время или в данном месте. Так или иначе, но всегда жизнь индивидуума есть не что иное, как жизнь самого рода; род — это и есть единственный фактор и агент, единственное начало, само себя утверждающее в различных индивидуумах.

Жизнь породила меня, но ведь это значит, что сам я породил себя. Ибо кто такое я сам? «Я сам» — это есть ведь сама жизнь, которая себя утвердила в одном каком-то виде, т. е. в виде меня. Никакого «меня самого» и нет помимо самой жизни. Не я живу, но жизнь живет во мне и, так сказать, живет мною. В то самое мгновение, когда меня порождает кто-то другой, в то же самое мгновение начинаю и я сам утверждать свое собственное бытие. Ребенок с момента первого зачатия в материнской утробе уже настолько же порождается другим началом, насколько порождает и сам себя. И это — один и единственный акт жизни — рождение меня кем-то другим и рождение меня мною же самим. В остальном и в дальнейшем моя жизнь идет не извне, вплоть до самой смерти. И живу я так, что это есть жизнь и моя и рода; и умираю я так, что это есть и результат жизни вообще и моей собственной. И умираю я, строго говоря, настолько же по своей воле, насколько и по воле общей жизни; и если мне не хочется умирать, то это значит, что жизни вообще не хочется умирать, что сам род, сама родовая жизнь не хочет во мне умирать. И если я все-таки умираю, то это значит только, что общая жизнь рода должна умереть, что смерть ей так же нужна, как и сама жизнь.

Но как назвать такую личную жизнь, такую жизнь индивидуума, когда человек рождается или умирает, растет или хиреет, здравствует или болеет, и все это есть только стихия обще-родовой жизни, когда это есть правильное, нормальное и естественное состояние мира, при котором всякая индивидуальная воля осмыслена лишь как общая воля, когда всё отдельное, изолированное, специфическое, личное, особенное утверждает себя только лишь на лоне целого, на лоне общей жизни, на лоне чего-то нужного, законного, нормального, сурового и неотвратимого, но своего, любимого, родного и родственного, на материнском лоне своей Родины?

Такая жизнь индивидуума есть жертва. Родина требует жертвы. Сама жизнь Родины — это и есть вечная жертва.

От самого понятия жертвы философы так же далеки, как и от понятия родины. Говорят о поведении, о действии, о моральных и неморальных поступках, наконец, даже о «любви к ближнему», но

в философии не принято говорить о жертве, несмотря на то, что вся человеческая и животная жизнь есть сплошная жертва, вольная или невольная, и несмотря на то, что единственный способ осмыслить бесконечные человеческие страдания — это понять их жертвенный смысл.

Жертва везде там, где смысл перестает быть отвлеченностью и где идя хочет, наконец, перейти в действительность. Только головные измышления нежертвенны. Малейшее прикосновение к жизни уже приближает к нам жертвенную возможность: человек рождается с тем или иным пороком, физическим или психическим. Что это такое? Это или нечто бессмысленное или жертва жизни. Человек происходит от преступных родителей, и мы часто привлекаем его к ответственности за грехи родителей. Что это такое? Это или бессмыслица или жертва. Да, наконец, самый факт рождения, или смерти, невольный для человека и часто отвергаемый и проклинаемый им, — что это такое, если это не сплошная бессмыслица? Это жертва. Я многие годы провел в заточении, гонении, удушении; и я, быть может, так и умру, никем не признанный и никому не нужный. Это жертва. Вся жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, от первого до последнего вздоха, на каждом шагу и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть жертва, жертва и жертва. Наша философия должна быть философией Родины и Жертвы, а не какой-то там отвлеченной, головной и никому не нужной «теорией познания» или «учением о бытии или материи».

В самом понятии и названии «жертва» слышится нечто возвышенное и волнующее, нечто облагораживающее и героическое. Это потому, что рождает нас не просто «бытие», не просто «материя», не просто «действительность» и «жизнь» — все это нечеловечно, надчеловечно, безлично и отвлеченно, — а рождает нас Родина, та мать и та семья, которые уже сами по себе достойны быть, достойны существования, которые уже сами по себе есть нечто великое и светлое, нечто святое и чистое. Веления этой Матери Родины непререкаемы. Жертвы для этой Матери Родины неотвратимы. Бессмысленна жертва какой-то безличной и слепой стихии рода. Но это и не есть жертва. Это — просто бессмыслица, ненужная и бесполовая суматоха рождений и смертей, скака и суэта вселенской, но в то же время бессмысленной животной утробы. Жертва же в честь и во славу Матери Родины сладка и духовна. Жертва эта и есть то самое, что единственно только и осмысливает жизнь. Преступления, жестокость, насилия, человеконенавистничество, все это ополчается на нас и на нашу Родину, но все это только и можно, только и нужно одолеть ради благоденствия Родины. Возмутиться отдельным преступным актом и вступить с ним в борьбу — мало. Это и всякое животное вступит

в борьбу за то, что считает принадлежащим себе. Нет, побороть противника не ради себя и не ради своей идеи, и даже не ради только ближнего, а ради самой Родины -- вот где подлинное осмысление всякой человеческой борьбы против зла.

То, что рождает человека и то, что поглощает его после его смерти, есть единственная опора и смысл его существования. Было время, когда этого человека не было; и будет время, когда его не станет. Он промелькнул в жизни, и часто даже слишком незаметно. В чем же смысл его жизни и смерти? Только в том общем, в чем он был каким-то переходным пунктом. Если бессмысленно и это общее, бессмысленна и вся жизнь человека. И если осмысленно оно, это общее, осмысленна и жизнь человека. Но общее не может не быть для нас осмысленно. Оно — наша Родина. Значит, жизнь и смерть наша — не пустая и бессмысленная, жалкая пустота и ничтожество, но — жертва. В жертве сразу дано и наше человеческое ничтожество и слабость и наше человеческое достоинство и сила. Гибнет моя жизнь, но растет и крепнет общая жизнь, поднимается и утверждается человеческое спасение; и страдания, слезы и отчаяние в прошлом залегают как нерушимый фундамент для будущей радости, а бессмыслица и тьма прожитой жизни отмирают и забываются как тяжелый и уже миновавший сон. Повторяю: или есть что-нибудь над нами родное, великое, светлое, общее для всех, интимно-интимно наше, внутреннейше наше, насущно и неизбежно наше, т. е. Родина, или — жизнь наша бессмысленна, страдания наши неискупаемы, и рыданию человеческому не предстоит никакого конца.

— Да позвольте! Что вы называете родиной? — спрашивал меня один инженер, с которым я разговаривал на эти темы.

— А вот в том-то и дело, что сейчас я не хочу определять это понятие, — сказал я совершенно твердо.

— Но тогда что же получается, — недоумевал тот. — Вы не хотите сказать нам, что такое родина, а сами так неестественно ее превозносите!

— Вот потому-то я и не хочу определять этого понятия, чтобы не сузить его, не умалить его. Ведь всякое определение по необходимости выделяет в определенном предмете только одну или только несколько сторон. А ведь во всяком предмете — бесконечное количество сторон. Это не значит, конечно, что определения не нужны. Но это значит, что всякое определение условно и не выражает существа предмета целиком.

— Но вы не указали даже некоторых сторон.

— Некоторые стороны указать легко. Но нельзя сводить на них весь предмет. А кроме того, я уже сказал, что не есть Родина. Она не есть только территория, она не есть только национальность, она не есть только социальная жизнь...

— Позвольте, позвольте, — перебил меня инженер. — Скажите сначала, что она есть, а потом будем говорить, что она не есть.

— Извольте. На первый случай и ради первого приближения для меня достаточно, что моя родина есть бесклассовое общество. Достаточно вам этого?

— Совсем недостаточно. Во-первых, никакого бесклассового общества не было, когда вы родились. А потом, я думаю, вы и умрете еще до появления бесклассового общества.

— А вот это-то и нужно! — говорил я. — Блажен, кто видел и уверовал; но трижды блажен тот, кто не видел и все же уверовал.

— Это для меня слишком заумно.

— А любовь всегда заумна. Вы так говорите потому, что бесклассовое общество действительно не есть для вас нечто родное. Вы родились в век жесточайшей эксплуатации человека человеком, в век звериной борьбы за существование. Вы привыкли к этому с детства. Для вас это нормально и естественно. И вы не хотите знать, что возможны еще и иные отношения между людьми. Вы не хотите знать, что человеку гораздо естественнее не убивать, не мучить, не насильничать, что это-то и есть его самое естественное состояние, что это-то и есть его первозданная природа, что это-то и есть его вожденная родина, его мать, его, наконец, бессознательное требование при всяком недобром событии в жизни.

— Это — философия! —

— Это — не философия, а это то, ради чего мы страдаем и за что боремся. Кто вместе с нами страдает и борется, тот и составляет нашу родину. Это и есть для нас родное.

— Но согласитесь, что вы непомерно расширяете понятие родины, — настаивал собеседник.

— А я вам уже сказал, что я вообще не хочу определять понятие родины; и поэтому не даю ни слишком широкого, ни слишком узкого определения. Родина есть родина. Я знаю, что это нечто большое, великое, всечеловеческое; я знаю, что это что-то прекрасное, желанное и возвышающее; я знаю, что, по крайней мере, бессознательно, если уж сознание-то не доросло, люди страдают и борются именно за это. Я знаю, что страдание и борьба и самая смерть для тех, кого это коснулось, только желанны, и они полны смысла, в то время как они совершенно бессмысленны для всяких отщепенцев и индивидуалов. И я мог бы еще очень много говорить о родине. Я мог бы о ней еще бесконечно говорить. Но следует ли это делать? В одном этом слове уже даны все возможные

и бесчисленные определения, все неисчерпаемое богатство возможных точек зрения и оттенков мысли. Если для вас это слово что-нибудь говорит, — тогда об этом можно говорить бесконечно; если для вас одно это слово само по себе, без всяких разъяснений, еще ровно ничего не говорит, — тогда сможешь ли делу логически, точными определениями? Тут не логика. Тут человеческая жизнь. Тут кровь человеческая. —

Мой инженер хлопал ушами и думал, как это люди из мухи делают слона и как это я убиваюсь из-за таких пустяков и занимаюсь безделием.

Пет, не с этими интеллигентшиками надо говорить о таких вещах. Не с этими сытыми, самодовольными, заевшимися людьми «науки», «техники», «искусства», «свободных профессий» надо обсуждать вопросы о Родине. Я продолжал рассуждать с собой наедине, пока не пришла война и пока я не стал получать подтверждения своим взглядам на каждом шагу.

Но эти разговоры показывали мне, что я еще сам для себя не все здесь продумал и что мои собственные давнишние искания и сомнения еще не нашли полного удовлетворения.

Еще два вопроса не было доведено у меня до последней ясности. Это — Родина и любовь бескорыстная, и третий вопрос — Родина, жизнь и судьба.

Разного рода писакки, испорченные дурными книгами, ниспроуничтоженной наукой, и обнаглевшей жизнью, учили нас о любви в бранных выражениях. Бескорыстная любовь всегда находила для себя осмеяние, презрение, издевательство у людей «науки», «культуры», «цивилизации». Какое это подлое вырожденство, какой духовный и социальный развал, какое ничтожество и слабоумие!

Да! Я буду говорить о любви бескорыстной и, прежде всего, о любви к своему родному, к тому, что создало меня и других, что примет меня после смерти, о любви к Родине. Любить только и можно бескорыстно. Да! Любить только и стоит идею. Любить только и нужно общее. Жалкое недомыслие — у тех, кто думает о какой-то иной любви. Самая животная, самая физическая, самая откровенно половая любовь вовсе не есть любовь только одного индивидуума к другому, только влечение одного организма к другому. Уже самое обыкновенное животное половое влечение есть влечение к каким-то новым порождениям; это влечение — к таинственной дали бесконечных воспроизведений жизни; это страсть к созиданию, к творчеству, к воплощению на себе общего рода, к

саморазмножению, к неустанному самоутверждению и самоповторению еще в ином и в ином, еще по-разному и по-новому, еще богаче, шире, глубже, сильнее, чем то, что есть в настоящее время. Любовь только и живет этим общим, только и стремится к этой бесконечной перспективе утверждения себя во всем или, по крайней мере, в некотором. В любви человек хочет стать как бы богом, порождая из себя и изводя из себя целый мир и зная его изнутри, зная его еще до его создания. И это уже самая животная, самая физическая, самая плотская любовь. В этом смысле даже и она бескорыстна. При видимом эгоизме даже и она всегда готова на жертвы, даже и она никогда не боится трудов и лишений; даже и эта любовь полна безумства самоотдания и самопожертвования.

Но что же сказать о любви чистой и ясной, о любви идейной, о любви к Родине? Она бескорыстна, но это потому, что и всякая любовь бескорыстна (или она не есть любовь). Она готова на жертвы, но это потому, что нет любви без жертвы и подвига, нет любви без самоотверженности и самоотречения. Любовь к Родине тоже мечтает войти в некую общую жизнь, в жизнь родного и народного, и раствориться там, найдя себя в этом саморастворении. Любовь к Родине открывает глаза человеку на то, что не видно ему обычно, что не видно никому чужому и что вызывает насмешку у равнодушных и сытых. Но такова любовь вообще. Любящий всегда видит в любимом больше, чем нежелающий; но прав — он, любящий, а не тот, равнодушный, ибо любовь есть познание. Отвратительно видеть и наблюдать сытое равнодушие вокруг великого предмета; и умилительное, волнующее, восторгающее чувство, когда видим подвиг и самоотречение ради великого и любимого. Но даже и не нужно любимому быть великим. Любят люди не за что-нибудь. Любовь не сделка, не договор, не корыстный обмен вещами, не юриспруденция. Любящий любит не потому, что любимое — высоко, велико, огромно. Родители любят детей и дети любят родителей не за высшие добродетели, а потому, что они друг другу родные. Благородный гражданин любит свою Родину также не за то, что она везде и всегда, во всем и непременно велика, высока, богата, прекрасна и пр. Нет. Мы знаем весь тернистый путь нашей страны; мы знаем многие и томительные годы борьбы, недостатка, страданий. Но для сына своей Родины все это — свое, неотъемлемое свое, родное; он с этим живет и с этим погибает; он и есть это самое, а это самое, родное и есть он сам. Пусть в тебе, Родина-Мать, много и слабого, больного, много немощного, неустроенного, безрадостного. Но и рублица твои созерцаем как родные себе. И миллионы жизней готовы отдаться за тебя, хотя бы ты была и в рублищах.

Раньше мы пришли к выводу, что нет осмысления жизни вообще, если нет осмысления того общего, чему служит жизнь, откуда она порождается и во что она погибает, ибо иначе — абсолютная бессмыслица и бессодержательное вечное повторение мимолетных жизней и пустая, тоскливая, тупая смена сплошных рождений и смертей. А теперь мы приходим к выводу, что нет осмысления и для каждой отдельной жизни, если она не водружена на лоне общего, если она не уходит корнями в это родное для нее общее, если не любит этого общего, т. е. если она не жертвует себя для этого общего, не отрекается от себя ради вождельной и сокровенной для всякого чужого взора Родины.

А отсюда и выход из того мучительного тупика, в котором пребывали мы, мучась загадкой судьбы. Разве не судьба, думали мы, то, что человек рождается и умирает? Разве не какая-то внешняя и страшная, а главное, безличная сила управляет человеческой жизнью, слепо терзая ее в разных направлениях и не давая человеку ровно никакого о себе знания? Да. Повторяем: если окунуться в жизнь с головой, если не видеть ничего кроме непосредственной жизни, если не становиться выше жизни, то жизнь есть судьба, самая буквальная и настоящая, самая мрачная, бессмысленная, безжалостная, всесокрушающая и неотвратимая судьба. Но все дело в том, что непосредственная жизнь не есть наша последняя действительность. Все дело в том, что сквозь неясные, мутные и едва различимые завесы жизни проступают строгие и вечные, но свои и родные лики родного и всеобщего. Сквозь трагедию сплошных рождений и смертей светится нечто родное и узорное, нечто детское, да и действительно детское, даже младенческое, то, ради чего стоит умирать и что осмысливает всякую смерть, которая иначе есть вопиющая бессмыслица.

Человек родился. Кто не видит дальше непосредственной жизни, тот обязан считать это действием судьбы. Но кто знает и любит то родное и всеобщее, что его породило, тот рад своему рождению, тот благодарит жизнь за свое рождение, тот считает свое рождение своим счастьем и своей волей, тот стремится выявить и выражает сознательно и вольно то, что ему жизнь дала до его сознания и без его воли.

Человек умирает. Тот, кто не видит ничего кроме жизни и кто ослеплен ее непосредственным явлением, тот переживает свою смерть как ужас, как трагедию, как бессмыслицу. Но тот, кто знает и любит то свое родное и всеобщее, которое его породило и теперь — со смертью — принимает его в свое лоно, тот считает свою смерть нужной и своевременной, тот рад жизненному труду, борьбе, страданиям и радостям, рад и тому, что так или иначе он выразил себя и выявил себя, так или иначе раскрыл, развернул свою природу, рад жизни и спокоен перед смертью, завершившей

положенный ему судьбою удел. Воля жизни есть воля человека, стремление рода и Родины есть и стремление отдельного человека, данность извне есть интимнейшее самоутверждение самого же отдельного человека: разве при таких условиях остается еще какое-нибудь место для судьбы, разве это не есть победа над судьбой, над жизнью и даже над смертью, разве это не есть победа над трагедией обще-человеческой жизни? Судьба — там, где непонятное и сильное, необозримое и могущественное врывается по неизвестным причинам в понятное, сознательно построенное, любимое и вообще человечески обозримое. Но тот, для кого общине основы жизни суть родные, для того, кто знает и любит свою Родину, все ее жизненные акты есть его собственные жизненные акты и ее необозримая и могущественная воля есть и его собственное интимнейшее вожделение. Где же тут место судьбе? Это есть победа над судьбой и презрение смерти.

— Вы умрете, и вы этому рады, — говорил мне тоже один интеллигентшишка. — Но ведь если вы умрете, то все равно ваша жизнь бессмысленна, и все равно судьба властвует над вами. —

— Нет! — отвечал я. — Я умру, но я останусь жить. —

— Хе-хе! Бессмертие, дескать, души? —

— Как хотите называйте. Вернее, бессмертие моего дела. —

— Но ведь дело-то умрет? —

— Нет, товарищ, не умрет. Именно не умрет. —

— Дело ваше умрет, раз вас не будет. —

— Физически меня не будет, а жизнь моя не умрет. —

— Но ведь она же растворится в обще-человеческом деле, в обще-человеческой жизни, и никто этого даже и не заметит. —

— Вы рассуждаете как эгоист, ото всего уединившийся и ничего не любящий. Кто любит, тот не умрет. —

— Ну, вы любите свое дело, но вы же, несомненно, умрете. —

— Нет, кто любит свое родное, тот не умрет, тот будет вечно в нем жить и вместе с ним жить. И этой радости, этой великой радости достаточно для того, чтобы быть спокойным перед смертью и не убиваться над потерями в жизни. Кто любит, тот умирает спокойно. У кого есть Родина, тот, умирая если не за нее, то хотя бы — только в ней, на ней, умирает всегда уютно, как бы ребенок засыпая в мягкой и теплой постельке, — хотя бы эта смерть была и в бою, хотя бы это и была смерть летчика, упавшего с километровой высоты на каменистую землю. Только Родина дает внутренний уют, ибо все родное — уютно, и только уют есть преодоление судьбы и смерти. —

Я когда-то убивался и изнывал, наблюдая звериную жестокость и кровавые страдания в животной и человеческой жизни. Но теперь я спокоен. Кто видел мало зла, тот хлопочет, суетится, срзает, ужасается и убивается. Но кто знает, что весь мир лежит

во зло, тот спокоен, ибо самая эта суета мира как лежащего во зло уже сама по себе предполагает, что мир не есть зло, что это его временное состояние, что существует истина и правда, превышая жизни и что каждому велено природой отдать свою дань и злу и добру. Не волнуют меня сейчас римские императоры. Но это — только потому, что жизнь выше их кровавого сладострастия; и это потому, что есть превышая, общечеловеческая Родина, которая есть твердыня добра и истины и которая может велеть вступить мне в смертный бой и с римскими и со всякими иными императорами. А знать веления Родины, своевременно их воспринимать — дело величайшей человеческой мудрости. Главное, что есть опора против бессмыслицы жизни, есть твердыня, превышая судьбы и есть внутренняя и несокрушимая цитадель презрения к смерти, есть любовь и жертва, есть подвиг и счастье самоотречения, есть в самоотречении для других и для Родины самое сокровенное и уже действительно несокрушимое самоутверждение, самопорождение.

Пока наша жизнь мятется и страдает, пока наша жизнь неустроена, полна злобы и насилия, пока мы умираем под пятой неведомой судьбы, — одно из двух: или жизнь, согласная с родным и всеобщим, с Родиной, и тогда она — самоотречение; или жизнь вне связи с родным и всеобщим, с Родиной, и тогда она — бессмыслица.

Необязательно, чтобы человек во что бы то ни стало умирал и жертвовал своей жизнью. Для этого должно быть особое веление Родины. Но и всякое страдание и труд на пользу Родины, и всякое лишение и тягость, переносимое во славу Родины, уже есть та или иная жертва, то или иное самоотречение, и осмысливается все это только в меру жертвенности.

IV.

— Товарищи! Коварный враг напал на нас исподтишка. Коварный враг под маской дружбы готовил на нас нападение. Уже наши города и села страдают от бомб. Уже пролилась кровь невинных людей, мирно строивших свою жизнь. Встанем на защиту Родины, отбросим врага, укрепим наши границы, защитим наших родных и близких. Смерть врагу! А если нужна и наша жизнь, то отдадим за Родину и нашу жизнь и умрем в честном бою! —

Такие слова услышал я 22 июня 1941 г. на летучем митинге от парторга одного учебного заведения в Полтаве, где меня случайно застала война.

— Товарищи! Проклятая тевтонская орда ворвалась в наши пределы. Мы захвачены врасплох. Пока люди поймают бешеную

собаку, сколько людей она перекушает и сколько еще причинит зла! Ловите бешеных собак! Товарищи, Родина призывает всех нас стать на защиту родной земли. Отложим наши житейские дела, теперь не до них. Еще вчера мы жили мирно и не ждали войны. Еще вчера так весело танцевала молодежь, так бодро шагали по городу старики, так дружно и беззаботно шла наша работа. Стар и млад теперь — на другую работу, на войну, против общего всем врага, на защиту оскорбленного отечества! Все для войны и фронта! Отечество наше в опасности! Теперь не время для личных дел. Отдадим все свои дела и себя самих на служение Родине... А если нам суждено погибнуть, то лучше смерть, чем рабство у врага! —

Так говорил какой-то человек на митинге перед вокзалом в Харькове в июле 1941 г., когда я пробирался из Полтавы в Москву.

— Никуда отсюда не уйду! Хотя расстреливайте меня, никуда отсюда не уйду, — истерически вопила молодая женщина с двумя детьми, одним — грудным и другим — четырехлетним, беженка из-под Львова, которая с трудом ворвалась в вагон, где был и я на какой-то мелкой станции между Харьковом и Москвой. Ее муж, военный, был взят в первые же часы войны, а сама она, бросив имущество и дом, с двумя детьми прошла полтораста километров пешком и потом попадала с одного поезда на другой, пока не очутилась на линии Курск — Орел, где, после нескольких суток ожидания и всяких страданий, наконец втиснулась в переполненный московский поезд, чтобы добраться к родственникам под Москвой. Проводник вагона ее не пускал, так как никаких билетов на этой станции никому не выдавалось. И вот она влезла силою и громко кричала и причитала.

— Рубите меня на куски, не уйду отсюда! Я десять дней голодная с двумя детьми. Я больше не могу сидеть на этой станции! Пустите, отстаньте от меня. Не уйду. Убивайте, не уйду. —

Ее стали успокаивать. В конце концов отстал и проводник. Ее усадили, дали поесть. Грудного положила она на скамью. Он был неподвижен, совершенно безмолвен и вполне мертвенного вида; и только иногда, очень редко слегка вздрагивал ручками и ножками. Четырехлетний стоял как скелет, желтого и синего цвета, рассеянно слушал крики и причитания матери и тупо смотрел в окно, находясь от него на большом расстоянии. И только единственной его реакцией было, когда в окне вагона показались жужжащие самолеты, это — то, что он задрожал и тихо пролепетал матери:

— Бомбить будут? —

— Это — наши, — сказала мать. —

— А наши будут бомбить? —

Тут все рассмеялись, и заулыбалась мать. Успокоившись, она рассказала свою историю, из которой мне многое запомнилось.

— Муж говорит: собирай детей и уходи, сейчас немец бомбить начнет. А я ему: куда я пойду? Я с тобой останусь. Бомбить, говорит, сейчас начнут, наступление идет, в плен, говорит, попадешь, убьют, замучат, говорит. А я ему: Но ты же вот останешься! А он мне: да я же военный, мне — приказ. Ну, что ж, что военный, говорю ему. Жили вместе и умрем вместе. Иди, говорит, времени не упускай. А я ему: и мне с тобой умереть хочется. Да детей-то, говорит, тебе не жалко? А я ему: и дети с нами умрут. Ну, говорит, ты с ума сошла, с тобой разговаривать нечего. И ушел. А через полчаса смотрю, грузовик подошел, и какой-то военный силком меня втащил в машину. Такой, говорит, приказ. А мужа-то и нет как нет. Посадили нас втроем, и хоть бы до железной дороги довели-то. А то провезли 50 километров и высадили. Куда хочешь, туда и иди. До железной дороги полтораста верст пешком прошли. Несколько ночей в лесу ночевали не евши. Да после этого еще вот по железной дороге целую неделю мыкаемся.

Потом она совсем успокоилась. И заговорила так.

— Жили вместе, и умирать надо вместе. Нашел, когда жалеть! Сам-то сейчас в бою, небось. Жив ли? А я тут чего мыкаюсь? Если бы все так вот пошли на немца, устрашился бы. А чего нас оттуда вывезли? Пошли бы мы все на врага, и — устрашился бы. Я ему говорю: Коля, и я с тобой умру. А он мне: дура, говорит, детей спасай; мне через полчаса выступать. А стояла-то наша часть у самой границы. Умру, говорю, с тобой. А он мне: дура, говорит, ты ничего не смыслишь; нельзя тут тебе быть. А я ему: жизнь свою хочу отдать, понял? А он мне: дура, говорит, езжай к отцу. А я ему: поп в церкви говорил, что никто же больше сея любви не имеет, да кто душу свою положит за други своя. А он мне: и поп твой такой же дурак; уходи, говорит, не смей оставаться. А я ему: что же, Коля, и жизни моей ты не хочешь! А он мне: жизнь для детей береги! А я ему: а дети-то мне на что, если немцу под сапог пойдем? А он мне: дура, говорит, дети вырастут, а ты их губишь, а я ему: все погибнем, а народ останется. А он мне: а что тебе народ, коли сама подохнешь? А я ему: жизнь хочу отдать. А он мне: дура, говорит. Я ему: жизнь мою возьми. А он мне: дура, говорит... —

Статьи и комментарии

Елена Тахо-Годи

«... Я ОСТАЮСЬ ПОЭТОМ И ХУДОЖНИКОМ В ДУШЕ»

Прежде чем обратиться к дневникам и письмам, публикуемым в этой книге, каждому необходимо вспомнить, что их автору от семнадцати до двадцати двух лет (более ранние — 1909 — и более поздние записи — 1918-1919, а также проза — 30-40-е гг. — здесь, в какой-то мере, логическое обрамление), что впервые перед нами предстает ранний Лосев, Лосев-юноша. И эта складывающаяся личность погружена в совершенно особую атмосферу — сущестную атмосферу начала XX века, с ее специфической «уплотненностью» во всем, не только во всей культуре — в искусстве, науке, религии, но и в самой жизни, с ее какой-то граничащей порой с истерией спешкой все пережить и все перевоплотить. Разразившись одна за другой катастрофы — сначала восшая, а затем революционная — очень скоро продемонстрировали, что какое-то странное предощущение конца мира в эти годы было не сводимо только к всплеску подобного рода переживаний при наступлении очередного «fin de siècle». И вот в эти предвоенные и предреволюционные годы, в этой «пограничной» ситуации юный Лосев формулирует основные тезисы, основные принципы своего отношения к миру. Грядущие катастрофы словно призваны были испытать на прочность то, что из себя представляет человек, насколько собственные его представления о себе и мире соответствуют реальности, насколько юношеские идеалы имеют отношение к действительной жизни, а слова — к делу. И всей своей долгой жизнью (а Лосев прожил почти девяносто пять лет), всем своим творчеством (а тут не одна сотня наименований) Лосев неуступно доказывал, что прежние его юношеские идеи-устремления,

предвидения и предчувствования были верны по своей сути и нуждаются не в переформулировке, а только в дальнейшей разработке и развитии.

Желающий увидеть в дневниках и письмах Лосева 1911-1915 гг. что-то вроде «живых картинок», как это часто бывает в такого рода вещах, вероятно будет до некоторой степени разочарован. Явных примет времени почти нет: вместо «звезд» символизма цитируются любимые классики — Жуковский, Пушкин, Тютчев, Баратынский, Лермонтов, Фет; громких имен очень немного; сравнительно редки и почти неразвернуты упоминания о концертах, музыкантах, Художественном театре; из «жанровых» страничек общественной жизни — несколько листов о «бегстве» в Каменскую из Берлина в начале Первой мировой; наверное, самые яркие. Но делать из всего этого вывод о том, что сама эпоха начала века прошла для Лосева бесследно, стороной, что ее «дух» не оказал на него никакого влияния, было бы большой ошибкой. В лосевских дневниках и письмах надо искать не мертвые «слепки» эпохи, а ее язык, свой, совершенно особый язык эпохи — язык символов, язык насквозь романтизированный и эстетизированный, полный пафоса и риторики, некоторой даже вычурности, претенциозности, обдуманности, рассчитанной изначально на тот или иной эффект, вплоть до эпатажа, сниженности, парадоксально совмещенной со всем этим изыском самоиронии, даже некоторой излишней самораскрытости, самообнаженности, граничащей порой почти с чем-то непристойно-пугающим и в то же время маниающим «ароматом греха» таинственным нечто, брезжущим сквозь внешние благоприличие и отрешенность от всего земного с каким-то неиссякаемым задором и дерзновенностью неутоленного хаоса, сжатого тисками беспощадного космоса. Сначала это проявляется чисто внешне, формально и как-то по-детски — вот откуда эти «словесные клейма эпохи», эти штампы — «голубые дали», «хладеющие руки», «дымка сумеречной грусти» и проч. Лосев просто еще недостаточно опытен, еще не всегда находит точное слово для выражения собственной, глубоко индивидуальной стихии жизни — слово для него еще «враг». И даже в 1914 г. он еще восклицает: «нет врага больше, как язык и сло-

во». Но постепенно язык начинает претворяться в плоть и кровь самого автора и тогда, если вспомнить выражение И. Бунина, «химия слов» невольно проявляет внутреннюю сущность человеческой души. Лосевские дневники и письма вполне наглядно свидетельствуют об этом. Язык очищается от всякой декоративной шелухи, если она не пережита и не выстрадана заново и глубоко лично, не оправдана собственным переживанием. И как очищается от лишнего язык, так очищается и портрет самого автора. С него, как в реставрационной, когда надо выявить изначально задуманный образ в его подлинной сущности, снимаются непужкие слои — и вот вместо пустой схемы, беллетризованного «отшельника» с «сумеречной наружностью», каковым он предстает в «этюде» «На Каме 1-2 июля 1912», появляется живой человек со всеми своими горестями и радостями, со своей философией «в духе Вагнера и Шопенгауэра, но с истинно христианским Богом и с молитвами». И при всем этом он все тот же «Моряк» и «Скиталец», одишюкий индивидуалист, символист и романтик, рефлексик и мистик, «искатель жемчуга», привыкший «жить не реальным, а опозитизированными чувствами».

Дневники и письма — это своеобразный «полигон», где проговариваются, впервые выговариваются, кристаллизируются, слова, а значит, приобретают определенную, строгую форму чувства и идеи. «Внутреннее» упорядочивается и систематизируется, выстраивается, получает логику, «бессознательное» осознается и эстетизируется, становится некоей «художественной формой».

Конечно, с какой бы внутренней целью не писались бы дневники и письма, жанр «помнит» свое прошлое, имеет свои традиции. И все же понятие «литературности» в данном случае только этим не исчерпывается. В дневниках и письмах Лосева «литературность» реализуется и как, если не сознательная, то, по крайней мере, полусознательная установка на иной взгляд, не внутренне полемизирующий, а буквально — читающий, скользкий по строчкам, которые выводит перо, т. е. установка на читателя, стоящего все время где-то рядом, тут, за спиной, невидимо, но ошутимо присутствующего. Отсюда определенная

сдержанность при внешней исповедальности, скрытый самоконтроль и явная борьба за искренность (при наличии оной, она вряд ли бы осознавалась как проблема), за предельную откровенность, за срывание всех и всяческих масок, особенно всяческих «самообманов» и «самогипнозов», демонстративное самобичевание и принижение вплоть до какого-то духовного экзгибиционизма, когда вдруг возникает потребность отдать вот это «тайное», «скрытое», «интимное» чужому взору, на прочтение. Вот он спрашивает Веру Знаменскую о том, какое впечатление произвело на нее то письмо, которым он был сам доволен. Он дает своему университетскому товарищу Попову для ознакомления свое письмо к Евгении Ангоновне, а самой Евгении Ангоновне предлагает: «посмотрите мои дневники». Ему, в действительности, незачем их прятать — все это «филологический рог изобилия», все это попытки из вихря только что пережитых чувств извлечь совершенно определенную пользу — сделать что-нибудь «для печати». Тут типичная литературная хватка, а не просто пристрастие студента Психологического института к психофизиологии. Артистическая жилка позволяет испытать целую гамму чувств, но и предлагает испытанный выход — перефразируя Лермонтова, «отделаться стихами». Литературная «лаборатория» все это сделает «закваской», всему найдет применение: выписка из газеты о пожаре в любимом театрике отзовется пожаром в лосевском «Театрале», размышления о случайных метеорах, освещающих жизнь, отразятся в «Метеоре», физиогномические штудии над портретами великой княжны Ольги Николаевны напомнят о себе в рассказе «Мне было 19 лет», когда его герой станет рассматривать фотографические снимки актрисы Потоцкой. Писание писем на сорока пяти (!) страницах, переписывание в дневник записей из записной книжки, копирование в дневнике писем — своих и чужих и т. п. — все это делается не только для личной памяти и никак не из пристрастия к фактографии. Ведь если разобраться, лосевские дневники и письма по сути своей лишены той строгой «летописности», когда, словно по правилам классицистической поэтики, непременно должна быть осуществлена триада — единство места, времени и действия. Лосевские дневники не

будничным ежедневник. Время и место у Лосева — что-то вроде номера, указывающего страницу в книге на полях, что-то вроде очередной ступеньки в лестнице восхождения вверх, туда, вперед, к заветной мечте, к самому себе — очищенному «от этого тела, с его желудком и похотью». Вот почему лосевские записи всегда больше воспоминания, а не механическая фиксация события — «когда я регистрирую эти чувства в дневнике, они уже не те и их трудно изобразить хотя сколько бы нибудь адекватно». Это всегда взгляд назад, вниз, с высоты настоящего, с высоты нового понимания. И имена «героинь» этих дневников и писем тоже не более, чем те же ступеньки лестницы познания — недаром все они у него «пронумерованы», недаром он сам признается: «в моих мечтах женщины повинны гораздо менее, чем мое, ну, если хотите, творческое “я”, а если не хотите, то весь уклад моей натуры». Потому-то все здесь происходит как бы вне времени и пространства, между небом и землей, как бы в Вечности и перед одним единственным Свидетелем. Важны тут не аксессуары и декорации, важно самое действие, заключающееся в самопознании души, в самоосуществлении идеи. И поэтому дневники и письма Лосева несводимы только к «филологической игре» — просто через словопознание в них осуществляется все то же постигновение себя и мира, «сознательный и бессознательный саморефлекс». Недаром он сравнивает свое стремление познать «природу и жизнь» с непрерывной «борьбой не на живот, а на смерть». Для Лосева главное — понять, чем вызвано то или иное явление, в чем его внутренний, глубинный смысл. А при таком подходе человек, по его же собственным словам, неизбежно «будет символистом — и в жизни, т. к. явления ее будут только символами высшей жизни (а конечно, женщины прежде всего), и в искусстве — по той же причине».

В одном из дневниковых трактатов — «Основные тезисы теории познания» — Лосев писал: «чтобы познать больше, я должен обратиться к познанию самого себя, к анализу фактов моего сознания». И это для него не сутобо теоретическое положение. Так, он анализирует причины, побудившие его обратиться к философии: «Не пояись этой страшной бездны между

наукой и религией, я никогда бы не оставил астрономии и физики, и не променял бы их на эти бесконечные философские изыскания». Так, он подмечает в себе умение без усталости трудиться: «Отнимите у меня талант, отнимите оригинальность исследований, но работоспособности у меня нельзя отнять». Он даже испытывает некоторое самоудовлетворение от «своей одинокой трудовой жизни», хотя его временами охватывает ощущение, что он создан вовсе не для науки, а «для важного дела воспитания и перевоспитания человека». Лосев не просто констатирует свою «впечатлительность» и «тонкую чувствительность», некоторую «созерцательность» своей природы, «сильно переживающей всякую мелочь», чуть ли не «мнительность», но пытается уловить «мелодию» собственной души, пытается определить, «как звучит моя душа». Видит он и свои гордость и самолюбие, весь свой индивидуализм, казалось бы несовместимый с его ностальгией по «спокойной, семейной жизни», по «теплому углу». С одной стороны, подобный разбор тех или иных впечатлений «по косточкам», сведение их «на субъективно обусловленные, чисто психологические процессы» доставляет ему удовольствие: «я, кажется, даже забавляюсь самим собой (...) делая вид, что я психологист». С другой, эта «забава» его печалит, потому что «углубляешься в себя, копаешься там, далеко и пишешь об этом копании» только тогда, «когда нет простора для жизни». Но, как он признается в письме от 8 ноября 1913 г. к Вере Знаменской, без этой вечной «возни с самим собой», «любованием самим собой», «игрой со своими переживаниями» невозможно было бы «все мое мировоззрение и, кажется, вся жизнь. Отсюда религия, ибо она построена на культе личности (отдание души своей за други своя невозможно же без создания этой души); отсюда и наука, т. к. только ценящий личность может отдавать жизнь на изучение того, что не приносит сейчас никакой осязательной помощи людям; отсюда и моя жизнь с ее бессонными ночами за книгами, с ее театрами, музыкой Бетховена и пр. Личность, личность, личность». О том, что иного пути для него нет, Лосев пишет в том же письме, обращенном к Знаменской: «Вспомните любое мое письмо, и в этом отношении характерны в особенности первые мои к Вам

письма, — сколько там искренности и неподдельного чувства, но... и сколько там «я», сколько всяких украшений, фраз, риторики! Не думайте, что я осуждаю свою риторику. Нет, при чувстве она законна. Я только хочу доказать Вам ссылкой на эту риторику, что жизнь моя сплошная идеализация всего на свете, сплошное украшение всего и самоукрашение, сплошной культ личности, эгоцентризма, самоанализа. И главное всего то, что это для меня предел, его же не преjdeши. Измениться не могу».

Но как бы там ни было, мысль познающего не может быть ограничена рамками одной собственной персоны, рано или поздно возникает потребность задуматься «о тех тайнах, которых не лишена и наша серая трамвайная жизнь, о тех экстазах и восторгах, которым есть место даже за этими незаметными, бессодержательными и бледными фигурами, лицами, словами». Чужая личность не только может «много способствовать (...) самоанализу», но и сама представляет интересный объект для наблюдения. Ведь в этом «мире разорванного пространства, мире опространственного времени, мире разъединенных душ» нет другого «более тонкого наслаждения, как то, которое создается радостью взаимного проникновения душ и даже... только одного устремления к нему, все равно, — осознанного или неосознанного». А из этого чувства постепенно возникает страстное стремление к познанию другой души, к уничтожению всяких «перегородок», отделяющих одну душу от другой; появляется желание заглянуть туда, в эту душу, определить ее «сокровенное ядро», «примерить» эту душу к своей собственной — та ли утерянная когда-то (по Платону) вторая половина своей собственной, своя ли она, родная ли, можно ли с ней слиться, раствориться в ней навсегда, можно ли возродиться в ней «двойной звездой на высоком небе» для новой жизни или это всего лишь случайный «метеор», а все твои надежды не более как чудесные фейерверки, которые осветили на мгновение твою одинокую жизнь и тут же гаснут, чтобы вокруг снова воцарился мрак бессмысленной обыденщины. Потому что, восклицает Лосев, «из этих четырех десятков женщин, согревших мое сердце, не больше десятка знало о том, что во мне фейерверк, и

уж совсем не знаю, понимал ли из этого десятка кто-нибудь вечную тоску мою по Ewige Weibliches». Но подобные неудачи не в силах положить предел вечной тяге к познанию, к «интимности». «Интимность» здесь понимается глубоко не тривиально. В ней нет ничего от мещанской интимности, с ее мелким практицизмом и грязью. Эта «интимность» чужда подобного сора, она боится его и чуждается, она избегает его и сторонится, она ненавидит его, презирает и готова вступить с ним «в смертный бой». Она по сути своей иное, она — касание тех «тайных миров», о которых напоминают во тьме бытия лишь случайные лучи, высвечивающие в непроницаемой мгле дивные образы добра и красоты. Остановить такое мгновение, продлить его до вечности и, таким образом, вновь узреть вечное, самую сущность Вечного и Пред-Вечного — вот к чему стремится такая «интимность», вот почему она требует любви, подвига, жертвы. В этой «интимности» — задача жизни, ее философия; в ней — «высший синтез как счастье и ведение». Перефразируя Флоренского, именно такой «интимностью» юный Лосев хочет «вскрыть онтологические, гносеологические и психофизиологические предпосылки этого всечеловеческого ощущения и самоощущения»¹ реальности как самого человечества, так и неотделимого от него бытия «миров иных». И для этого ему нужен «фундамент».

Таким «фундаментом» становится, по крайней мере, должна стать «Она» — идеальная девушка, отзывчивая и всепонимающая, невинная и чистая, светлая и окрыленная, девушка — дитя, невеста, Вечная Невеста, воплотившая в своей Вечной Женственности все тайны мироздания, всю его сущность. И тут невозможно, немислимо что-то мелкое, похотное. Оно просто кощунственно. Вот где проявляется резкое отличие Лосева от В. Розанова, ликующего от того, что даже дитяти, кажущемуся внешне абсолютно невинным, уже, по-видимому, ведомо то вечное горячее, плотяное, «дионисийское» знание — вспомните сцену игры с девочкой в «Мимолетном»! Как далек от этого Лосев в своем устремлении «"поощушать" милых, невинных девушек»; стать гимназическим учителем, чтобы наполнять

¹ Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2. — М., 1990. — с. 283.

чистые девичьи души высокими идеалами! Для Лосева возможен только «романтичный», «познавательный брак», тогда нет разницы — действительно ли перед тобой дитя или взрослая, замужняя, даже, может быть, имеющая детей, женщина. О реальном браке, земном, по земным законам устроенном, не мыслится или мыслится только гипотетически, потому что «делать жизнь так, как все, не читая вместе Фета, Гете, Шиллера, Вагнера, не вдохновляясь вместе Бетховеном, не исповедуясь вместе перед одним священником, не любя вместе православной древней Руси, которая еще теплится в Чудовом, в Успенском, у Иверской, не уметь вместе совместить Вагнера и славянофилов... нет, скучно будет жить с таким человеком, скучно и жутко думать о таком “вместе”, тогда и в одиночку я сделаю больше, чем вдвоем. (...) Ведь для такой любви нужен же с той стороны подвиг, а не опущение, нужна жертва, а не спектакль, нужно “иго Христово” и время Его, нужно опущение легкости этого бремени. Если не отнимет Господь разума, ни за какие блага не свяжу свою жизнь с чужой без этих родных, святых целей. (...) Это они заставляют искать и находить в древней Руси порывание к Невидимому Граду, в женщине — одяние духовного брака, в музыке — то первобытно-единое, которое, по слову Вагнера, существовало бы и тогда, если бы даже не было самого мира». Реальный брак допускается «теоретически» только как попытка земными, несовершенными средствами приблизиться к предопределенному изначально синтезу, утерянному когда-то — ведь «тайна любви в идее всеединства». Воссоединить разобщенное, «создать единую индивидуальность, о которой скорбит душа», восстановить целостность, разбитые скрижали, вновь выстроить «мост между небом и землей» (а ведь именно таков символ завета Бога с человечеством — ведь что же иное радуга завета как не мост между небом и землей?) — вот в чем смысл такой любви, вот отчего она находится в вечном томлении и поиске, вот отчего ее метания и сомнения. Неверно выбранная опора — и труд многих лет, надежда и цель всего твоего существования в одну минуту превращаются во прах. Установить мост — значит найти общее: общие мысли, чувства, общий язык. Вот почему каждая неудача в этом «строительстве»

переживается именно как словесный самогипноз. В «познавательном браке» общий язык, слово и есть любовь, и есть самоосуществление, и есть «этот мост между Я и не-Я»². В другом «Я» не терпится при этом никакой фальши. Требования искренности тут настолько жестоки, что, кажется, граничат с какой-то жестокостью и эгоизмом. Ни в коем случае не допускается схождение идеала с небес на землю; «предмет» от этого только теряет, начинает вызывать раздражение (негативная реакция на явление Веры Знаменской в Москве в Новый год хорошо демонстрирует это). От полной и окончательной гибели «предмет» спасает восстановление прежней «дистанции» — она как-то успокаивает, возвращает на свои места старые иллюзии. И тем не менее никакая «дистанция» не может помешать чуткому внутреннему слуху сразу определить степень неискренности, «литературности», «обдуманности» слов своего собеседника. Автор дневников и писем сам искоренял это в себе, сам боролся с этими недостатками, поэтому он легко узнает их в другом, ясно видит чужую «маску». И свое мимолетное увлечение лже-идеалом он не прощает ни себе, ни своему бывшему кумиру, потому что в этой «неискренности» таится не просто чужое, тупое, темное, земляное, мещанское, а нечто гораздо более страшное и опасное уже, так сказать, в метафизическом смысле — в ней кроется возможность «прелести». В этом случае непозволительно просто самоустраниться, отвернуться, не заметить. Напротив, предстоит собрать все силы и вступить с этим злом в беспощадный, смертный бой, не знающий никакой жалости. В бой с существом, еще вчера представлявшимся самой невинностью, чудом, явленным по воле свыше?.. Прочтите письма к Жене Гайдамович, особенно последнее письмо о гадюке «с литературными нежностями», о «проклятой сатане», когда-то показавшейся ангелом во плоти и которую теперь следовало бы убить. Прочтите «странный», почти «неприличный», на первый взгляд, рассказ «Мне было 19 лет...» Соблазн многообразен и многолик, он притягивает и завораживает под разными именами своей премирной, «чревной тайной», но все едино — и Потопкая на спине «тысячеголового чудовища» все та же апока-

² Флоренский П. А. У водоразделов мысли. — М., 1990. — с. 292.

лигическая блудница на звере багряном. Как же тут может быть место для каких-нибудь компромиссов? Ведьма должна быть убита, а в ее могилу надо вбить осиновый кол, чтобы она не встала вновь — как об этом говорит лосевский Вершинин в романе «Женщина-мыслитель». Неслучайно в лосевском рассказе «Мне было 19 лет...» в какие-то моменты возникают чисто фольклорные элементы: лес, избушка, полная странных гостей, хозяйка-оборотень (это же она гонится волчицей за героем), неслучайно, уничтожив все это зло, герой засыпает именно богатырским сном. Он, как и всякий богатырь, борется против нечистой, вражеской силы и этим спасает свою Родину.

Если обман не раскрыт, если ему в угоду, на его алтарь, принесены все прежние высокие мечты, то рано или поздно, судьба «страшной дамы в черном» поведет тебя, как героя «Театрала», пожертвовавшего своими высокими идеалами ради мелких родительских интересов, по совсем другому, «трясучему мостику» между двумя безднами, ввергнет тебя навечно «в бурю, в ненастье и в ночь». Для человека, внавшего в это «духовное вырождение», в «это универсальное мировое мещанство», вскоре начинает казаться, что и сама «жизнь бесчеловечно непонятна». Все вокруг него — «мелкое, злобное, кривое, болезненное, бессильное, мстительное, пустое, капризное, бездарное, глупое, придирчивое, вязкое и липкое, серое, тусклое, невыразительное, надоедливое, дотошное и тошнотворное, капризное, уродливое, беспомощное, и страдающее, гадкое, осклизлое, придушенное и духовно-мертвое, духовно-холодное, упорно-необщительное, гнилое, скользкое, топкое, неуловимое, манящее пустою призрачностью, какой-то вечный прибой и отбой холодной и методически-жестоким мелкой злобы». И, как герой «Театрала», человек начинает утверждать, что «эта капризная мелкота, эта копошащаяся слизь души, это отсутствие живой идеи и духовных замыслов, душевного размаха и простора, эта вечная сдавленность, скроченность, бессильная приниженность, полная беспомощность и ненужность творимых дел, эта духовная ограниченность и какая-то обворованность, пустота и скука, — все это есть жизнь» в ее подлинном виде. Для такого человека не только «уже отлетела душа вещей от самих вещей, и осталось

одно внешнее, безымянное, тупое и темное тело их», для него не только уже в мире «человека не существует», а во «всех сферах бытия, небесного, земного и преисподнего» сплошная обезьянья иерархия, но и сам мир для него перестал быть родным домом — «всякий “дом” как-то вдруг взял да и кончился». Жалким, беспомощным ничтожеством, не знающим своей Родины, становится он в вихре слепого Рока, который гонит его с места на место.

Так возникает актуальный и для лосевских дневниковых записей, и для его прозы вопрос о самой жизни, о ее смысле. Что такое человеческая жизнь — не есть ли она проявление законов «животной утробы», «сумерки смысла», «разве жизнь не есть хаос и неразбериха, разве она не есть вечная и смутная суматоха, разве она не есть истерика самого бытия, разве она не слабоумие, разве она не хлестаковщина, не...?» Как примириться с жизнью, если она, «взятая в своем обнаженном процессе, нечеловечна, дочеловечна, бесчеловечна»? Может быть, эту дилемму могут помочь разрешить наука, или мораль, или искусство? С этой надежды и начинается «переоценка ценностей», когда беспомощно рушатся одна за другой «цитадели» науки, морали, искусства. Так происходит прозрение у Алеши из повести «Жизнь». Постепенно ему становится понятно, что «научное знание не есть жизненное знание», что «это иллюзия думать свести законы жизни на законы природы», т. к. «человек есть личность, а законы природы безличны». Но не только отвлеченная наука с ее попытками «осмыслить жизнь и, главное, оправдать всю дикость и зверство, которыми эта жизнь наполнена», не удовлетворяет его, но и абстрактное морализирование, не согласованное с реальным поведением человека (разговор с Панкратычем). Осознает он и то, что «мудрость красоты, поэзии, музыки, искусства вообще» не есть жизненная мудрость потому, что «созерцание жизни (...) никогда не способно заменить самой жизни», «созерцание красоты» слишком отдаляет от нее. Искусство не преемляется не только потому, что после него следует «тяжелое пробуждение, и толпой встают нерешенные и только временно и насильно отстраненные вопросы жизни», но и потому, как говорит герой рассказа «Мне было 19 лет...», что

«это самое искусство питается этой гнусной дрянью, этой затейливой мерзостью бытийных низин, этой самопожирющей гадinou мировых закоулков». Вот почему актер — «сама неизменно клокочущая жизнь», вот откуда «его аморальная беспечность», вот почему Потоцкая «наиболее гениальна и наиболее развратна». Театр — это «святилище», эта «чудная храмина красоты и искусства», казалось бы не имеющая никакого отношения к мещанской серости бытия, вдруг обнаруживает странную общность с ней в фантазмагорических образах хвостатого дирижера, лающего оркестра, жалкого старикашки в комнате, полной гадин, мелькающих перед потрясенным Петей из «Театрала». Не выдержав подобного бытия, он не видит другого пути уничтожить зло, кроме как сжечь свой любимый театр. Однако гибель этого «последнего счастья и утешения жизни» не делает мир лучше и не облегчает петину судьбу, потому что с видимым злом он сжег и то невидимое, что когда-то было «милым, родным, интимным». Сжегший все свое прошлое, он уничтожил свою душу, свою Родину, лишил себя навсегда покоя, потому что «только Родина дает внутренний уют — ибо все родное — уютно».

Конечно, «мир лежит во зле», но ненависть и убийство не могут переделать жизнь, «установить какую-то другую естественность», которая «будет шире, благороднее, спокойнее, мудрее, человечнее, наконец», чем то, что человек видит вокруг себя. Надо не «сжигать самое дорогое» для тебя в жизни в угоду жизни, а самого себя приносить в жертву этому «самому дорогому», тогда и жизнь не будет бессмысленна и страшна, потому что «в жертве сразу дано и наше человеческое ничтожество и слабость, и наше человеческое достоинство и сила». Чтобы примириться с жизнью «надо побороть противника не ради себя и не ради своей идеи, и даже не ради только ближнего, а ради самой Родины — вот где подлинное осмысление всякой человеческой борьбы против зла». Надо помнить, что «непосредственная жизнь не есть наша последняя действительность», что цель жизни «есть восхождение к знанию», потому что только «в знании успокаивается жизнь, знанием разрешаются противоречия жизни». Все — «ужасы и кошмары жизни должны быть рас-

смастриваемы и оцениваемы на фоне общей жизни. А общая жизнь есть наша Родина, есть то, что нас порождает и что нас принимает после смерти». В этой трагической самоотреченности во имя Родины — вся жизнь, весь смысл, «единственный способ осмыслить бесконечные человеческие страдания». И лосевская повесть «Жизнь» именно об этой борьбе во имя Родины, отнюдь не земной, а той общей для всех Небесной Родине, о которой тоскует человеческая душа. «Наша философия, — выговаривает Лосев устами своего героя, — должна быть философией Родины и Жертвы», потому что жертва всегда там, «где смысл перестает быть отвлеченностью и где идея хочет, наконец, перейти в действительность».

Но как бы восемнадцатилетний Лосев не уверял себя и других, что «лучше страдание со смыслом, чем счастье без смысла», все же он еще слишком молод, чтобы не содрогаться внутренне от формулы — «мучительное наслаждение бытием», чтобы не вопрошать: «Неужели наша жизнь, или нет, не наша, а настоящая, немецкая, одна только осмысленная и достойная человека, неужели она будет этим обречением себя на смерть, этим отказом, самозабвенным отказом от всего земного и жизнерадостного и погружением себя в какой-то сладкий мрак, «и невыразимо-тоскливый» и «благовонный»?» И хотя вроде бы уже все решено и ясно, он еще на распутье: «Христос, светлый, очищающий, возвышающий и ... дионисизм, темный мучительно-сладкий, тянущий куда-то вниз, в мрак, в тоску... Что истина? Куда пойдет моя жизнь?» Еще не найден тот «фундамент», не выработаны «новые и совершенно оригинальные формы жизни, то соединение науки, философии и духовного брака, на которое мало у кого хватало пороку и почти даже не снилось никакому мещанству из современных ученых, философов, людей брачных и монахов»³. Еще слишком далеко до того момента, когда фраза из письма к Вере Знаменской: «Прочь от людей, в монастырь от Вас всех, в монастырь! Только бы сделать все, что требует долг человека и гражданина, и только сказать людям о

³ Из лагерного письма Лосева от 19 февр. 1932 г. к Валентине Михайловне Лосевой (Соколовой) // Лосев А. Ф. Жизнь: повести; рассказы. Письма. — СПб., 1933 — с. 375.

том, чем живешь и куда стремишься» — из риторической станет реальным фактом биографии⁴. Пока еще Лосев только созерцает и познает самого себя, смысл и предназначение собственной жизни, чтобы в час испытания твердо знать, «во имя чего действовать».

⁴ В 1929 г. 3 июня супруги Лосевы приняли тайный монашеский постриг под именами раннехристианских мучеников, тоже супругов, Андроника и Афанасия. Совершил постриг духовный отец Лосевых афонский архимандрит о. Давид.

В ПОИСКАХ ИНОГО ЦАРСТВА

1995 год — год возвращения, скорее обретения, рукописей Алексея Федоровича Лосева. Они вернулись из ФСБ. Вернулись из небытия. «Рукописи не горят!» Пожалуй, это не только поэтическое преувеличение. Конечно, тягостно: сидеть в читальном зале ФСБ и перелистывать страницы, давно уже преданные забвению и их автором, и образованной публикой. Можно при этом делать вид, что факт торжественной передачи рукописей, изъятых у Лосева при аресте, искупает вину «приложивших руки» к этому «делу», или, как заметил один священник, пойдет в зачет деятелям «безопасности» на Страшном суде.

Страсти по «возвращению» улеглись, рукописи легли на стол автора — великого русского философа А. Ф. Лосева. Лег туда и дневник — общая тетрадь в черном коленкоровом переплете. Этот дневник возвращает нас к юности философа, к его становлению в учебе, науке и личной жизни. Один из ярких периодов его биографии. И хотя дневник озаглавлен: «1914 год», события в нем описываемые возвращают нас как к прошлому, так и к 1918 году. Единое с этим дневником составляет переписка с Верой Знаменской.

Чтобы лучше понять мироощущение Алексея Лосева, обратимся к его раннему детству.

Итак, 23 сентября (н. с.) 1893 года в семье потомственного казака Федора Петровича Лосева и его жены, Натальи Алексеевны, дочери настоятеля храма Михаила Архангела, что в Новочеркасске, родился мальчик, которого нарекли при крещении Алексеем. Когда ребенку было три месяца, отец навсегда

оставил семью. Воспитанием и образованием сына занималась мать.

Здесь нам хотелось бы сделать одно отступление, важное, на наш взгляд, для понимания дальнейшей судьбы А. Ф. Лосева и его трудов. Воспользуемся монографией А. А. Горелова «История казаков»¹. Вот что он там в частности пишет: «Различия характеров казаков и массы русского народа крылись в их историческом прошлом. Казаки составляли часть русской государственности, они по праву могли называться русскими людьми, но они никогда не жили так, как русский народ, иначе говоря, не были в бытовых условиях русского крестьянства. Нет основания отрицать, что казаки в прошлом те же русские люди, но из-за наступившей исторической трагедии русского народа, попавшего под власть завоевателей, часть людей, выведенная из страны, принуждена была жить в совершенно обособленном положении, нежели весь народ. У казаков оказались утерянными общая бытовая связь и общественные навыки. Выходя из под власти завоевателей, казаки вынесли особые качества, имеющие вначале большую ценность для русских князей, а затем императоров, которые они старались не только хранить, но и всячески поддерживать. Казаки веками создавали свой быт на основе общих решений, и потому свобода для них была явлением естественным, нормальным, для осуществления которой не нужна была ломка общественного порядка, и ослепить их обещаниями свобод было невозможно».

Эта естественность свободной жизни, быт дома деда-священника не могли не затронуть юное сердце.

Сначала Алексея определили в школу, а затем в гимназию. «До пятого класса гимназии тоже учился как все, ни хорошо, ни плохо. Но в 4-м классе прочел всего Фламариона, который так увлек меня, что в 5-ом классе я решил во что бы то ни стало добиться успеха в занятиях и науке, и вот стал переходить с наградами»².

В 1911 году Лосев кончил гимназический курс с золотой медалью. Его сочинение: «Авторы помогают своим согражданам

¹ Горелов А. А. История казаков. М., 1993, с. 6.

² Письмо к Вере Знаменской от 9 окт. 1912 года.

лучше мыслить и говорить. Н. Карамзин» было признано лучшим в Харьковском Учебном округе, куда относилась и Новочеркасская гимназия.

Будучи гимназистом, Лосев брал уроки в частной школе итальянского скрипача-виртуоза Ф. Стаджи. Страсть к музыке перешла к нему от отца. Тот кончил в свое время Петербургскую придворную капеллу, как регент был отмечен не раз епархиальным начальством, а управляя сводным казачьим хором, высочайше пожалован бриллиантовым перстнем.

У этого Стаджи Лосев получил такое основательное музыкальное образование, что его хватило, чтобы стать впоследствии профессором Московской консерватории.

В круг интересов юного гимназиста входил театр, где «учились, черпали силу и бодрость», «отдыхали от повседневной пошлости и непереносного труда», театр, «воспитавший и вскормивший незрелую и младенческую мысль»³ (Дневник 21 августа 1914 года).

Ну и конечно же русская классика, современники-символисты, не говоря уже о древней литературе, античности, Платоне. «Не появись этой страшной бездны между наукой и религией, я никогда бы не оставил астрономии и физики», признавался Лосев⁴.

Но было еще одно имя, которому Лосев оставался верен всю свою жизнь. Это имя — Владимир Сергеевич Соловьев, с трудами которого он познакомился еще в гимназии. И вот что еще характерно сближает два этих имени. На склоне лет Лосев в своем поистине уникальном труде «Владимир Соловьев и его время» отмечает следующее: «В своем письме к Кате Романовой он [Вл. Соловьев — Г. З.] рассуждает не как 19-летний молодой человек, но как пожилой и умудренный жизнью философ, весь Вл. Соловьев выступает в этом письме в законченном виде, так что, строго говоря, *в принципиальном отношении* (курсив мой — Г. З.) позднейший Вл. Соловьев никуда дальше не пошел»⁵.

³ Далее, цитируя Дневник 1914 г., ссылаемся сокращенно — Дневник.

⁴ Письмо к В. Знаменской от 8 ноября 1911 года.

⁵ Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990, с. 14.

Сравним эти строки с тем, что записывает Лосев в своем дневнике 2 марта 1914 г.: «Стал стареть, конечно, не в смысле упадка сил — я чувствую в себе никогда не прекращающуюся энергию и с большой неохотой ложусь спать покоряясь необходимости; конечно не в смысле упадка чувства... Но стал несомненно стареть *для девиц*. Я и никогда не был для них ровней. А теперь и вовсе первая до последней смотрят на меня, как на старшего, как на дяденьку или учителя. Да я ведь и правда-то, только и знал все время, что проповедовал. А кому это приятно?.. Нет, тот у кого усы и борода, и кто любит Бетховена и Вагнера, тот уже не Алеша, а Алексей Федорович, несмотря на то, что этот А. Ф. в 20 лет *стал чувствовать более и более стал непосредственен, чем в 15 лет. Вот трагедия моей жизни*» (курсив мой — Г. З.).

Здесь начала трагического мироощущения Лосева, с которым мы не раз встретимся на страницах его дневника и переписки с Верой Знаменской — первыми главами его философской биографии.

В начале нашего очерка мы уже обратили внимание на особое, обособленное положение казачества в России, на его свободолобие, на его роль в охране рубежей, на крепкие традиции казачьего быта. Однако не следует преувеличивать его влияние на формирование личности Лосева с его тяготением к тому, что он называл «всеобщечеловеческими ценностями», к европейской культуре, в особенности немецкой, романтической. Провинциальный быт и уклад семейный начинал тяготить юную душу, столь высоко устремленную. Вот почему свидания с земляками, родными и матерью вызывали столь противоречивые «настроения» в его душе, начинали тяготить своей «мелкобуржуазностью», «самоварным настроением». «Я прямо-таки обязан уйти от жизни, которая способна только разменять силы и способности на мелкие затертые монеты», — пишет он в письме к Вере Знаменской от 11 дек. 1911 г.

Лосев рано почувствовал свое одиночество: «Один как палец, по выражению моих земляков-донцов»⁶, еще не отдавая себе отчета, что это одиночество гения. Недаром он обращается

⁶ Письмо к В. Знаменской, 8 ноября 1911 г.

к образам Байрона, Вагнера, философии Шопенгауэра: «Увлекает меня этот бурный океан, имя которому гений, который волнуется и свищет на собственном просторе, эта клубящаяся туманность, от века подвижная, от века величественная в своем движении и вращении... И несмотря на свою особенную божественную печать, он все-таки цель для нас, а уж подавно учитель», — записывает Лосев в своем дневнике от 2 марта 1914 года. За пламенным пафосом его речей против мещанства незримо присутствует и дух Фридриха Ницше с неприязнью к «человеческому», «легко утрачивающему стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции», от чего «разит чернью», «возможностью смешения»⁷.

Но Лосева трудно заподозрить в отвлеченности, поскольку любое мелкое событие жизни, ее физиогномика, тщательно и скрупулезно осмысливается «классифицируется», «локализуется», систематизируется, «нумеруется» автором Дневника.

Всему этому в немалой степени способствуют его университетские шпудии, занятия в библиотеке, экзаменационные проверки, работа в Психологическом институте Г. И. Челпанова, — все это расписано по часам, и не за скобками оказывается абонемент в Большой театр и концерты Кусевицкого. Главное, на что нам бы хотелось обратить внимание, — события жизни молодого человека имеют свой отсчет от круга церковного года, с событиями его соизмеряются и сопоставляются — прежде всего с Трагедией Страстной недели. Это в немалой степени способствует тому, что дневник становится исповедью и проповедью одновременно, что придает ему до некоторой степени стилистику, характер жития. Дневник Лосева — это законченное произведение, сочетающее в себе элементы эпистолярной выразительности, исповеди, философских тезисов — своего рода драма идей, высокая поэзия в контексте трагического времени России. В этом контексте была написана и работа старшего современника Лосева Е. Н. Трубецкого⁸. Обобщая интуиции русского фольклора в многообразии «сказочного опыта», Трубецкой

⁷ Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах М., 1990, том 2, с. 702.

⁸ Трубецкой Е. Н. Иное царство и его искатели в русской народной сказке. М., 1922 г.

приходит к выводам, во многом совпадающими с выводами Лосева как в его дневнике, так и в письмах к Вере Знаменской.

Итак, этот опыт выражается по Трубецкому следующим образом:

I. От бедности к богатству.

II. Воровской идеал сказки в роли социальной утопии.

III. Подъем в «иное царство» и дальний путь в запредельное.

IV. Тайна солидарности всей живой твари и ее открытие в сказке.

V. Искатели «иного царства». Богатырь и дурак в сказке.

VI. Женственные воплощения сказочной мудрости.

VII. Христианское в русской народной сказке.

Согласно Трубецкому, от душевного строя человека, его настроения и жизнепонимания зависит и различное понимание им бедности: бедности как скудости материальных средств и бедности как свойства всего вообще житейского. В зависимости от того, как переживается это горе и возникает идеал «иного царства», Трубецкой замечает также, что, согласно Платону, Эрос, рождающий красоту, есть дитя бедности и богатства. «Те избранные души, коими создаются высшие ценности сказочного творчества, не находят в серой обыденщине человеческой жизни ни подлинного добра, ни подлинного худа. Обыденная жизнь отталкивает их именно тем, что в ней все относительно, а потому самому все нудно и бесцветно»⁹.

Подобное умонастроение очень характерно для Лосева и неоднократно фиксируется на страницах дневника: «мысль о повседневности, туманной обыденщине, о серой жизни обывателя... Люди чего-то хотят, что-то делают. А все серовато, буднично. Мещанство. И жалко людей, этих мелких букашек, которые копошатся, строя на мгновение свои жилища, на одно мгновение становясь счастливыми...»

С этим умонастроением у Лосева тесно связано острое чувство одиночества и нищеты духовной (Дневник 16 марта). Он признается: «Вот уже третий год приезжаю в Каменскую усталый, оборванный, больной, без любви, без удачи в науке» (Дневник 23 июля). Научный труд его «непрестанный изнурительный,

⁹ Трубецкой Е. Н. Ук. соч., с. 6-7.

но мало ценимый»... «Вот и говорят, что никакой трансцендентальной стороны в нашем “я” нет. Глушцы, дети, мещане» (Дневник 23 июля). Мещанство сводит «всю идеальность к нулю» (Дневник 16 марта). «А я один все тоскую по ним, по их светлым душам» (Дневник 16 марта), — пишет Лосев о своих учениках.

Порывание же к иному царству характеризуется именно тем, что оно невозможно без любви. Телеология Лосева в том, что «искусство же и любовь без науки — порывание без осознания цели» (Дневник 16 февраля).

Естественно, для Лосева «иное царство» не есть идеал сытого довольства, к которому человек стремится при помощи «хитрой науки», о чем и говорит Трубецкой в главе «Воровской идеал. Сказка в роли социальной утопии». Там «воровство нравится само по себе как “художество”». «Как наука устройства личной жизни вся социальная утопия... окрашивается.. стремлением наесться и напиться вволю, там героем является солдат-дезертир и... экспроприатор».

Как параллель Трубецкой приводит немецкое сказание о Нибелунгах, где все воруют друг у друга золото Рейна, добавим, отрекшись от любви!

И горькое признание Лосева в письме к Вере Знаменской от 12 дек. 1912 года: «Родина, которую я так люблю и по которой тоскую в долгую ночь, гонит меня от себя — и чем же? — материальным обеспечением и нравственными муками. О, если бы это было наоборот — материальными муками и нравственным обеспечением!»

Иной раз скука и серость жизни, как замечает Трубецкой, толкает человека не только к свету, но и к тьме: «пойду поищу себе лихо». «Пришлось окунуться в эту страшную, беспросветную трагедию человеческой жизни» и быть «в густой атмосфере трагических изломов души человеческой». «Начинал чувствовать эту зияющую пропасть человеческих душ, но как-то пугливо старался отделаться от них» — записывает Лосев в своем дневнике от 2 марта о посещении Художественного театра, где давали «Николая Ставрогина».

Это ощущение «сумрака сонного», отказа «от всего земного и жизнерадостного и погружения себя в сладкий мрак», в «дионисийскую стихию мира» равнозначно для Лосева схождения «с обыкновенного ума». «У сошедшего с ума ведь главное то, что он действует как бы бессознательно; не отдает себе отчета в своих действиях и поступках», — записывает Лосев в своем дневнике 21 августа.

Эта «мистическая бездна» (по выражению Вагнера) поджидает человека на пути к «подъему и дальнему пути в запредельное».

И здесь, по нашему мнению, начинается то главное, что выражают страницы дневника Лосева, чем они буквально пронизаны, с первой и до последней, — именно те незримые лучи, пронизывающие серые будни одинокой души, и к ним, этим лучам, как выразителям иного царства, направлены воздыхания одинокой души юного Лосева.

Трубецкой пишет: «Есть одно неумирающее, всем векам и народам общее переживание мистического опыта, которое неизменно вызывается в нас закатом и восходом солнца. Это появление и исчезновение дня на нашем горизонте представляет собою напоминание о немерцающем дне за краем земли, за пределами видимого нами земного круга; в этой таинственной дали полнота света и полнота жизни сохраняется и тогда, когда все земное погружается во мрак ночной или окрашивается унылыми серыми тонами... область подлинного бытия и подлинной жизни суть естественные символические напоминания о какой-то запредельной славе, вечные возбудители восторженного настроения, духовного подъема»¹⁰.

Сравним у Лосева: «А солнце сейчас все заходит, все заходит эта красота, эта надежда на мир иной». «У Фламариона заход солнца — преддверие ночных звездных откровений». «... Я смотрю вместе с тобой на этот заход солнца. На нем встречаются наши взоры. Хочешь ли быть моею, хочешь ли дать мне свою красоту и возродить меня к жизни иной» (Дневник 17 июля).

¹⁰ Трубецкой Е. Н. ук. соч., с. 19.

Еще раз нам бы хотелось напомнить, что все события жизни соизмеряются Лосевым с годичным кругом православного богослужения и в особенности со Страстной Неделей и Пасхой, временем, которое, как он пишет, бывает «богатым у меня переживаниями». «Дивный момент появления крестного хода в храме при “и судим во гробах” только напомнил о той святости и безмятежности» (Дневник 17 апреля).

Тем не менее, как пишет Трубецкой, «взлет над действительностью приобретает великими тяжкими жертвами и всегда он оправдывает эти жертвы, ибо уносит человека в синюю лазурь от суеты, от бедности и скудости жизни»¹¹. «Ведь для такой любви нужен... подвиг, а не ощущение, нужна жертва, а не спектакль, нужно “иго христово” и бремя Его, нужно ощущение легкости этого бремени» (Дневник 7 октября). Но только так, в подвиге, человек приобретает мирообъемлющий взгляд. Это «жизнь о Господе Иисусе, которая зацветает в православной церкви столь грандиозными и величественными символами Страстной Недели. И все это не есть только радость. Все это есть основа всей нашей вообще разумной жизни, не просто радость, которая предполагает и свою противоположность — страдание, а то всемирное радование, которое онтологически характеризует бытие высочайшее, бытие вселенское и потому не допускающее в себе никакой реальной антитезы» (Дневник 22 марта 1915 г.).

В «эти дни проникновенных чувств высшей жизни во всякой даже мелкой черте» человек способен получить одно из величайших откровений о «тайне солидарности всей живой твари»¹², которое, как пишет Трубецкой, зарождается в человеке под впечатлением всеобщего разлада и раздора, царящего в мире.

В письме к Вере Знаменской Лосев так описывает это откровение: «Входя однажды в дом к одному студенту, я встретил на лестнице одну собачонку, смотревшую прямо в мои глаза. Я остановился и чуть было не заговорил с ней. Ведь в этом существе бьется жизнь, ведь и оно полно страшных тайн. Что говорят эти глаза, устремленные на Вас, как у разочарованного

¹¹ Там же, стр 22 - 23.

¹² Трубецкой Е. Н. ук. соч., с. 25.

человека, сохранившего, однако, нежность и знающего все наши напрасные земные вздыхания»¹³.

Замечательно, что с этим связана указанная все тем же Трубецким склонность видеть в животном оборотня, который томится в зверином образе до тех пор, пока не явится человек-освободитель, который его пожалеет. Однако, замечает Трубецкой, у человека тоже есть непрерывная и страшная возможность впасть в животное царство, и потому вся тварь вместе с человеком стремится прочь от темной бездны¹⁴.

Но хватит ли человеческих сил, даже самых богатырских, для достижения иного царства? Обычно самые могучие богатыри пасуют перед Иным, и на первый план выступает дурак или, возможно, в христианском понимании Юродивый. Здесь, как замечает Трубецкой, воплощается и то сократовское незнание, и тот образ, что выражен в немецком Парсифале. Но прежде всего это презрение к расчетам т. н. здравого смысла: «Ванюша, не хитер, не мудер, а куда смысловат». Здесь и тайна отрицательного определения иного царства через немощь, неведение и безумие. «Прочитал "Парсифала"... Да, это родные мне настроения, это мой Христос, успокаивающий и освещающий нашу жизнь. Христос, светлый, очищающий, возвышающий и... дионисизм, темный, мучительно-сладкий, тянущий куда-то вниз, в мрак, в тоску...» (Дневник 22 декабря).

«Полное преображение законов естества», как отмечает Трубецкой, невысказанно без женской мудрости, которая олицетворяется «Вещей невестой».

«Если не отнимет Господь разума, ни за какие блага не свяжу свою жизнь с чужой без этих родных, святых целей. Они мне родные, это к ним я стремился мальчишкой 4-го класса гимназии, когда плакал над Лизой Калитиной, когда снились мне чудные образы Рафаэля и Стеллы из Фламариона. Это они привлекли меня к философии в университете, к покрову Пречистой, покрывающих нас, немногих верных, сходящихся под праздник в Кремлевские соборы. Это они заставляют ис-

¹³ Письмо от 8 ноября 1913 г.

¹⁴ Трубецкой Е. Н. Ук. соч., с. 25-27; см. также Булгаков М. А. «Собаچه сердце» и Лосев А. Ф. «Диалектика мифа».

кать и находить в древней Руси порывания к Невидимому граду, в женщине — одеяние духовного брака, в музыке — то первобытно-единое, которое, по слову Вагнера, существовало бы и тогда, если бы даже не было самого мира» (Дневник 7 октября).

Только в «одеянии духовного брака» человек может достичь полноты и целостности жизни, а выражением этого союза является «высший синтез как счастье и ведение», достижение той полноты бытия, в которой уже нет никакой реальной антитезы — любви и религии, «бездны благодатных осенений» и «творческой текучести», где рождается, становится и падает чувство. Остается «вечное искание той Люси небесной», как записывает Лосев в дневнике 2 марта 1914 года.

Трубецкой замечает, что в этой «ненаглядной красоте» с «женихом» сочетается премудрость. Что это обручение с «Вещей невестой» совершается с глубоким сознанием «своей нищеты духовной»; ведь это обручение с воплощенными в едином образе высшей премудростью, красотой и властью. В противоположность «ненаглядной красоте» Трубецкой говорит и о старухе-ведьме. Не вдаваясь в подробности, стоит упомянуть лишь, что она способна «оборачиваться» красавицей и воплощать собой темный эротизм. В дневнике у Лосева есть приметы этого «проклятого “Ж”» в интерпретации О. Вейнингера.

Трагедия забвения «Вещей невесты» идет, как замечает Трубецкой, не со стороны магии, а подкарауливает женихов в области житейской, дома, на Святой Руси. «Потому что всякий поцелуй отца, матери, сестры, ребенка или кого-либо из домашних влечет за собой забвение Вещей невесты»¹⁵. Здесь, нам кажется, заключена очень глубокая интуиция. Она напоминает нам о христианском понимании Церкви — Невесты Христовой и о христианском же оставлении дома своего для «обручения» с нею.

Наиболее четко это узрение тайны любви и «Вещей невесты» выражено у Лосева в дневнике в «Тезисах гинекозофии»: «...Неизбежно, поэтому, личность, узревшая тайну любви, остается

¹⁵ Трубецкой Е. Н. Ук. соч., с. 40

мечтательной и для нее многое будет противоположно, чем непосвященным. Неизбежно это будет человек настроения».

А. А. Тахо-Годи

КОММЕНТАРИИ

«Высший синтез как счастье и ведение»

1. Рождественский Н. П. (1840-1882), профессор Санкт-Петербургской духовной Академии. Среди его книг «Религиозные воззрения Шеллинга». После его смерти была напечатана книга «Курсе основного богословия или христианская апологетика» (СПб., 1893). Лосев, ссылаясь на Рождественского, имеет в виду эту последнюю книгу.

2. Журнал «Вестник знания», который выписывал Лосев, как и журнал «Природа и люди», где печатались статьи Ив. Ив. Святского (1859-1898), переводчика книги Фламариона «Миры действительные и воображаемые», и Ш. Ришара.

3. О проф. Г. И. Челпанове подробно см. ниже в дневниковых записях.

4. «Счастлив, кто может познать причины вещей» (Вергилий, «Георгики» II 490).

5. Цитата из заключительного монолога Сони в пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» («Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах»).

6. Иерузалем В. (1854-1923) — профессор Венского Университета, представитель т. н. критического реализма. Стремился примирить науку и религию (см. «Критический реализм и чистая логика», 1905 г.).

7. См. ниже ссылку Лосева на работу Доделя «Моисей или Дарвин». Возможно, это А. Додель-Порт, профессор Цюрихского Университета, издатель популярных учебных пособий.

8. Орлов А. П. (р. 1879), богослов, профессор Московской духовной Академии по кафедре истории и западных вероисповеданий.

9. Гункель Г. (р. 1862), известный протестантский богослов. Профессор Берлинского Университета. Представитель религиозно-исторической школы.

10. Алексей И. Введенский (р. 1861) — профессор Московской духовной Академии по кафедре метафизики, автор нескольких десятков трудов, трактующих о происхождении религии, веры, связи философии и веры. Ему принадлежит книга «Психология веры».

11. Чичерин Б. Н. (1828-1904) — философ-гегельянец, историк и публицист, профессор права Московского Университета. Выступал против позитивизма, особенно в кн. «Положительная философия и единство науки» (М., 1892).

12. Тернер Ф. Г., богослов, печатавшийся в харьковском журнале «Вера и разум» в конце XIX в.

13. Вл. С. Соловьев (1853-1900), религиозный философ, публицист и поэт. Сын историка С. М. Соловьева. Боролся с позитивизмом. См. «Кризис западной философии (против позитивистов)», 1874 г. Ему принадлежит учение о положительном всеединстве и целом знании как синтезе философии, науки, теологи, позволяющем достичь Абсолютного и реализовать божественное начало в эмпирической жизни («Философские начала цельного знания», 1877, «Критика отвлеченных начал», 1880 — докторская диссертация Соловьева).

Лосеву принадлежит первая за все время после революции книга о любимом в юности философе: «Вл. Соловьев» М., 1983. После кончины Лосева был издан его большой труд «Владимир Соловьев и его время» М., 1990, где наряду с проблемами философскими, социальными и эстетическими дается подробный анализ соловьевского учения о Софии.

14. Гегель Г. В. (1779-1831), великий немецкий философ-диалектик. Книгу Гегеля «Философия религии» (Vorlesungen über die Philosophie der Religion) Лосев читал, видимо, по-немецки, т. к. на русском языке «Лекции по философии религии» (курс 1821-1831 гг.) в 2-х томах вышли впервые в 1975-1977 гг. Гегель обожествляет религию и философию, ибо «философия сама есть также богослужение, религия, ибо она по существу не что иное, как тот же отказ от субъективных домыслов и мнений в своем занятии Богом» (т. I, с. 220). Однако у философии и религии различные методы «занятия Богом».

15. Штраус Д. Ф. (1808-1874), немецкий философ-младогегельянец. Автор книги «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (тт. 1-2, Тюбинген, 1835-1836 гг., русский перевод 1907 г.), которая оказала влияние на антирелигиозную мысль. Штраус критиковал историческую достоверность Нового Завета, явившегося по его мнению литературным памятником эпохи. Христос мыслился им исторической личностью, евангелисты — писателями более позднего времени. Вся христианская мифология оказывалась у Штрауса продуктом духовной «субстанции» эпохи. Д. Штраус положил начало Тюбингенской школе протестантских теологов с их критикой Библейских текстов.

16. Фейербах Л. (1804-1972), немецкий философ материалистического и атеистического направления. Фейербах, в отличие от Гегеля, полагал несовместимыми философию и религию. Его сочинение «Мысли о смерти и бессмертии» направлено против веры в бессмертие души.

17. Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (160-220), раннехристианский богослов, апологет. Родился в языческой римской семье, но принял христианство. Критиковал языческую мифологию и религию. Стиль Тертуллиана отличается ораторским пафосом, изысканной риторикой, афористичностью, парадоксальностью.

Приведенные у Лосева слова: «верую, потому что невероятно» в контексте звучат так: «Сын Божий распят — это нестыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий — это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погубленный, воскрес — это несомненно, ибо невозможно» («О плоти Христа», пер. А. Столярова (в кн: Тертуллиан К. С. Ф. Избранные сочинения. Составление и общая редакция А. А. Столярова. М., 1994).

18. Ансельм (Анзельм) Кентерберийский (1033-1109), архиепископ, представитель средневековой схоластики. Отношение веры и знания выражено в его известном тезисе «верю, чтобы понимать».

19. Минто С. (1845-1893), английский писатель, автор «Учебника логики», переведенного на русский язык и широко распространенного.

20. О Фламарионе см. ниже в дневниках.

21. «Вера и разум» — богословско-философский журнал, издававшийся в Харькове с 1884 г.
22. Стеллецкий Н. С. (р. 1862), священник, духовный писатель.
23. Кант И. (1724-1804) в работе «Общая естественная история и теория неба» (1755) в полемике с Ньютоном дал объяснение закономерности движения планет, образованных из рассеянной материи, однако не сумел обосновать картину вращения околосолнечного пылевого облака. В конце 18 в. П. Лаплас (1749-1827) в приложении к книге «Изложение системы мира» (1795) выдвинул теорию происхождения солнечной системы из первичной туманности, медленно и равномерно вращавшейся.
24. Мультон Ф. Р. (р. 1870), американский астроном, специалист по небесной механике и космогонии. Кроме ученых трудов ему принадлежит ряд учебников, в том числе «Введение в астрономию» («An introduction to Astronomy»), 1906. Его книга «Эволюция солнечной системы» («On the evolution of the solar system»), о которой упоминает Лосев, вышла в 1904 г.
25. Дюбуа-Реймон Э. (1818-1896), немецкий физиолог, профессор берлинского университета, академик, представитель физического направления в физиологии, интересовался философскими проблемами («О границах познания природы», «Семь мировых загадок», 1898).
26. «Материю мы не знаем, но причины ее познаем» (лат.).
27. Слова (греч.) Апостола Павла (Послание к евреям 11, 3), к которым Лосев обращался не раз.
28. «Вера» (греч.).
29. «Ум» (греч.).
30. Кудрявцев В. Д. (Кудрявцев-Платонов, 1828-1891), философ и богослов, профессор Московской духовной Академии. Называл свое учение системой трансцендентального монизма, считая материю и дух просветлением высшей творческой причины, т. е. Бога.
31. Светлов П. Я. (р. 1861), протоиерей, выдающийся богослов, профессор Киевского Университета. Исследовал проблемы взаимоотношения философии и религии, веры и разума, богословия и светской науки.
32. О Вундте см. ниже в дневниках.
33. Гартвиг К. Э. (р. 1851), астроном, директор обсерватории в Бамберге. Занимался переменными звездами. Открыл в 1885 г. новую звезду в туманности Андромеды. Бенер А.Н., немецкий ученый. Его книга «Космос. Библия природы» издавалась на русском языке в 1870 г. и в 1876 г.
34. Ульрици Г. (1806-1884), немецкий философ, профессор в Галле.
35. Клейн Г. И. (р. 1841), немецкий астроном, известный своими популяраторскими трудами. Работа, на которую ссылается Лосев, вышла по-немецки в 1873 г.
36. Ришар Ш. (1711-1794), французский писатель-доминиканец, критик французских просветителей, казнен якобинцами.
37. Тареев М. М. (1866-1934), богослов и философ, профессор Московской духовной Академии, был близок к протестантизму, критически относился к синтезу церковно-религиозной сферы и мирской жизни.
38. Мальбранш Н. (1638-1715), французский философ, стремившийся сочетать философию с богословием. Знание для Мальбранша есть видение в Боге.
39. Гершель В. (1738-1822), знаменитый английский астроном. Открыл системы двойных и сложных звезд.

40. Бэкон Ф. (1561-1626), английский философ, автор «Нового Органона»¹, признавал Божественное Откровение равноправным источником знания.

Дневники 1911-1913 гг.

20 декабря 1911 г.

1. А. Ф. Лосев ежегодно проводил лето у своих родственников в станции (уездном городе) Области Войска Донского (О. В. Д.) Каменской, у тетки (сестры матери) Марфы Алексеевны и ее мужа протоиерея о. Стефана Власова. После поступления в Университет мать А. Ф. Наталья Алексеевна (дочь настоятеля храма Михаила Архангела о. Алексея Полякова) продала собственный дом в Новочеркасске и переехала к сестре. Деньги были необходимы для учебы сына в Университете.

2. Автор дневника вспоминает девушек-гимназисток, к которым питал нежные чувства (о чем они часто даже и не подозревали). Здесь вспоминаются Вера Фролова, дочь директора гимназии Федора Карповича Фролова, Ольга Позднеева, сестра друзей А. Ф. по гимназии Александра и Матвея Позднеевых, впоследствии известных профессоров. А. В. Позднеев — доктор филологических наук, М. В. — доктор технических наук, всю жизнь были друзьями Лосева.

Вспоминаются здесь также гимназистка Анна Кочеткова и Вера Знаменская, с которой переписывался студент Лосев.

3. Портрет Доры Лурье доказывает хорошую зрительную память Лосева. В нашем архиве есть ее фотография, хотя сведений о переписке ее и Лосева не сохранилось.

21 декабря 1911 г.

1. Здесь цитируются строки из стихотворения В. А. Жуковского «Мотылек и цветы».

2. А. Ф. Лосев увлекался в юности романами известного французского астронома Камилла Фламариона (1842-1925). Его роман «Урания» не раз вспоминается Лосевым.

3. Вера Фролова, Ольга Позднеева, Вера Знаменская, Анна Кочеткова (см. выше).

4 марта 1912 г.

1. Университетская церковь в память св. мученицы Татианы находилась в т. н. «новом здании» на Моховой. Домовая гимназическая церковь в память св. равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия была особенно любима Лосевым. В гимназии ежегодно день их памяти 24 мая торжественно отмечался. Именно в этот день, 24 мая 1988 г., скончался А. Ф. Лосев.

25 марта 1912 г.

1. Эта страничка из дневника юного Лосева глубоко искренна и интимна. Здесь выражены мысли, которые будут характерны вообще для творчества Лосева: единство «веры сердца» и «искания разумом истины». Еще гимназистом в статье «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь» (1909 г., напечатана в журнале «Студенческий меридиан» 1991, № 5) юноша мечтал о «новой земле», «новом совершенном человеке», о

¹ Сведения о Святском, Стеллецком, Ришаре, Ульрици сообщены Ю. Ф. Панасенко, которому приношу глубокую благодарность.

«Солнце любви». Единство искусства, науки, философии и религии было предметом дошедшего до нас во фрагментах сочинения 1911 г. «Высший синтез как счастье и ведение» (см. выше). Но эта тема разрабатывалась в знаменитой книге 1930 г., послужившей поводом для ареста Лосева, в «Диалектике мифа».

2. Единение веры и разума — один из важнейших принципов мировоззрения Лосева. Особенно блестяще этот тезис развернут в известной книге Лосева «Диалектика мифа», не раз издававшейся за последние годы (1930 г. — первое изд.).

13 апреля 1912 г.

1. У А. Ф. было в университетские годы два приятеля. Один — П. С. Попов (1892-1964), с которым связь была прервана после того, как он сыграл неблагоприятную роль при удалении Лосева с философского ф-та МГУ весной 1944. П. С. Попов был профессором философского ф-та с 1948 по 1964 гг. Другой — товарищ по гимназии Александр Федорович Попов, сын преподавателя пения в гимназии Ф. И. Попова, ученика композитора М. Балакирева. Кому принадлежат эти слова, не совсем ясно, хотя Лосев, упоминая второго Попова, иной раз называет его по имени.

9 июня

Маршрут экскурсии на Урал.

Студент Лосев ездил с гимназическими товарищами в экскурсии на Урал во главе с о. В. Чернявским («батя»). С гимназистами ездили также, кроме о. Василия Чернявского, преподаватели Горчуков и Адальберт Цейгер.

1. Протопопов Александр, Шурка — друг Лосева, в будущем — епископ Серафим.

2. Властов Б. В. (1893-1964), друг Лосева в течение всей жизни, профессор-биолог, муж поэтессы и художницы М. Б. Вериги.

3. Кассо Л. А. (1865-1914) — министр народного просвещения (1910-1914), из-за реакционной деятельности которого Московский Университет покинули многие выдающиеся профессора.

4. Фролов Ф. К. — директор классической Новочеркасской гимназии, прекрасно относившийся к гимназисту Лосеву. Подарил ему при переходе в последний класс собрание сочинений Вл. Соловьева. После революции эмигрировал на Балканы.

5. Тэн И. (1828-1893), французский философ, историк, изучавший искусство и литературу с культурно-исторических позиций. Автор «Происхождения современной Франции» (т. 1-6, 1876-94) и «Философии искусства» (1865-69).

6. Отец В. Чернявский, священник, преподаватель Закона Божия в классе, где учился Лосев. Кончил Киевскую Духовную Академию, был образованнейшим человеком, знал современную художественную литературу, устраивал диспуты и обсуждения интересных книг, возглавлял гимназические экскурсии. А. Ф. сохранил самые теплые воспоминания об о. В. Чернявском.

7. Тезисы «Что такое философия» записаны карандашом во время путешествия на Урал. Изложение мыслей в тезисах типично для Лосева молодого и зрелого. Доклады, которые он продумывал, всегда записывались в виде тезисов. Существуют толстые тетради 40-80-ых годов с докладами, изложенными тезисно. Лосев любил четкость мысли, отсюда вся его рубрикация. В тезисах «Что такое философия» (в дневнике между 29 и 30

июня) выдвигаются идеи, продуманные и изложенные в сочинении «Высший синтез как счастье и ведение»: единое, цельное знание — «дитя вечности».

30 июня 1912 г.

1. Верочка — Вера Знаменская. См. ее письма в нашей книге.
2. Реминисценции из романов Фламариона.

1-2 июля 1912 г.

1. Размышления, навеянные идеями Лосева о Боге и человеке (ἄνθρωπος καὶ Θεός — человек и Бог).

«Жизнь в философии и философия в жизни»

1. Тезисы «Жизнь в философии и философия в жизни» в дневнике Лосева занимают место между 1-2 июля 1912 г. (то есть завершением поездки на Урал) и 9 сентября 1912 — началом учебного года. Несомненно связь этих тезисов с записками 1-2 июля 1912 г., представляющими собой поэтико-философские раздумья на тему великой антитезы — Бога и человека. Страница дневника этих поэтических размышлений начинается со слов «Дочь заходящего солнца». В тезисах «Жизнь в философии и философия в жизни» пункт 3 гласит «Философия — дочь заходящего солнца». Несомненно также связь с написанными в пути 13 тезисами «Что такое философия», на которые ссылается здесь Лосев, дополняя эти тезисы новыми мыслями в духе символизма — поиски тайны «в видимом, осязаемом, слышимом», т. е. в феноменах скрытого, загадочного бытия.

9 сентября 1912 г.

1. Евдоким Петрович Житенев — состоятельный человек, инженер, член Правления, товарищ (заместитель) директора-распорядителя льнопрядильных и полотняных фабрик Грибановской мануфактуры. Семья его, жена и три дочери, жили на Остоженке. А. Ф. был близок к этой семье, питал нежные чувства к старшей дочери, Люсе.

Он с теплом вспоминал «дядю Авдошу», но никогда не рассказывал о судьбе этой семьи в годы революции.

16 сентября 1912 г.

1. А. Манохин — приятель Лосева.

11 октября 1912 г.

1. «Снегурочка» Римского-Корсакова (1844-1908) одна из любимых опер (1880-1881) Лосева, который в 1916 г. издал среди первых своих работ статью, посвященную этой опере, — «О музыкальном ощущении любви и природы» («Музыка», 1916 № 251-252). Переиздание см.: А. Ф. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.

2. «Принцесса Греза» — пьеса французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868-1918), ставшего популярным в России благодаря переводам Т. Щепкиной-Куперник.

28 октября 1912 г.

1. Кусевицкий С. А. (1874-1951), выдающийся русский дирижер, контрабасист и музыкальный деятель, особенно популярный в России начала

века. С 1920 г. жил за границей, где возглавил «Симфонические концерты Кусевицкого».

Шор Д. С. (1867-1942) пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. В 1892 г. основал «Московское трио» (пианист Шор, скрипач Д. С. Крейн, сменивший М. И. Альтшуллера, виолончелист Р. И. Эрлих). Эти камерные концерты пользовались большой известностью в Москве, Петербурге и за границей (Берлин, Париж, Лондон). Д. С. Шор основал «Бетховенскую студию», пропагандируя классическую музыку (1912-1916 гг.), в деятельности которой принимало участие и «Московское трио».

2. Молодой Лосев обозначал номерами девушек, не только знакомых, но и незнакомых, которые произвели на него большое впечатление или вызвали глубокий интерес.

1 ноября 1912 г.

1. Студент Лосев для заработка давал уроки греческого и латинского языков гимназистам и студентам.

2. Волконский С. М. (1860-1937), князь, филолог, писатель и театральный деятель. Читал курсы лекций по русской истории и литературе в США. С 1899 по 1902 директор Императорских театров, близкий к «Миру искусств» и вообще к новым исканиям в балете и опере. В 1917 г. эмигрировал во Францию. С Волконским была близка Марина Цветаева.

3. Молодой Лосев противопоставляет свою идею добра известным словам Достоевского о красоте, которая спасет мир («Братья Карамазовы»).

«Основные тезисы теории познания»

1. «Основные тезисы теории познания» написаны в ноябре 1912 г.
2. «Во всем следует сомневаться» (лат.).
3. «Сомневаюсь, следовательно мыслю. Мыслю, следовательно существую» (лат.). Факт сомнения, необходимый для мышления, — один из главных принципов философии Декарта (1596-1650).
4. «До бесконечности» (лат.).

«О моральности истины. Эмпирическая и психологическая точка зрения»

1. Тезисы «О моральности истины. Эмпирическая и психологическая точка зрения» написаны в конце 1912 г. Они несомненно связаны со статьей Лосева «Этика как наука», датированной автором 1912 г. (сохранился оригинал с титульным листом), и с тезисами этой работы (см. «Человек», 1995, № 4). Во всех этих сочинениях ощущается влияние проф. Г. И. Челпанова. Его лекции «Введение в философию и логику» слушал Лосев-студент, участвуя также в семинариях по экспериментальной психологии. В 1912 г. открылся основанный Челпановым Психологический Институт, членом которого по рекомендации профессора стал Лосев.

2. Галль Ф. И. (1758-1828) — основатель френологии, автор «Введения в курс физиологии мозга» (1822) и других работ, исследующих деятельность мозга и нервной системы.

1 мая 1913 г.

1. Леонид Иларионович Базилевич — друг Лосева с университетских лет. Имел прозвище «декан». Стал известным профессором-языковедом и, кстати сказать, был одно время зав. кафедрой и деканом. Базилевич — страстный любитель оперы, близкий А. В. Неждановой, живой, остроумный, неизменно подшучивал над А. Ф., когда бывал у нас в гостях на Арбате, о каких-то таинственных отношениях Лосева и Неждановой, о чем Антонина Васильевна и А. Ф. оба умалчивали.

1 июля 1913 г.

1. «Измена» — пьеса выдающегося русского актера, театрального деятеля и драматурга А. И. Сумбатова-Южина (1857-1927).

2. Фотография гимназистки Жени Воробьевой сохранилась в архиве А. Ф. Лосева.

3. Калашников Г. Г. — гимназический друг Лосева.

4. Идея внезапного появления и такого же исчезновения родственной прекрасной души была неизменно близка А. Ф. Лосеву. Ему принадлежит повесть «Метер», написанная автором вскоре после лагеря на Беломорканале (1933) и опубликованная в «Новом журнале» (Нью-Йорк) № 192-193, 1993 г., а также в еженедельнике «Домашнее чтение» 1997, №№ 10-12.

Письма А. Ф. Лосева к Вере Знаменской

28 июня 1911 г.

1. Мать А. Ф. Лосева воспитывала сына одна, т. к. отец Федор Петрович (по натуре человек богемы), преподаватель математики, скрипач и дирижер, оставил семью, когда мальчику было несколько месяцев.

14 июля 1911 г.

1. А. Ф. Лосев послал Вере карточку, на которой он снят после выпускных экзаменов. Гимназисты выпускного класса оставили свои росписи на листке бумаги (он сохранился) и обменялись фотографиями, которые тоже частично сохранились в архиве Лосева.

2. Вера уехала из Адлера раньше Лосева, но, как говорилось выше, молодые люди обменялись адресами. Вера жила в Новгороде и собиралась с осени 1911 г. учиться в Петербурге.

3. С сыном протоиерея о. Стефана Власова Николаем, своим кузеном, будущим инженером-путейцем, молодой Лосев был очень дружен.

Ст. Каменская.

1. Письмо без года и числа, о чем было сказано выше. Относится к позднему лету 1911, когда Лосев готовился поступать в Московский Университет, а Вера — собиралась в Петербург, на курсы. Судя по началу письма, юноша настолько ошеломлен полученным портретом Веры, что забыл проставить, как положено, дату письма.

2. До конца жизни Лосев сохранил пристрастие к этим трем античным статуям, присоединяя к ним еще голову т. н. Геры Фарнезе.

3. Директор — Фролов Федор Карлович.

4. Имеется в виду назначение реакционного министра народного просвещения Л. А. Кассо, вызвавшее уход в знак протеста многих профессоров из университетов Москвы и Петербурга, а также забастовку студенчества, кончившуюся отчислением забастовщиков.

5. Освальд Кюльпе (1862-1915), немецкий философ и психолог, основатель вюрцбургской школы психологии, о которой студент Лосев написал работу «Обзор и критика основных учений Вюрцбургской школы», вошедшую в его труд 1919 г. «Исследования по философии и психологии мышления», посвященный Г. И. Челпанову. Лосев упоминает «Введение в философию» Кюльпе, а также «Полный курс современной литературы» Е. Меннеше и трагедию древнегреческого драматурга Софокла «Эдип царь», которую в гимназии не читали.

6. Станица Каменская стоит на берегу Донца, притока Дона.

7. Упоминаются гимназические товарищи. С Юрием Долинским, в дальнейшем преподавателем математики, Лосев был близок вплоть до войны 1941 г., когда Долинский с семьей был угнан немцами из Таганрога. Впоследствии в конце 50-ых годов Долинский, оказавшийся в Чехословакии, разыскал Лосева через Международный Красный Крест, прислал ему подробное письмо. Дочь Долинского навестила нас на Арбате.

1 сентября 1911 г.

1. А. Ф. Лосев в начале 60-ых годов посетил со мной дом, где было когда-то Студенческое общежитие им. Императора Николая II. Дом на Большой Грузинской, неподалеку от Зоопарка, конечно, был весь переделан внутри. Но мы поднялись на второй этаж, и А. Ф. показал мне комнату, где он жил. По его рассказам, это было привилегированное общежитие, где каждый имел свою комнату, где были служители-мужчины, зал для музыкальных занятий, читальня, библиотека. Доступ женщинам в комнаты был закрыт, и Лосев виделся с матерью в приемной. Плата по тем временам была большая — в месяц 32 р. Студент жил на полном обеспечении, как в хорошем пансионе.

2. Увлечение астрономией сохранилось у Лосева в дальнейшей жизни. Его труды 20-ых годов во многом основаны на астрономических изысканиях древних. Женился Лосев в 1922 г. как он сам говорил «на астрономке». В. М. Лосева (1898-1954) была ученицей акад. В. Г. Фесенкова, кандидатом физ.-мат. наук, доцентом Московского Авиационного Института, специалистом в области небесной механики.

15 сентября 1911 г.

1. День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии по старому стилю приходится на 17 сентября (30 сентября нового стиля).

2. Один из важнейших принципов мировоззрения Лосева. Эти темы поворачиваются и в переписке его с В. М. Лосевой из лагеря в лагерь (см. А. Ф. Лосев. Жизнь. Повести. Рассказы. Письма. СПб., 1993).

3. *Ex privata diligentia* — по собственному почину (букв. «по личному усердию»).

4. Из этого сочинения сохранились только начальные фрагменты. См. в нашем издании.

5. Челпанов Г. И. (1862-1936), известный психолог, философ и логик. Профессор Киевского (1892-1906) и Московского (1907-1923) университетов. Основатель и директор Московского Психологического Института (1912). Г. И. рекомендовал студента Лосева в Философско-религиозное общество памяти Вл. Соловьева. Читал в 1911-12 гг. основной курс психологии, в осеннем семестре, логику — весной. Вел семинарии по гносеологии, по экспериментальной психологии и просеминарий по экспериментальной психологии. А. Ф. Лосев был близок к Челпанову до конца жизни

последнего. См. статью А. А. Тахо-Годи «А. Ф. Лосев и Г. И. Челпанов» // Начала, 1994, № 1.

Лопатин А. М. (1855-1920), известный философ, профессор Московского Императорского Университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии творчества». Друг Вл. Соловьева. А. Ф. Лосев признавал, что Лопатин не оказал на него влияния своим утонченным спиритуализмом. Читал в 1911-1912 гг. историю европейской философии после Канта.

Виппер Р. Ю. (1859-1954), известный историк, специалист по античности, раннему христианству и XIX веку. В Университете читал Общий курс истории Древней Греции, историю Западной Европы XIX в. (1815-1851 гг.), вел семинарий по греческой истории. В 1924 эмигрировал в Латвию, но в 1941 г. вернулся в Москву.

Мальмберг В. К., профессор, историк искусства. В осеннем семестре 1911-1912 гг. читал эгейское и переднеазиатское искусство, весной — греческое искусство. Вел семинарий по анализу произведений Дюрера и просеминарий по анализу памятников древнегреческой архитектуры.

Поржезинский В. К., профессор-лингвист. Читал в 1911-1912 гг. з течение года введение в языковедение, сравнительную грамматику индоевропейских языков, литовский и санскрит, вел семинарий по сравнительной грамматике индоевропейских языков.

Попов И. В., приват-доцент. В течение года читал в 1911-1912 гг. философию Средних веков. Крупнейший специалист по патрологии, И. В. Попов преподавал в Московской духовной Академии. В 20-ые годы А. Ф. Лосев и И. В. Попов были очень близки. Был арестован в 1930 г. по одному делу с Лосевым, был с ним сначала в одном лагере на Свирьстрое, а затем в Соловках, где принял участие в составлении знаменитого «Соловецкого послания» сосланных туда иерархов (прот. В. Цыпин, История русской церкви. М., 1994, с. 81). Погиб в лагерях.

Самсонов Н. В., приват-доцент. Читал в 1911-1912 гг. в течение года историю эстетических учений, начиная с Канта, вел семинарий по Платону, его современникам и предшественникам. Автор «Истории эстетических учений», ч. 1-3, М., 1915.

Соболевский С. И. (1864-1963), профессор, специалист по классической филологии. Читал в 1911-1912 гг. в течение года этику Аристотеля, «Филоклетта» Софокла, латинскую стилистику с упражнениями.

Щербина А. М., приват-доцент. Читал в 1911-1912 гг. годовой курс истории этики в Новой философии —, вел практические занятия по логике и семинарий по этике.

6. Лосев в дальнейшем учился на двух отделениях — философском и классической филологии, по которым кончил историко-филологический факультет.

8 ноября 1911 г.

1. Свою любовь к итальянской музыке Лосев проявил в одной из первых своих статей — «Два мироощущения» (в сб. «Студенчество жертвам войны» М., 1916. Переиздание см.: А. Ф. Лосев. Сочинения. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995), содержащей анализ «Травиаты» Верди и посвященной знаменитой исполнительнице главной роли Неждановой.

2. Третья заповедь, данная Господом Богом Моисею (Исход 20, 7), «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно».

3. Заключительная строфа из стихотворения В. А. Жуковского «Теон и Эсхин».

4. Здесь цитируется вторая строфа из стихотворения Пушкина «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовью народной»).

11 декабря 1911 г.

1. Стихи А. А. Фета (1820-1892), видимо, 1873 г.

2. Бонавич А. П. (1878-1933) пел не в Петербурге, а в Большом, в Москве (1905-21 гг.), баритон (а затем и тенор), известный своим темпераментом и сценическими данными.

Бакланов Г. А. (1880-1938), баритон, пел в Москве (опера С. И. Зимина, Большой театр). Отличался голосом исключительной гибкости и драматическим дарованием. Гастролировал за границей, где жил с 1915 г.

Лабинский А. М. (1871-1941), в 1897-1911 пел в Мариинском театре (Петербург). С 1912 по 1924 гг. солист Большого театра. Тенор, который исполнял лирические и драматические партии.

Шаляпин Ф. И. (1873-1938) и А. В. Собинов (1872-1934) — великие бас и тенор, были любимыми певцами молодого Лосева наряду с А. В. Неждановой (1873-1950).

3. Стихотворение А. Фета 1862 (?) года, вошло в его сб. «Вечерние огни».

4. Лосев цитирует «Майскую песнь» Гете (1749-1832), переписывая ее готическим шрифтом, как тогда было принято. По-русски даем в переводе С. Заяицкого (Гете. Собрание сочинений в 13 томах. М.-Л., 1932, т. 1).

Майская песня

*Как мне природа
Блестит вокруг,
Как рдеет солнце,
Смеется луг!*

*Из каждой ветки
Спешат цветы,
От тысяч песен
Звонят кусты!*

*Веселье, радость
В груди у всех!
О мир, о солнце,
О свет, о смех!*

*Любви, любви
О блеск златой,
Как зорний облак
Над высью той!*

*Благословляешь
Ты все поля,
Паров цветочных
Полна земля.*

*О дева, дева!
Как я томим!
Как взор твой блещет,
Как я любим!*

*Как любит птичка
Напев и взлет,
И утром цветик —
Небесный мед,*

*Так жаркой кровью
И я люблю.
Ты юность, бодрость
И мощь мою*

*Мчишь к новым песням
И пляскам вновь.
Так пей же счастье,
Как пьешь любовь!*

15 февраля 1912 г.

1. В Петербурге жил Владимир Микш, друг и товарищ Лосева по гимназии, сын И. А. Микша, преподавателя древних языков, с семьей которого Лосев был близок еще в Новочеркасске.

2. Еврейка-консерваторка — Дора Лурье.

10 июля 1912 г.

1. Фомина неделя — т. н. Антипасха, неделя 2-ая по Пасхе, апостола Фомы.

2. О путешествии на Урал см. выше, запись в дневнике 1912 г.

20 сентября 1912 г.

1. Психологический Институт основан в 1912 г. Проявившие способность к психологии студенты, в том числе Лосев, были членами этого Института.

2. «Фауст» Гете, «Антигона» Софокла.

3. Из увертюры Чайковского (1840-1893) была особенно любима Лосевым «Франческа да Римини».

9 октября 1912 г.

1. Сохранились гимназические табели Лосева, по которым видно, как он действительно вышел с 6 кл. в первые ученики.

2. Лосский Н. О. (1870-1965), крупнейший философ-интуитивист и персоналист. В 1922 г. выслан с группой выдающихся деятелей науки за границу, где написал ряд важных книг. В своем труде «История русской философии» (1951 — первое издание) высоко оценил Лосева-философа.

3. Введенский А. И. (1856-1925), известный неокантианец, профессор Петербургского Университета. Выступал против атеизма. Хотя Лосев и критиковал неокантианство, но Введенского глубоко ценил. В архиве Лосева сохранился фотопортрет философа с его автографом.

4. Лапшин И. И. (р. 1870), философ-неокантианец, ученик А. И. Введенского, профессор Петербургского Университета. Выслан из России в 1922 г.

12 декабря 1912 г.

1. Музей, основанный профессором Московского Университета И. В. Цветаевым (1847-1913). Впоследствии Музей изобразительных искусств им. Пушкина. О Цветаеве см. Ю. М. Каган. И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1987, *Анастасия Цветаева*. Воспоминания. М., 1971.

1 марта 1913 г.

1. Строки из гл. XVI «Демона» Лермонтова.

2. Идея монастыря постоянно жила в Лосеве. 3 июня 1929 г. он вместе с супругой принял монашеский постриг от афонского архимандрита Давида. В дальнейшем жизнь Лосева можно назвать «монастырем в миру».

3. «Прощайте навек» (фр.).

20 марта 1913 г.

1. Ср. утверждение А. Ф. Лосева 1929 г.: «Но жизнь не есть только логика; и философ поэтому не может быть просто логиком, он должен быть и философом жизни» («Вещь и имя» в кн. А. Ф. Лосев. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. с. 864).

5 сентября 1913 г.

1. Функциональная психология основана на изучении психических явлений, ориентированных на исследование поведения. Видимо, в дальнейшем Лосев изменил тему своей работы, т. к. написал «Обзор и критику основных учений Вюрцбургской школы».

2. А. Ф. Лосев рассказывал, какие мучения студентам доставлял проф. Поржезинский своим курсом грамматики индоевропейских языков. Студенты ходили по очереди, составляя списки. К экзамену зубрили наизусть по лекционным записям одного усердного слушателя. В 1912 г. было издано пособие к лекциям проф. В. Поржезинского «Очерк сравнительной фонетики древнеиндийского, греческого, латинского и старославянского языков».

Уже после окончания Лосевым Университета вышла «Сравнительная морфология древнеиндийского, греческого, латинского и старославянского языков» (1916) на основе конспекта лекций, изданных под редакцией профессора. Печатание этой книги осуществило Общество взаимопомощи студентов-филологов И. М. У. Видимо, сказались страдания нескольких поколений студентов.

8 ноября

1. Лиза Калитина, героиня «Дворянского гнезда» Тургенева.

2. Артур Никиш (1855-1922), знаменитый венгерский дирижер и композитор. Руководил крупнейшими в мире оркестрами (Бостонским в США, Гевандхауз в Лейпциге, Берлинским), неоднократно гастролировал в Петербурге и Москве. А. Никиш покорила слушателей вдохновенным романтизмом, огромным темпераментом и вместе с тем внешне сдержанной манерой. Здесь имеются в виду концерты, которые организовывал Кусевицкий, приглашая выдающихся музыкантов.

27 апреля 1914 г.

1. Статья Лосева в «Гермесе» не была напечатана. Она, видимо, исчезла во время летней поездки в Германию, где при спешном отъезде Лосева (началась война) у него был украден чемодан с рукописями.

22 июля

1. А. Ф. Лосев был послан в Германию для совершенствования в знаниях. Война прервала эту поездку. Однако он успел поработать в Королевской Библиотеке и послушать тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга», которая по завещанию Вагнера как раз в это время могла идти в других оперных театрах, а не только в Байрейте.

2. Подробное описание событий при отъезде Лосева из Берлина см. в «Дневнике 1914 г.»

3. Интерес Лосева к средневековым авторам сохранился до конца жизни. В 60-ые годы он написал «Средневековую диалектику», всю построенную на изучении латинской схоластики.

Дневник 1914 г.

4 января 1914 г.

1. А. Ф. Лосев, как уже говорилось выше, вел перечень оказавших на него впечатление, пусть и мимолетное, девиц (даже незнакомых).

2. Николай Власов — кузен Лосева. См. выше.

3. Фрида и Цецилия были сестры, дочери инженера-немца. А. Ф. знал их еще совсем девочками в Каменской. Услышав игру Цецилии на скрипке, он решил заниматься музыкой и поступил в частную школу лауреата Флорентийской музыкальной Академии Ф. А. Стаджи, которую кончил по классу скрипки. На выпускном вечере играл «Чакону» Баха. Ганзены действительно уехали за границу. Цецилия (р. в 1897 г.) стала известной скрипачкой, закончила Петербургскую консерваторию по классу Л. Ауэра. Дебютировала в 1910 г. в Петербурге. С 1921 г. за границей, где много гастролировала. В Гейдельберге стала профессором Высшей музыкальной школы.

4. Владимир Микш — сын И. А. Микша. См. выше.

5. Не Александра Федоровича Попова, приятеля Лосева.

6. Ольга Позднеева — сестра братьев Позднеевых, товарищей Лосева по гимназии. См. выше.

7. Вера Фролова — дочь Ф. К. Фролова. См. выше. Характерен рассказ А. Ф. о том, как он писал письма Вере и носил их в кармане, стесняясь их передать, хотя и посещал дом отца Веры, директора гимназии.

8. См. письма к Вере Знаменской.

9. См. в дневнике 1911 г. о Доре Лурье.

10. Матвей Владимирович Позднеев, гимназический друг Лосева. См. выше.

11. Елена Житенева, она же Люся — кузина Лосева. См. выше.

9 марта

1. Александр Позднеев — гимназический друг Лосева. См. выше.

2. Елена Евдокимовна, она же Люся. См. выше.

3. У Житеневых ставили домашние спектакли.

4. Воспитательница детей Житеневых.

6 января

1. Фон-Эдинг — товарищ Лосева по Университету, которого он готовил по греческому языку.

2. Братец — Николай Власов.

3. Тетя Женя — так шутливо именуется Лосев Евгению Антоновичу Гайдамович. См. дневник 11 октября.

19 января

1. Юхан Свендсен (Свенсен, 1840-1911), норвежский композитор и дирижер, крупнейший норвежский симфонист, выступал в России. К его оркестровым сочинениям относится «Легенда Зорахайда» (Зоренайда) 1874 г.

2. Анри Марто (1874-1934), французский скрипач и композитор. Один из выдающихся виртуозов конца XIX — начала XX вв. С 900-ых годов гастролировал в России.

3. Концерт для скрипки с оркестром e-moll, op. 64 (1844) Мендельсона (1809-1847) и концерт для скрипки с оркестром D-dur, op. 61 (1806) Бетховена (1770-1827) были любимы Лосевым всю жизнь.

4. «Чакону» И. С. Баха (1685-1750), финал партиты № 2 для скрипки соло, Лосев исполнял на выпускном вечере в музыкальной школе Стаджи.

5. Имеется в виду т. н. «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта (1797-1828) 1822 г.

15 февраля

1. Манюшка — Манохин, гимназический товарищ Лосева.

2. Декан — Л. И. Базилевич. См. выше.

3. Проректор — шутливое прозвище одного из друзей Лосева.

4. Зимин С. И. (1875-1942), театральный деятель и меценат. В 1904 г. основал частный оперный театр, в который приглашал известных певцов и дирижеров. Романтичным «Демоном» А. Рубинштейна (1829-1894) Лосев увлекался в молодости.

5. Кошиц Н. П. (1894-1965), русская певица, сопрано. В 1913 г. дебютировала в Оперном театре С. И. Зимина. В 1921 г. уехала за границу.

6. Об индивидуализме см. Письмо Лосева к Вере Знаменской от 8 ноября 1913 г.

16 февраля

1. Рыбаков Ф. Е. — профессор, известный психиатр, лечивший Врубеля. Женился на художнице Л. И. Чулковой, сестре поэта Г. И. Чулкова. После кончины Рыбакова Л. И. вышла замуж за известного искусствоведа Н. М. Тарабукина. А. Ф. Лосев всю жизнь дружил с Тарабукиными. У Л. И. от Рыбакова был сын, Слава, художник, оформлявший книги Лосева 20-ых годов, но умерший совсем юным.

2. Георгий Иванович — проф. Челпанов. См. выше.

3. «Сквозь зеркало, как бы в тумане». Ср. апостола Павла 1-ое послание к Коринфянам: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1, 13, 12).

4. Ария Демона из оперы Рубинштейна «Демон».

2 марта

1. Пьеса по роману Достоевского «Бесы».

2. Р. Вагнеру (1813-1883), которого всю жизнь любил Лосев, был посвящен ряд его работ: Философский комментарий к драмам Вагнера (А. Ф. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995, работа 1918-1919 гг.), Проблема Вагнера в прошлом и настоящем (сб. «Вопросы эстетики», 1968, № 8), Исторический смысл эстетического мировоззрения Вагнера (Эстетика Вагнера. М., 1978).

3. Строки из стихотворения В. А. Жуковского «Теон и Эсхин».

4. Катюль Мендес (1841-1909), французский писатель, близкий к группе поэтов «Парнас», тонкий эстет, автор изысканно-психологических новелл и романов.

7 марта

1. «Портрет Дориана Грея» (1891 г.) — роман О. Уайльда (1854-1900), собрание сочинений которого, изданное как приложение к журналу «Нива», было популярно в России.

12 марта

1. Щербина. См. выше.

16 марта

1. Николай Иванович Новосадский (1859-1941), филолог-классик, профессор Университета, учитель Лосева, у которого последний писал работу «О мироощущении Эсхила», высоко оцененную Вяч. Ивановым. Напечатана в книге: А. Ф. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.

2. Реквием (1791) Моцарта (1756-1791) был любим Лосевым всю жизнь.

12 апреля

1. Психологический институт. См. выше.

2. Г. И. Челпанов. См. выше.

3. Психологический институт был открыт и оснащен на деньги известного московского мецената С. И. Щукина (1854-1936) с условием, что институт будет носить имя покойной его супруги Лидии Щукиной. Основан Институт был в 1912 г., но торжественное открытие происходило в 1914 г. В 1994 г. по случаю 80-летия Психологического института его директор — академик В. В. Рубцов — восстановил упраздненную в революцию доску с именем Л. Г. Щукиной.

4. Страница не дописана; пронумерована правильно.

17 апреля

1. Вундт Вильгельм (1832-1920), знаменитый немецкий философ, психолог, фольклорист, мифолог. Автор десятитомного труда «Психология народов» с огромными материалами по истории языка, мифологии, обычаев и т. д.

Штумпф Карл (1848-1936), немецкий философ и психолог. Основатель Психологического Института при Берлинском университете.

Марбе Карл, немецкий психолог и философ, один из деятелей Вюрцбургской психологической школы.

2. См. выше.

3. Авдошка — уменьшительное имя, которым домашние звали дядюшку Лосева.

4. Урюпин — станица Урюпинская на берегу р. Хопер в Области Войска Донского, родина дядюшки А. Ф. — Е. П. Житенева.

5. Мария Михайловна Житенева.

6. Зигфрид — герой опер Вагнера «Зигфрид» и «Гибель богов» (тетралогия «Кольцо нибелунга» замысел которой созрел в 1848 г., но первая постановка в Байрейте относится к 1876 г.).

21 апреля

1. Столпнер Б. Г. (1871-1967), русский философ, переводчик Гегеля и трудов современных ему философов — Г. Гомперца, Р. Рихтера, Э. Кассирера. Близкие интересы связывали Лосева и Столпнера в 20-ые годы.

2. «Тангейзер» — опера Р. Вагнера (полное наименование «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге», 1843-1845 гг.).

3. Александр Федорович Попов — товарищ Лосева.

4. Пиррон из Элиды (ок. 360 — ок. 270 до н. э.), древнегреческий философ, основатель скептицизма.

5. Термин, изобретенный молодым Лосевым, переводится непросто. Е. А. Тахо-Годи предложила передать его по-русски как «Женомудрие», или «Женопознание». В этих тезисах несомненно влияние Платона и его диалога «Пир» об Эросе как вечном стремлении к красоте под названием «Эрос у Платона» (впервые — в Юбилейном сборнике проф. Г. И. Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. М., 1916. См. также: А. Ф. Лосев. Бытие. Имя. Космос. М., 1993).

В этих тезисах также заметно влияние теории всеединства Вл. Соловьева и его статьи «Смысл любви». Однако очень сильно здесь христианско-православная идея восстановления творения и твари, стенойшей по своей небесной родине, по абсолютному счастью, которое мыслится как вечная жизнь и радость о Духе Святе. Характерно, что для личности, узревшей тайну любви, «мечта реальнее жизни», «мечта не нуждается в осуществлении». Тезис — важный Лосеву-символисту, который видит в явлениях обыденной жизни только символы высшего бытия.

Эти XXX тезисов оказались для их автора действительно «практической гинекологией», воплотившись не только в его мировоззренческих принципах, но и в его личной жизни, подтверждая слова «любовь на земле есть подвиг».

4 мая

1. Евгения Антоновна, т. н. «тетя Женя». См. выше.

2. Слова из ритуала бракосочетания, с которыми священник обращается к жениху и невесте.

3. Ср. пьесу Кальдерона (1600-1681) «Жизнь — это сон», любимую Лосевым (Кальдерон, переводы и вступ. ст. К. Д. Бальмонта, вып. 1-9, М., 1900-1912).

9 июля (26 июня)

1. О поездке в Берлин см. также «Письма к Вере Знаменской» (22 июля 1914 г.).

2. Гаман И. Г. (1730-1788), немецкий филолог и религиозно мыслящий философ, автор теории о непосредственном знании, единении чувства и образа в поэзии, интуитивном познании, враждебности рационализму.

27 мая

1. Записи от 27 мая до 30 мая должны предшествовать 9 июля (26 июня), но в Дневнике нет пропусков страниц, записи идут подряд. Возможно, автору не было времени, собираясь в Берлин, делать дневниковые записи, и он восстановил события предъездных дней, находясь в Берлине. Об этом

свидетельствует запись 30 мая, где прямо сказано: «Писал в записную книжку. Переписываю сюда в Берлине 13 июля (30 июня)».

2. В Сокольниках летом давались симфонические концерты.

3. Симфонии Скрябина А. Н. (1871-1872) 1-ая E-dur, op. 26 (1899-1900), 2-ая e-moll, op. 29 (1901). Третья соната op. 23 (1897-1898). Лосевым была в 1921 г. написана статья о Скрябине «Мировоззрение Скрябина» (как теперь выяснилось по найденному рукописному титульному листу, она называлась «Философское мировоззрение Скрябина»), напечатанная в книге: А. Ф. Лосев. Страсть к диалектике. М., 1990 и позже в книге: А. Ф. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. В этой статье есть мысли, созвучные дневниковым записям о духе, который мечется во вселенной без Бога. Однако статья Лосева, любившего Скрябина, все-таки выносит ему суровый приговор с позиций христианской мистики. Таких как Скрябин, заключает Лосев статью, надо анафемствовать.

4. Гуссерль Э. (1859-1938), знаменитый немецкий философ, основатель феноменологической школы, профессор в Геттингене и Фрейбурге. Феноменология — «чистая теория познания», «беспредпосылочная» наука, изучающая и нейтрально описывающая «чистое сознание» в виде «эйдосов», «чистых сущностей» как они есть без всяких привнесенных толкований.

11 июля (28) июня

1. Бринхильда — героиня тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга», воительница, валькирия.

Дочери Рейна — хранительницы сокровища нибелунга в «Золоте Рейна» (первая часть тетралогии).

17 (4) июля

1. Последняя строфа из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».

19 (6) июля

1. Как уже упоминалось, Лосев писал в это время у проф. Н. И. Новосадского работу «О мироощущении Эсхила». Там, в самом начале, устанавливается различие между мировоззрением и мироощущением.

2. «Такие люди — опасные» (нем.).

26 (13) июля

1. Россолимо Г. И. — известный русский психиатр.

2. «Мне жаль Вас» (нем.).

3. «Парсифаль» — опера-мистерия Р. Вагнера (1877-1882 гг.), в основу которой легла поэма средневекового поэта Вольфрама фон Эшенбаха.

4. Лосев приводит стихи Е. Баратынского 1832 г. «На смерть Гете», пропустив 3-4 строки. Приведем их целиком.

*С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.*

23 июля

1. См. Платон, «Пир», речь комедиографа Аристофана о людях-половинках, ищущих друг друга.

17 июля (2 августа).

1. Попутчица по дороге в Берлин.
2. Герои романов К. Фламариона.

21 августа

1. В Новочеркасском театре, который так любил Лосев, играли известные актеры, гастролировавшие по России: братья Адельгейм, П. Орленов, В. Комиссаржевская, Вл. Давыдов, Н. Рошин-Инсаров. Особенно известен был антрепренер Н. Н. Синельников, создавший в 90-ых годах в Новочеркасске «Товарищество актеров». Память о пожаре театра в 1914 г. нашла отражение в рассказе Лосева «Театрал», помещенном в нашей книге.

2. С. И. Крылов был содержателем театра, тратил на него большие деньги.

3. Заядлый театрал Володя Микш в дальнейшем стал в Петербурге актером.

11 октября

1. Слова: «Я заметил ее интеллигентность» и далее в скобках подчеркнуты красным карандашом следователем Лубянки. Отмечено, наверное, социальное звучание в словах о «серых рабочих». Ср. также подчеркивание записи дневника 1918 г.

2. Сперанский М. Н. (1863-1938) профессор Университета, выдающийся знаток древнерусской литературы, с 1921 г. академик.

Розанов В. В. (1856-1919), писатель и мыслитель, «философ жизни», которого неизменно любил Лосев и которого считал гениальным. В библиотеке Лосева сохранились первые издания книг Розанова, и даже с его пометками. А. Ф. был близок с дочерью Розанова Татьяной Васильевной, жившей в Сергиевом Посаде.

12 октября

1. «Сказка о царе Салтане» (1899-1900) — опера Н. Римского-Корсакова.

21 октября

1. «Майская ночь» (1878-1879) — опера Н. Римского-Корсакова.
2. Декан — Л. И. Базилевич. См. выше.

28 октября

1. Чудов монастырь в Кремле, где покоились мощи святителя Московского митрополита Алексия, именем которого был назван Лосев (день Ангела 18 октября — память святителей Московских).

2. Пигмалион — в греч. мифологии царь Кипра, художник, из слоновой кости создавший статую Галатеи, в которую сам и влюбился. Афродита оживила Галатею, и она стала супругой Пигмалиона. См. Овидий, «Метаморфозы», X, 243-297.

3. См. Евангелие от Иоанна, 14, 1 — слова Иисуса своим ученикам-апостолам. Лосев не совсем точно цитирует эти слова. В Евангелии нет слов «да не устрашается».

4. Слова из Псалма 113.

27 октября

1. «Вечная женственность» (нем.).
2. «Подобие» (нем.).
3. Отзвук увлечений Фламарионом.
4. Опера Вагнера «Летучий голландец» («Моряк-скиталец», 1840-1841).

22 декабря

1. Термин Э. Гуссерля.
2. Тютчев Ф. (1803-1873), стихотворение 1879 г. Имело вначале подзаголовки «Сумерки».
3. «Тристан и Изольда» (поставлена в 1865). Вагнер сам писал текст к своим операм. Они издавались с указанием лейтмотивов и приложением соответствующих нотных записей. В библиотеке Лосева сохранился один из таких томов, с которым он ходил слушать оперы Вагнера.
4. См. выше.
5. Смирнов А. А. (1894-1980), выдающийся русский психолог, ученик Г. И. Челпанова, товарищ Лосева. Был директором Психологического института (1945-1973 гг.)

31 декабря

1. Великая княжна Ольга Николаевна, старшая дочь (род. в 1895 г.) императора Николая II. Была художественно одарена, любила музыку, писала стихи. Погибла вместе со всей семьей, расстрелянной в Екатеринбурге (1918).
2. Грудь (лат.).

18 января 1915 г.

1. Е. А. — Евгения Антоновна. См. выше.
2. Шопенгауэр А. (1788-1860), знаменитый немецкий философ, автор книги «Мир как воля и представление» (т. 1-2, 1819-1844), известный своим пессимистическим взглядом на мир.
3. К 1912 г. относится работа Лосева «Этика как наука» (напечатана в журнале «Человек», 1995, № 2).

19 января. Текст в дневнике отсутствует.

22 марта

1. Песнопение, стихира из последования Пасхальной утрени.

11 июня

1. А. Ф. Лосев получал отсрочку военной службы в казачьих войсках. По правилам он должен был лечь в больницу (у себя на родине) для обследования здоровья и особенно глаз, т. к. страдал сильной близорукостью. Кроме того Лосева оставили в Университете для подготовки к профессорскому званию.
2. Подчеркнуто синим карандашом, видимо, следователем Лубянки.
3. Строка из строфы XLVII гл. VIII «Евгения Онегина». Слова Татьяна, обращенные к Онегину при их прощании.

25 июня

1. Вейнингер А. (1880-1903), автор известного сочинения «Пол и характер» (1903), где дается характеристика мужского и женского типов и законы полового притяжения. Так, напр., для полного соединения полов есть всегда тенденция между идеальным М и идеальным Ж. После выхода в свет книги (она стала необыкновенно популярной) Вейнингер покончил с собой.

17 декабря 1928 г.

1. Текст, выделенный шрифтом, подчеркнут следователем.
2. Текст отсутствует.

«О религии»

1. Поучение старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы» Достоевского.
2. Тютчев Ф. И. (1803-1873). Стихи «Нет, моего к тебе пристрастья» (видимо 1836) впервые напечатаны в 1879 г., т. е. после смерти поэта.
3. Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- Австрия, 133
 Адельгейм, братья, 330
 Адлер, 8; 9; 62; 83; 86; 319
 Айхенвальд Б., 10
 Айхенвальд Ю., 10
 Александр II, 41
 Александр III, 80
 Александров, город, 123
 Александровская сопка, 39; 44
 Александровский мост, 40
 Александровский сад, 165
 Александровский сад (в Ново-черкасске), 139
 Алексеева В., 49; 98; 101; 161
 Алексей (митрополит), 330
 Алтай, 11; 13
 Алферовы А. Д. и А. С., 10
 Андромеды туманность, 314
 Анзельм Кентерберийский, 23; 313
 Антигона, 55; 77; 171; 211
 Антонов, 44
 Апокалипсис, 22; 98
 Аполлон Бельведерский, 32; 63
 Арбат, 8; 10; 14; 319; 320
 Арбатская площадь, 14
 Аристотель, 3; 5; 67; 321
 Аристофан, 330
 Артемида, 63
 Астафьев В. П., 8
- Ауэр Л., 325
 Афон, 11; 12; 324
 Афродита, 330
 Ахматова А., 8
 Базилевич Л. И., 54; 100; 108; 109; 110; 319; 326; 330
 Байрейт, 325; 328
 Байрон Дж., 70; 106; 107; 109; 304
 Бакланов Г. А., 72; 322
 Балакирев М., 316
 Балканы, 316
 Бальмонт К. Д., 328
 Бамберг, 314
 Баратынский Е., 286; 329
 Барбашина поляна, 40; 41
 Бах И. С., 102; 325; 326
 Белая (река), 42
 Беломорско-Балтийский канал, 3; 11; 13; 319
 Бенер А. Н., 27; 314
 Березовские рудники, 39
 Берлин, 63; 92; 93; 122; 123; 124; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 140; 153; 286; 312; 318; 324; 325; 327; 328; 329; 330
 Бетховен Л. ван, 55; 87; 102; 106; 107; 124; 125; 144; 290; 293; 303; 326
 Богородск, 39
 Большая Грузинская ул., 320

* Указатель подготовлен издателем. В случаях, где инициалы упоминаемого в тексте лица установить не удается, в указателе дается только фамилия..

Боначич А. П., 72; 322
Борис (архимандрит), 26
Босов, 44
Булгаков М. А., 309
Булгаков С., 12
Бунин И., 287
Бэкон Ф., 28; 315
Вагнер Р., 106; 107; 114; 124; 125;
128; 129; 131; 134; 138; 141; 143;
144; 145; 149; 153; 159; 161; 166;
287; 293; 303; 304; 307; 310; 325;
327; 328; 329; 331
Вальтер Филипп, 10
Вартбург, 328
Варшава, 123; 126
Вашестов А. Г., 12
Введенский А. И., 22; 26; 27; 79;
112; 312; 323; 324; 323
Вебер К., 184
Вега, 46
Вейнингер О., 152; 164; 165; 310;
331
Вена, 312
Венера Милосская, 55; 63
Венеция, 3
Вергилий, 22; 312
Верди Дж., 321
Веревкин, 104
Верескунов, 44
Вериго М. Б., 316
«Вестник знания», 23; 312
Вильгельм II, 141
Виноходов, 56
Вишпер Р. Ю., 67; 99; 321
Владикавказ, 8
Власов Н., 325; 326
Власов Ст., 62; 315; 319
Власова М. А., 315
Власовы, 101
Властов Б. В., 40; 41; 44; 316
Военно-Грузинская дорога, 8
Военно-Осетинская дорога, 92
Воздвиженка, 9; 14

Волга, 38; 40; 41; 75
Волконский С., 49
Волошинова К. М., 136; 137
Вольф Х., 27
Вольфрам фон Эшенбах, 329
«Вопросы философии и психоло-
гии творчества», 321
Воробьев, 44
Воробьева Е. С., 55; 56; 57; 58;
140; 141; 319
Воробьевы горы, 69
Воронеж, 33
Вуколов И., 39; 42; 44
Вуколов М., 44
Вундт В., 27; 112; 314; 327
Вюрцбург, 320; 327
Гаврютенко, 44
Гайдамович Е. А. (тетя Женя),
101; 104; 106; 113; 114; 115; 116;
122; 138; 139; 140; 141; 142; 148;
161; 288; 294; 326; 328; 331
Гайдн Й., 186
Галатея, 330
Галле, 314
Галь Ф. И., 52; 318
Гаман И. Г., 123; 328
Ганзен Ф., 97; 325
Ганзен Ц., 97; 325
Ганзены, 325
Гартвиг К. Э., 27; 314
Гегель Г., 23; 27; 269; 313; 328
Гейдельберг, 63; 325
Гексли-Розенталь, автор учебни-
ка, 78
Гера Фарнезе, 319
Германия, 5; 325
«Гермес», журнал, 92; 325
еп. Гермоген, 40
Гершель В., 28; 314
Гете И. В., 9; 28; 70; 131; 144; 211;
244; 293; 322; 323; 329
Геттинген, 329
Гоготишвили Л. А., 12

Голубев, студент, 41
Гомперц Г., 328
Горелов А. А., 301
Гороблагодатская, 39
Горчуков, преподаватель, 40; 42;
44; 316
Государственная Публичная
библиотека, 8
Гофман Э. Т. А., 13
Греция, 67; 192; 211; 235; 321
Грузины, район, 99
Грузия, 8
Гункель Г., 22; 312
Гурбанов, 41
Гуссерль Э., 6; 126; 150; 153; 329;
331
Давид (архимандрит), 12; 299;
324
Давыдов Вл., 330
Дарвин Ч., 19; 26; 312
Дарьял, 43
Делонэ Б. Н., 78
Денисенко, 40; 41; 44
Диана, 63
Додедь-Порт А., 22; 26; 312
Долинский Ю., 64; 320
Дон, 93; 320
Донец, 64; 320
Достоевский Ф. М., 64; 172; 263;
318; 326; 332
Дюбуа-Реймон Э., 27; 314
Егоров Д. Ф., 12
Екатеринбург, 39; 42; 75; 331
Ермоленко, 44
Ерофалов, 44
Жеребцов, 102
Житенев Е. П., 47; 113; 124; 317
Житенева Е. Е. (Люся), 48; 50;
51; 53; 54; 55; 99; 99; 100; 101;
102; 103; 104; 105; 106; 107; 108;
109; 110; 113; 116; 122; 132; 138;
148; 163; 310; 317; 325; 327

Житенева М. М., 113; 114; 122;
124; 327
Житенева О. Е., 47; 48
Житенева У. Е., 47; 48
Житеневы, 100; 102; 108; 113; 325
Жуковский В. А., 4; 31; 286 315;
321; 327
Заяицкий С., 322
Зверев Г. В., 9; 300
Зверева (станция), 97
Зевес, 69
Зимин С. И., 103; 105; 322; 326
Зимовейский, 39
Зингеровский А., 56; 58
Златоуст, 38; 39; 43; 75; 127; 134;
140
Знаменская В. А., 5; 6; 8; 9; 35; 59;
81; 98; 290; 294; 298; 300; 301;
302; 303; 305; 306; 308; 315; 317;
319; 325; 326; 328
Золотарев, 44
Иванов Вяч., 99; 242; 268; 327
Иверская икона божьей матери,
144; 293
Иерусалем В., 22; 312
о. Иринея, 12
Иисус Христос, 11; 67; 114; 117;
128; 139; 145; 147; 149; 151; 161;
162; 163; 175; 176; 293; 298; 308;
309; 313; 330
Кавказ, 8; 9; 35; 64; 75; 92
Каган Ю. М., 324
Каганович Л. М., 3
Казань, 75; 76
Калашников Г. Г., 56; 57; 58; 319
Кальдерон П., 328
Кама, 46; 76; 287
Каменская, станица, 24; 29; 34;
55; 62; 64; 65; 72; 75; 76; 77; 92;
93; 94; 97; 101; 102; 109; 132;
134; 135; 136; 139; 286; 305; 315;
319; 320; 325
Кант И., 26; 27; 269; 314; 321

Карамзин Н. М., 11; 302
Кассирер Э., 328
Кассо Л. А., 40; 41; 316; 319
Киев, 4; 314; 316; 320; 328
Кипр, 330
Кисловодск, 97
Кларк М. Н., 101
Клейн Г. И., 28; 314
Козлов, город, 33; 137
Кокин, 44
Комиссаржевская В., 330
Косоногов, автор учебника, 78
Кочеткова А., 35; 98; 161; 315
Кошиц Н. П., 103; 326
Красная поляна, 43
Красные ворота, 146
Крассовский, 44
Крейн Д. С., 49; 318
Кремль, 138; 330
Криндач О. Е., 101
Крылов С. И., 136; 330
Кудрявцев В. Д., 27; 314
Кузнецкий мост, 9
Кусевицкий С. А., 49; 77; 79; 87;
148; 158; 304; 317; 318; 324
Кыштым, город, 39
Кюльпе О., фон, 64; 320
Лабинский А. М., 72; 322
Лаглас П., 26; 314
Лапшин И. И., 79; 324
Латвия, 321
Лейбниц Г., 27; 269
Лейпциг, 63; 324
Ленинград, 8
Леонтович, 78
Лермонтов М. Ю., 103; 173; 263;
286; 288; 324; 332
Лефортовский дворец, 99
Лиски, 34
Лист Ф., 10; 166
Лихая, 39; 203
Лозанна, 124
Ломоносов М. В., 4; 67

Лопатин Л. М., 67; 79; 321
Лосев Ф. П., 300; 319
Лосева (Соколова) В. М., 10; 11;
12; 13; 298; 320
Лосева Н. А., 300
Лосский Н. О., 79
Лубянка, 3; 10; 330; 331
Луковский, 64
Лурье Д., 31; 34; 35; 98; 161; 315;
323; 325
Любинецкий, 42; 44
Мальбранш Н., 314
Мальмберг В. К., 67; 321
Мамонов, 44
Манохин А., 48; 102; 317; 326
Марбе К., 112; 327
Марс (планета), 65; 66; 107; 146
Марто А., 102; 326
Марченко, 44
Медвежья Гора, 13
Мендельсон Я. Л. Ф., 102; 326
Мендес К., 107; 327
Меннеше Е., 64; 320
Меттль, 184
Миасс, 39
Микш В. И., 97; 98; 101; 136; 323;
325; 330
Микш И. А., 323; 325
Минеральные Воды, 98
Минск, 126; 127; 134
Минто С., 23; 313
Мишина Н., 8
Моисей, 26
Москва, 3; 4; 5; 12; 13; 14; 29; 36;
58; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 76;
77; 78; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 88;
89; 92; 93; 95; 102; 122; 126; 127;
131; 134; 136; 137; 141; 143; 146;
151; 158; 175; 179; 189; 205; 281;
294; 318; 319; 321; 322; 324; 328
Москва-река, 69
Московский Авиационный ин-
ститут, 14

Московский Императорский университет, 5; 6; 8; 11; 63; 316; 319; 320; 321
Моховая ул., 315
Моцарт В. А., 111; 327
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, 324
«Музыка», 4
Мультон Ф. Р., 26; 314
Муравьев, 44
Муретов М. Д., 12
Нацвалов С. Л., 97
Начеткина В., 149
Нежданова А. В., 319; 321; 322
Немечень Е., 102
«Нива», 327
Нижегородский университет, 11
Нижний Тагил, 39
Никиш А., 87; 324
Николай II, 66; 320; 331
Ницше Ф., 304
Новгород, 65; 66; 169; 319
Новосадский Н. И., 10; 111; 327; 329
Новоселов М. А., 12
Новосельские, 97
Новочеркасск, 4; 10; 13; 38; 39; 64; 72; 83; 97; 102; 127; 135; 139; 163; 170; 300; 302; 315; 316; 323; 330
«Новый журнал», 319
Ньютон И., 314
о. Василий см. Чернявский В. А.
Оболенская, княгиня, 98
Овидий, 330
Ольга Николаевна, великая княжна, 153; 154; 155; 156; 157; 288; 331
Орленов П., 330
Орлов А. П., 22; 312
Остоженка, 99; 124; 317
Островский А. Н., 171
ап. Павел, 4; 314; 326

Павлов, 124
Паганини Н., 10
Палама Г., 12
Панасенко Ю. Ф., 315
Панкова М., 98
Париж, 3; 11; 318
«Парнас», 327
Пастернак Б., 10
Пащинский, 40; 43; 44
Пермь, 39; 44; 75; 76
Петровско-Разумовское, 48
Пигмалион, 145; 330
Пиррон из Элиды, 116; 328
Пичинская Е. П., 10
Платон, 4; 5; 7; 64; 67; 70; 86; 141; 143; 144; 291; 302; 305; 321; 328; 330
Плотин, 3
Поздеевский, еп. Феодор 12
Позднеев А. В., 99; 100; 138; 141; 315
Позднеев М. В., 315; 325
Позднеева О. В., 35; 98; 315; 325
Полтава, 14
Полтавский пединститут, 13
Поляков А., 315
Попов А. Ф., 37; 47; 48; 49; 99; 106; 111; 115; 116; 139; 140; 148; 288; 316; 328
Попов И. В., приват-доцент, 67; 321
Попов мл., 44
Попов П. С., 316
Попов ст., 44
Попов Ф. И., 316
Попова А. А., 97; 98; 325
Попова З., 98
Поповы, 99
Поржезинский В. К., 67; 324; 321; 324
«Природа и люди», 312
Прозоровская, 97
Прометей, 41

Протопопов А., 41; 43; 44; 316
Психологический институт, 11;
78; 288; 320; 327; 331
Пушкин А. С., 4; 69; 132; 245;
246; 263; 286; 322; 329; 331
Пятигорск, 98
Рейн, 128; 138; 306; 329
Рим, 3; 99
Римский-Корсаков Н., 48; 77; 105;
317; 330
Рихтер Р., 328
Ришар Ш., 28; 312; 314; 315
Рождественский Н. П., 21; 22; 23;
312
Розанов В. В., 140; 292; 330
Розанова Т. В., 330
Романова Е., 302
Россолимо Г. И., 329
Ростан Э., 48
Ростов, 33
Ростовцев Ю. А., 8; 9; 12
Роцин-Инсаров Н., 330
Рубинштейн А., 105; 326
Рубцов В. В., 327
Руссо Ж.-Ж., 4
Рыбаков Ф. Е., 104; 326
Рязань, 29; 33
Саблин, 107
Самара, 38; 39; 40; 41; 75
Самсонов Н. В., 67; 321
Санкт-Петербург, 8; 33; 63; 64; 69;
74; 77; 82; 83; 88; 101; 131; 302;
312; 318; 319; 322; 323; 324; 325;
330; см. также Ленинград
Сарапул, 39
Саратов, 38; 39; 40
Сатурн (планета), 65; 66
Свендсен Ю. (Свенсен Ю.), 102;
326
Светлов П. Я., 27; 28; 314
Свирьстрой, 13, 321
Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
27

Святский И. И., 21; 22; 28; 312;
315
Сегаль, 40; 44
Сербия, 92; 133
Сергиев Посад, 10; 330
Сибирский лагерь, 13
Синельников Н. Н., 330
Сириус, 46; 107; 146
Сицилия, 145
Сковорода Г. С., 4
Скрябин А., 124; 125; 153; 155;
159; 329
Сладков, 44
Смирнов А. А., 150; 331
Собинов Л., 72; 142; 322
Соболевский С. И., 67; 321
Соймоновские медные рудники,
39
Соколова В. М. см. Лосева В. М.
Сокольники, 124; 126; 140; 191;
329
Сокольнический парк, 191; 199
«Соловецкое послание», 321
Соловки, 321
Соловьев В. С., 6; 23; 302; 313;
316; 320; 321; 328
Соловьев Н. М., 12
Соловьев С. М., 313
Софокл, 55; 64; 70; 244; 320; 321;
323
Спасские ворота, 98
Сперанский М. Н., 140; 330
Спиноза Б., 269
Стаджи Ф., 302; 325; 326
Сталин И. В., 3
Старожилово, 134; 135
Стеллецкий Н. С., 26; 314; 315
Столлнер Б. Г., 115; 328
Столяров А., 313
Страдиварий, 185
«Студенческий меридиан», 4
Сугомах (гора), 39
Сугомахская пещера, 39

Сулин, 44
Сумбатов-Южин А. И., 319
Суханова В., 99
США, 318; 324
Таганай (гора), 39; 43
Таганрог, 320
Тарабукин Н. М., 326
Тарабукины, 326
Тареев М. М., 28; 314
Тахо-Годи А. А., 3; 12; 312; 321
Тахо-Годи Е. А., 285; 328
Тверской бульвар, 99
Театральная площадь, 98
Тернер Ф. Г., 23; 312
Тертуллиан К. С. Ф., 23; 313
Тифлис, 8; 123
Толмачев М. В., 8
Толстой Л. Н., 169
Трод Р., 23
Трубецкой Е. Н., 304; 305; 306;
307; 308; 309; 310
Тургенев И. С., 9; 72; 86; 112; 324
Тургояк (озеро), 39
Тэн И., 42; 316
Тюбинген, 313
Тютчев Ф. И., 143; 148; 173; 286;
331; 332
Уайльд О., 107; 138; 171; 327
Уварова Н., 101; 122; 132
Улиткина, 39; 43; 48
Ульрици Г., 28; 314; 315
Ункулов, 44
Урал, 38; 75; 132; 316; 317; 323
Уржумки, 44
Урюпин, 113; 327
Урюпинская станица, 327
Успенский собор, 99; 224; 144;
293
Уфа, 38; 42; 43; 75
Феб, 63
Федоров А., 43; 44; 140
Фейербах Л., 23; 313
еп. Феодор (Поздеевский), 12

Фесенков В. Г., 320
Фет А., 70; 144; 286; 293; 322
Финляндия, 75
Фихте И. Г., 269
Фламарион К., 7; 25; 27; 35; 64;
68; 72; 79; 134; 135; 144; 301;
307; 309; 312; 313; 315; 317; 330;
331
Флеров А. Е., 10
Флоренский П. А., 10; 12; 292;
294
Фомин, 40; 41; 44
фон Бреннер, 122
Фон-Эдинг, 101; 326
Франк С. Л., 3
Франция, 316
Фрейбург, 329
Фролов Ф. К., 4; 6; 42; 315; 316;
319; 325
Фролова В., 35; 98; 315; 325
ФСБ, 9; 300
Харьков, 14; 281; 302; 314
Хвостовская С. Г., 122; 134
Хопер, 327
храм Христа Спасителя, 158
Царицын, 38; 39; 40; 75
Цветаев И. В., 324
Цветаева А. И., 324
Цейгер А., 41; 43; 44; 316
Центральный Архив ФСБ, 9
Цыпин В., 321
Цюрих, 12; 312
Чайковский П. И., 13; 77; 87; 88;
105; 184; 323
«Человек», 4; 318; 331
Челпанов Г. И., 4; 10; 11; 21; 67;
78; 104; 112; 137; 304; 312; 318;
320; 321; 326; 327; 328; 331
Челябинск, 39
Черноморское побережье, 8
Чернявский В. (батя) 8; 40; 41; 42;
43; 44; 64; 72; 75; 316
Чехов А. П., 22; 312

Чехословакия, 320
Чичерин Б. Н., 22; 28; 312
Чудов монастырь, 293; 330
Чулков Г. И., 326
Чулкова Л. И., 326
Шаляпин Ф. И., 72; 322
Швейцария, 75
Шекспир У., 70; 211
Шеллинг Ф., 312
Шиллер Ф., 70; 144; 211; 293
Шопенгауэр А., 153; 159; 287;
304; 331
Шор Д. С., 49; 318

Штраус Д. Ф., 23; 313
Штумпф К., 112; 327
Шуберт Ф., 7; 102; 138; 140; 184;
213; 326
Щербина А. М., 67; 108; 321; 327
Щерковская, 98
Щукин С. И., 112; 327
Щукина Л., 327
Эрлих Р. И., 49
Эрн В. Ф., 12
Эрос, 4; 141; 328
Эсхил, 92; 129; 146; 327; 329



Алексей Лосев. 1903 г. Первый класс гимназии в
г. Новочеркасске



Алексей Лосев. 1911 г. Выпускник гимназии

А. Кривин - Смирновский Александр Николаевич.

Николай Петрович Пеллернов.
Катерина Александровна Позднерова.

Сергей Яковлевич Лыков
Владимир Павлович Калашников

Уваров Федорович Епископов

Александр Федорович Ковалев

Николай Григорьевич Школовский.

Иван Иванович Тихонов

Александр Александрович Плещинский -

Владимир Сергеевич Тарасов

Катерина Александровна Мухоморова

Сергей Григорьевич Косилов.

Николай Александрович Дроздов

Александр Иванович Мухоморов.

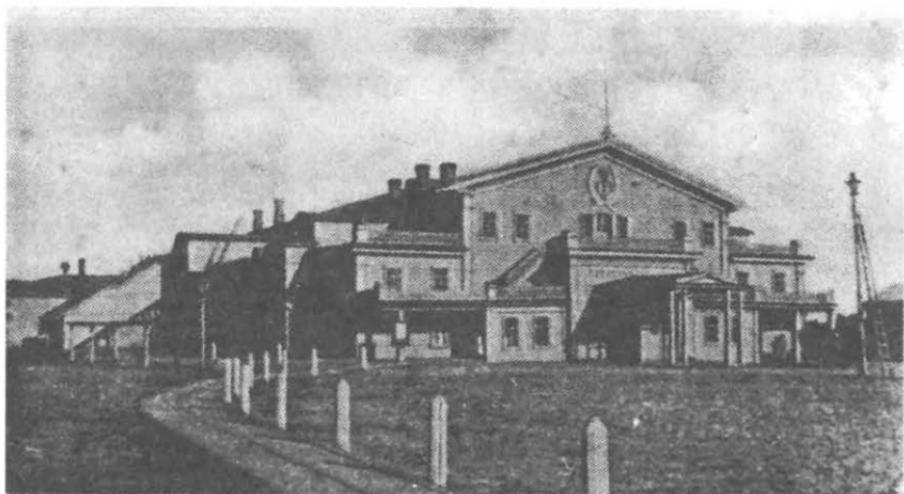
Анатоль Семёнович Платанов

Александр Степанович Лосев

Александр Александрович Лосев

Петр Александрович Ковалев

Росписи одноклассников Лосева и его собственная перед окончанием гимназии. 1911 г.



Новочеркасский театр



Вера Знаменская. 1911 г.



Дора Лурье

НОВОЧЕРКАССКЪ.
ГОРОДСКОЙ
КЛУБЪ.



Въ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11-го
января 1915 г.,

состоится

ТРАДИЦИОННЫЙ

Обще-Студенческій

ВЕЧЕРЪ



ВСТРЪЧА ≡≡≡

ТАТЬЯНИНА

ДНЯ. ≡≡≡



СБОРЪ поступаетъ

ВЪ ПОЛЬЗУ Общества пособія

Бѣднымъ ДОНСКИМЪ УЧАЩИМСЯ.

10% съ чистаго сбора отчисляется

НА ПОКУПКУ ТАБАКУ ≡≡≡

Донскимъ казачьимъ полкамъ.

Пригласительный билетъ на встречу Татьянина дня. 1915 г.



Алексей Лосев с друзьями. Стоят М. Позднеев,
Г. Калашников, А. Лосев. Сидит (в штатском)
Е. Беллевич. Остальные лица не установлены.



Надежда Уварова — сестра милосердия в годы первой мировой войны



Алексей Лосев 1916-1918 гг.

СОДЕРЖАНИЕ*

<i>А. А. Тахо-Годи. Высший синтез</i>	3
А. Ф. Лосев	
Высший синтез как счастье и ведение.....	17 (312)
Дневники 1911 1913 гг.....	29 (315)
Жизнь в философии и философия в жизни.....	47 (317)
Основные тезисы теории познания.....	49 (318)
О моральности истины. Эмпирическая и психологическая точка зрения.....	52 (318)
Письма А. Ф. Лосева к Вере Знаменской	59 (319)
Дневник 1914 года.....	95 (325)
Записи разных лет.....	167
Типы моей памяти.....	169
О религии.....	171 (332)
О молитвенном научении.....	173
Художественная проза	177
Мне было 19 лет	179
Театрал	203
Жизнь.....	232
Статьи и комментарии	283
<i>Е. Тахо-Годи. «... Я остаюсь поэтом и художником в душе»</i>	285
В поисках иного царства	300
<i>А. А. Тахо-Годи. Комментарии</i>	312
Именной указатель.....	333
Фотографии	341

* В скобках указаны страницы, на которых находится соответствующий комментарий.

ЛОСЕВ
Алексей Федорович



«МНЕ БЫЛО 19 ЛЕТ...»
Дневники. Письма.
Проза

Организация издания Е. А. Гришина
Редакторы С. О. Савчук, Л. О. Савчук
Компьютерный набор Р. Г. Садыкова

84 × 108 1/2. Тираж 3 000. Заказ № 280.

АО „Астра семь”

121019, Москва, Филипповский пер., 13.

Лицензия ЛР № 062224 от 4 февраля 1993 г.

Адрес для переписки: Москва 119530 а/я 90
Телефон/факс: (095) 201 22 76